



**Межрегиональные
исследования
в общественных науках**

**Министерство
образования и науки
Российской
Федерации**

**ИНО-центр
(Информация. Наука.
Образование)**

**Институт имени
Кеннана Центра
Вудро Вильсона
(США)**

**Корпорация Карнеги
в Нью-Йорке (США)**

**Фонд Джона Д.
и Кэтрин Т. Мак-Артуров
(США)**



Данное издание осуществлено в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках», реализуемой совместно Министерством образования РФ, ИНО-центром (Информация. Наука. Образование) и Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Мак-Артуров (США). Точка зрения, отраженная в данном издании, может не совпадать с точкой зрения доноров и организаторов Программы.

Семья: между насилием и толерантностью

Коллективная монография

Ответственные редакторы
М. А. Литовская, О. В. Шабурова

Екатеринбург
Издательство
Уральского университета
2005

Ответственные редакторы:

М. А. Литовская, О. В. Шабурова

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор Уральской академии
государственной службы *Ю. Г. Ершов;*

доктор социологических наук, профессор Уральского
государственного университета *Л. С. Лихачева*

Семья: между насилием и толерантностью: Коллектив.
С 309 моногр. / Отв. ред. М. А. Литовская, О. В. Шабурова. —
Труды Уральского МИОНа. Вып. 18. — Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2005. — 390 с.

ISBN 5-7525-1537-8

В коллективной монографии рассматривается социальный институт семьи как зеркало, отражающее степень толерантности конкретного общества. Анализируются различные формы физического, психологического, символического насилия в семье; политика репрезентации этого феномена в социально-философском, культурологическом, социолингвистическом и литературоведческом аспектах.

Книга основана на материалах конференции «Семья как поле битвы: между насилием и толерантностью» (Екатеринбург, 2002) и адресована исследователям, всем, кто интересуется проблемами фамилиологии. Материалы монографии могут быть использованы преподавателями и студентами вузов в курсах социальной философии, антропологии, истории, литературоведения.

ББК С550.53

Содержание

Предисловие	8
Раздел 1. Социальная топография семьи	
<i>Ушакин С.</i> Нити — ячейки — сети: семья как методологическая проблема	15
<i>Федулова А.</i> Семья и семейные ценности в жизни современного человека	57
<i>Козочкина Т.</i> Семья в изменяющемся обществе: противоречивость тенденций	62
Раздел 2. Насилие в семье: история и современность	
<i>Меренков А.</i> Семья: проблемы педагогического насилия	67
<i>Муравьева М.</i> Границы добродетели и порока: социальная география проституции в английских городах раннего Нового времени (на примере Лондона XVIII века).....	76
<i>Кропотов С., Черняева Н.</i> К истории осмысления насилия против женщин в законодательстве США, или Политизация частного	99
<i>Трубина Е.</i> Семья по Гегелю: диалектика «человеческого случайного насилия» и терпимости сестринства	109
<i>Брандт Г.</i> Материнство как российская социокультурная стратегия: к постановке вопроса	122
<i>Селькова Л.</i> Семейный террор: взгляд психолога кризисного центра	133

Раздел 3. Культурные практики и конфликты в современной городской семье

<i>Вершинин С.</i> Конфликт гендерных этнических стереотипов: может ли быть счастлива немецко-русская семья?	147
<i>Гредновская Е.</i> «Лучше иметь живую дочь, чем погибшего сына...»: современная семья в зеркале транссексуализма	161
<i>Балеевских О.</i> «Семейные моды» российской молодежи: от конфликта поколений к толерантным практикам семейной жизни	164
<i>Гудова М., Ракипова И.</i> Пространство жизни семьи: внутренняя драматургия дома	173

Раздел 4. Репрезентация семейных конфликтов и пути их преодоления в отечественной истории

<i>Созина Е.</i> «Брак, когда от него отлетит дух...», или Ситуация «Жака» в русской литературе и жизни 1840–1850-х годов	183
<i>Оляшек Б.</i> Идея сестринства в чеховской и постчеховской драме	206
<i>Клочкова Ю.</i> Родительские комитеты как место ликвидации конфликтов между семьей и школой (по материалам екатеринбургской прессы начала XX века)	217
<i>Ушакин С.</i> Рухлядь быта: семья, наследственность, природа	222
<i>Круглова Т.</i> Трудовая советская семья	256

Раздел 5. Нетолерантные отношения в семье и формы их коррекции в современной городской школе

<i>Бетчер Т.</i> Семья и школа, или Кривые зеркала	267
<i>Бардиер Г.</i> Интолерантные родительско-детские семейные отношения в консультативной практике школьного психолога	273
<i>Антошинцева М., Бочарова Н.</i> Технология «Семейное чтение» как способ предупреждения семейных конфликтов и гармонизации родственных отношений	279

Раздел 6. Семейные отношения в системе городских массовых коммуникаций

<i>Рябов О.</i> «Красный кошмар»: репрезентации советской семьи в американском антикоммунизме периода «холодной войны» (1946–1963)	287
<i>Абашева М.</i> Модель семьи в мемуарах «среднего человека» постсоветской эпохи	311
<i>Шабурова О.</i> «Семейные истории» в массовой культуре как инструмент управления субъективностью	322

<i>Ефремов В.</i> Русский семьянин сквозь призму журнала «Cosmopolitan»	332
<i>Кислова Л.</i> Портрет неизвестной в интерьере «казенного дома»: семейные хроники на ТВ	342
<i>Воронцова Т., Кривова Н.</i> Милитарная лексика в семейном дискурсе	355
<i>Вепрева И.</i> Коммуникативные поражения на семейном фронте	360
Приложение. Государственный доклад «О положении детей в Свердловской области» по итогам 2004 года	366
Сведения об авторах	384

Предисловие

Тема семьи возникла при изучении проблем толерантности не случайно. Анализ особенностей постсоветского общества, переживающего масштабную социальную трансформацию, выявляет потребность в обосновании и реализации нового гуманитарного стандарта и соответствующего ему толерантного дискурса. Проблематизация современных социальных конфликтов определила выход в основное пространство их формирования и развития — семью. Именно в семье в условиях изменяющейся России сходятся многие нити более масштабных социальных конфликтов, в частности, во всем многообразии проявляется физическое и символическое насилие фрустрированного общества.

Семья в любую эпоху предстает как «единство разделенного», т. е. как то пространство, где в сложной диалектике отношений различных «я» рождается «мы»; где производится важнейшая работа по созиданию социального, оформляются социальные коды, которые передаются посредством семейного воспитания и семейной преемственности. Культура понимания и терпимости в конечном счете здесь и производится, вбирая в себя все аспекты толерантности — религиозный, национальный, гендерный и др. Семья становится зеркалом, отражающим степень толерантности общества, а значит, и той точкой, где «сгущаются» феномены, интересующие исследователей толерантности.

Определяя перспективу анализа, мы сознательно заострили в нашем названии проблему конфликтности пространства семьи. На первый взгляд, в российской повседневной жизни не столь часто

встречаются жесткие, недопустимые для цивилизованного общества формы насилия, хотя статистика и выводы разного рода кризисных центров убеждают в обратном. Гендерные исследования, а также исторически предшествующие им теории феминизма и *queer studies* дают образцы анализа различных форм реального и символического насилия — как жестких, порой уже вышедших из практики, так и мягких, но от этого не менее опасных, поскольку именно они во многом определяют будущие стратегии поведения.

Обращение к известной позиции У. Бека («общество риска») показывает, что западная мысль описывает мир современной семьи в еще более жестких формулах («война в семье», «битва полов», «кошмар задушевности» и др.). Конечно, это метафоры, но за ними следует видеть знаки дисбаланса и нестабильности семейных связей, формы противостояния близких людей в суровых буднях актуальной борьбы за существование. Чем в данном случае становится постсоветская семья? Боевой единицей в битве за выживание или еще одним фронтом?

Необходима теоретическая проработка наиболее острых проблем толерантных / интолерантных отношений во внутрисемейном пространстве, анализ процесса становления подобных отношений в истории русской культуры, рассмотрение современного состояния семьи как социального института, в том числе и отраженного в пространстве культуры, знакомство с реальными практиками преодоления возникающих проблем. Современная ситуация в России привела к расслоению в обществе, это отразилось и на моделях семьи. Сегодня есть бедные и богатые семьи, типы семейных союзов оказываются все более разнообразными, природа и формы конфликтов внутри них и отношение к ним общественных институтов претерпевают изменения. Новая ситуация ставит и новые исследовательские задачи: выявляя эти новые модели, обозначить новые объекты толерантности. В данной работе мы анализируем общие модели репрезентации образов семьи, соответствующих или не соответствующих представлениям о толерантности; речевых практик, осуществляемых в современной семье, а также даем социокультурное описание истории формирования образа семьи в литературе, позволяющее проанализировать особенности трансляции типов символического насилия в отечественной культуре.

Исследование открывает раздел «Социальная топография семьи», в котором рассматриваются методологические проблемы со-

временной фамилистики (С. Ушакин), а также самые общие тенденции трансформаций семьи в постсоветском обществе (А. Федулова, Т. Козочкина).

В разделе, озаглавленном «Насилие в семье: история и современность», развивается и подтверждается известная метафора семьи как поля битвы. Объектом анализа стали исторически сложившиеся способы и формы семейного насилия, отчасти сохранившиеся до сегодняшнего дня (М. Муравьева, С. Кропотов, Н. Черняева), различные типы трансляции насилия в семье современного российского крупного индустриального города (О. Селькова), проблемы насилия по отношению к детям (А. Меренков) и женщинам детородного возраста (Г. Брандт). Рассмотрена также социально-психологическая природа конфликтов в семье в парадигмах теорий общения (Е. Трубина).

В разделе «Культурные практики и конфликты в современной городской семье» на первый план выходит исследование актуальных, реально и потенциально конфликтных практик семейной жизни, идет ли речь о пересечении и столкновении этнических моделей идентичности в межнациональных браках (С. Вершинин), кризисе гендерной идентичности и трансформации семейных ролей (Е. Гредновская), поколенческих конфликтах, основанных на столкновении разных типов сценариев семьи (О. Балеевских), противоречиях в представлении о внутреннем пространстве дома (М. Гудова, И. Ракипова).

Раздел «Семейные конфликты и попытки их преодоления в отечественной истории» посвящен анализу репрезентации социальных стратегий и тактик семьи в кризисные периоды существования общества, когда традиционные ценности претерпевают значительные изменения. В исследовании проанализированы семейные «эксперименты» в среде дворянской интеллигенции России середины XIX века (Е. Созина), семейная стратегия сестринства в переломные времена (Б. Оляшек), попытки преодоления поколенческих конфликтов в институциональной практике уездного российского города начала XX века (Ю. Клочкова), становление идеологием и конструктов советского дискурса семьи и их проекция в повседневность (С. Ушакин), противоречия в образе Большой советской семьи, определившие поведенческие стратегии реальных людей (Т. Круглова).

Пространство семьи, как показывают исследования, задает сценарии конфликтов, борьбы, восприятия мира в модусах наси-

лия, что неизбежно влияет на стратегии подрастающего поколения. Конечно, детство является традиционным объектом психолого-педагогического анализа, но возможно попытаться реализовать и более широкий междисциплинарный взгляд, в перспективе пытаясь обосновать новую норму, когда социализация предстает и в ипостаси формирования культуры различий, т. е. культуры толерантности.

В разделе «Нетолерантные отношения в семье и формы их коррекции в современной городской школе» собраны практические материалы, принадлежащие перу практиков — психологов и педагогов. Их работы представляют анализ конкретных моделей нетолерантного поведения в семье по линии «дети — родители». Это исследование роли школьного психолога в разрешении интолерантных родительско-детских отношений (Г. Бардиер), формы диалога между детьми и родителями в семье (Т. Бетчер), представление нетрадиционных практик предупреждения семейных конфликтов (М. Антошинцева, Н. Бочарова).

В разделе «Семейные отношения в системе городских массовых коммуникаций» исследователи, исходя из представления об эффективности тотальных и агрессивных технологий репрезентации гендерных моделей в массовой культуре и СМИ, рассматривают дискурсивные практики медиа в их обращении к семье. Здесь представлен анализ «семейных нарративов» как коммерческого продукта массовой культуры (О. Шабурова), репрезентации семьи в журнале «Cosmopolitan» (В. Ефремов), моделей толерантных / интолерантных отношений в современных российских телесериалах (Л. Кислова), использования образов семьи в пропагандистских целях (О. Рябов). Своеобразным преломлением опыта усвоения массового искусства оказываются формы создания образа семьи в «наивной» литературе, в частности в мемуарных текстах непрофессиональных авторов (М. Абашева). Социолингвистический аспект репрезентаций семейных конфликтов представлен в разработке проблем употребления военной лексики в семейном дискурсе (Т. Воронцова, Н. Кривова), а также причин коммуникативных поражений в семейном общении (И. Вепрева).

Известно, что именно семейные отношения более чем какие-либо другие транслируют устоявшиеся роли и стереотипы, которые непосредственно передаются в структурах повседневности. Анализ, проведенный авторами монографии, показывает, что насилие в семье, случаи интолерантного поведения являются массо-

вым явлением, но проблема эта лишь недавно стала предметом государственного и общественного осмысления. В качестве образца подобного осмысления в приложении приводится раздел Государственного доклада «О положении детей в Свердловской области» по итогам 2004 года, носящий характерное название «Несовершеннолетние, находящиеся в особо трудных условиях».

*М. А. Литовская,
О. В. Шабурова*

Раздел I

Социальная топография семьи

С. А. Ушакин
Нити — ячейки — сети:
Семья как методологическая проблема

В течение последних десяти лет метафоры социального и кровного родства стали едва ли не господствующей формой концептуализации политического, экономического и культурного развития: от «ельцинской семьи» до «питерского клана», от «кремлевских жен» до «солдатских матерей», от «солнцевской братвы» до «дедовщины», наконец, от «батьки-комбата» до телевизионной «Моей семьи». Отечественный кинематограф активно предлагает массовые и элитарные интерпретации семейных отношений¹, в то время как песни на семейную тематику составляют почти четверть всего музыкального эфира ряда популярных радиостанций (см.: [Лебедь и др. 2002]). Как можно объяснить подобную привлекательность терминологии родства для символизации «постсоветского пространства»? Каковы те символические и социальные преимущества, которые риторика родства способна обеспечить ее авторам и исполнителям?

В «Толковом словаре» Владимира Даля «организовать или организовать» означает «устроить, установить, привести в порядок, составить, образовать, основать стройно». Организация, таким образом, есть практическое воплощение определенного строя, есть определенное соотнесение имеющегося материала с устойчивой моделью, способной придать этому материалу и внешнюю форму, и внутреннюю структуру. Однако приведению чего бы то ни было в порядок предшествует не только осознание *возможности*

«основать стройно» и «связно». В основе действий по «устройству» и организации, как напоминает Даль, лежит также и стремление воспроизвести естественное строение *органа* или, точнее, *органического* порядка.

Каковы причины устойчивости этой «организационно-органической» функции семейных связей? Почему, несмотря на фундаментальные изменения социального строя, культурных традиций или, допустим, принципов воспитания, логика и символика родства остаются востребованными и на уровне риторики, и на уровне практических действий? Что лежит в основе этой непреходящей тяги к поиску *родственных* душ? В течение последних десятилетий отечественные исследователи семьи отвечали на эти вопросы по-разному². Остановлюсь на ряде выводов, которые, на мой взгляд, во многом продолжают определять характер изучения семейных практик в России³.

«Нет правды о цветах, а есть ботаника»

Кочующие из работы в работу разнообразные вариации фразы о том, что «семья, как известно, является первичной ячейкой общества» (см., например: [Римашевская и др. 1999; Шмелева 1997]), при всей своей клишированности тем не менее хорошо передают суть господствующей аналитической традиции: несмотря на изменения типа социальной «сети» и размеров составляющих ее «ячеек», *системный* характер отношений между целым («сетью») и его частью («ячейкой»), как правило, остается постоянным. Иногда логика этих отношений приобретает гомологический характер и семья превращается в микрокосм, отражающий суть происходящих перемен в обществе в целом (см.: [Здравомыслова, Арутюнян 1998]). В ряде случаев семья, напротив, воспринимается как «остров стабильности», защищающий свое «население» от влияния «внешних» социальных трансформаций [Римашевская 1997: 117; Василенко, Иваненко 1999: 142]. Определяющим при таком подходе, однако, является даже не содержание отношений между ячейкой и обществом, а само аналитическое стремление находить логику функционирования семьи в процессах функционирования *других* институтов и систем (см.: [Гурко 2001: 274]).

Упрощая многочисленные версии дихотомии «частное / целое», характерные для отечественных исследований семьи, можно сгруппировать их по трем основным способам организации материала.

Монополия *производственного подхода*, в рамках которого семья выступает прежде всего в виде социального института — *органа*, призванного вносить свой вклад в дело воспроизводства общества [Антонов, Медков 1996], в течение двух последних десятилетий была основательно подорвана двумя другими направлениями. При помощи сравнительно-сопоставительного анализа эти направления постарались продемонстрировать относительный — т. е. *преходящий* и исторически обусловленный, — характер семейных форм. Так, для *эволюционного* подхода принципиальным оказалось исследование своеобразного диахронического «континуума», своеобразной цепи временных изменений тех задач, поиски ответов на которые, собственно, и определяли в каждый исторический момент специфику семейных конфигураций, механизмы семейного *устройства*. В свою очередь, *экономическая критика патриархата*, сфокусировавшись на частной сфере как области конкуренции ресурсов, накопленных в публичной сфере, позволила рассматривать семью как определенный результат — *образование* — патриархальной культуры, в которой постоянно изменяющиеся условия доступа к источникам власти и влияния являются причиной динамичных изменений *позиций* супругов. Обобщая, наметчу лишь основные методологические положения, которые сделали возможным существование обозначенных подходов.

Производственные органы семьи

В работе, посвященной анализу этнорегиональных особенностей семьи в России, исследователь О. А. Ганцкая отмечает: «В настоящее время семья является основой большинства фермерских хозяйств. Однако в России и части сопредельных государств в современной кризисной экономической ситуации создание семейных ферм, их выживание, рост производимой ими продукции, увеличение товарооборота, укрепление финансовой базы крайне затруднено. Причины этого — прежде всего недостаточность полученных кредитов, обесцененных инфляцией, необеспеченность ферм тягловой рабочей силой, транспортными средствами, сельскохозяйственными машинами... самым обычным инвентарем, отсутствие традиционных надворных построек, которые были разрушены за ненадобностью после проведения коллективизации... Кроме этих, относящихся к внесемейной сфере причин, есть еще причины, корнящиеся в структуре самой семьи. Главная из них —

нехватка рабочих рук в фермерском хозяйстве семьи с одним, двумя детьми... В такой [малодетной] семье с расширением частного хозяйства и постепенным старением родителей становится особенно ощутимым недостаток мужской рабочей силы, если в ней нет сыновей, или они есть, но никто не хочет становиться фермером. Довольно трудно заполучить в этом случае зятя, который работал бы на ферме родителей жены, не становясь одним из ее собственников. Призыв сыновей в армию лишает родителей их помощи и до вступления в брак» [Ганцкая 1997: 18–19].

Принцип синекдохи, сводящей целое к его части, на котором строится аргументация Ганцкой, во многом является характерным для (пост)советской функционалистской традиции интерпретации общества и семьи. В данном случае при помощи серии редукций исследователь смогла выстроить последовательную цепочку: «семья — фермерское хозяйство — рабочие руки — (мужская) рабочая сила». Количественная логика, положенная в основу исследования, — «к определяющим признакам семьи относится ее средний размер» [Там же: 8], — оказалась воспроизведенной и на уровне результатов: «размер семьи» трансформировался в количество «рабочих рук». Закономерен и вывод: «Выходом из создавшегося положения с необеспеченностью малодетных нуклеарных семей рабочей силой стал бы отчасти наем сезонных или постоянных работников...» [Там же: 19].

Понятно, что аналитическая модель, в которой хозяйственные и семейные отношения оказываются синонимичными, может быть «естественной» лишь в определенном методологическом контексте. Московский социолог А. И. Антонов сформулировал суть этого контекста, пожалуй, наиболее точно, охарактеризовав семью как «общность людей, связанных отношениями супружества, родительства и родства на основе совместного домохозяйства и (или) производства, которая выполняет функции воспроизводства населения и социализации детей, а также содержания (поддержания существования) членов семьи» [Антонов 1995: 185]. В недавней работе социолог придал этому тезису более конкретную форму. Говоря о «новом типе семьи», Антонов отметил: «Модель трехдетной семьи с двумя родителями — вот тот мотор, который призван сменить угасающую индивидуальную экономику депопулирующих обществ мощной экономикой семейных электронных предприятий, представляющих новый импульс для производства, для накопления капитала и собственности, для разносторонней актив-

ности исполнителей социальных ролей в обществе, вставшем на путь омоложения и в демографическом, и в социокультурном смысле» [Антонов 2000: 29].

Ограниченность такого подхода, на мой взгляд, заключается не только в том, что интерпретация семьи как своеобразной трудовой артели, нацеленной на биологическое и материальное самовоспроизводство своих работников — т. е. совместное домохозяйство, выполняющее функции собственного воспроизводства, — носит тавтологический характер. Проблема еще и в том, что это восприятие семьи как «полноправной отрасли народного хозяйства» [Антонов 2000: 151], сопровождаемое «теорией кризиса семьи», знаменующего «кризис всего уклада человеческого существования, кризис культуры» [Антонов 2000: 266, 394], лишь повторяют логику идеализированной — *органической* — модели общества в виде замкнутого натурального хозяйства с соответствующей ему замкнутой структурой сословий⁴.

Этот идеализм прошлого — и, добавлю, прошедшего, — вызывающий традиционные упреки в политическом консерватизме, однако, следует рассматривать не только как следствие собственно идеологических предпочтений сторонников функционализма, но и как своеобразный эффект их теоретической стратегии. Редукционизм, сводящий смысл того или иного социального института к его функции, возможен лишь в рамках стабильной (знаковой) системы: функция органа-«части» есть производное от определенного «целого». Стремление к риторической консервации этого «целого», соответственно, становится и условием выживания, и условием эффективности функционалистского взгляда на мир.

В свою очередь, многофункциональность институтов, их развитие и изменение, их принципиальная несводимость к *главной* «функции» — т. е. их неспособность выступать в качестве *частного* проявления *общей* логики («производства»), — лишает функциональный подход его основной — *системо-образующей* — предпосылки. Приведу один пример. Этнограф Т. В. Лукьянченко, исследующий семейную жизнь современных саамов Кольского полуострова, пишет: «Семья как микроединица саамского общества, призванная выполнять важнейшую функцию по передаче молодому поколению трудового опыта, традиционной культуры, участвовать в социализации молодежи, практически плохо справляется со своими задачами. Проблема воспитания детей и передачи им всего богатства традиционных навыков и знаний, которые не-

обходимы, в частности, для занятий оленеводством и другими промыслами, неразрешима до тех пор, пока многие дети значительную часть времени живут не дома, а в интернатах. Традиционные трудовые навыки дети могут получить только от своих родителей в семье. Тем самым создается угроза подготовке квалифицированных кадров для традиционного хозяйства» [Лукьянченко 1997: 110–111].

Неспособность *современной* семьи справляться с передачей опыта *традиционной* культуры воспринимается в данном случае не как результат изменения содержания конкретной культуры, но как следствие лишения отдельного института — семьи — исторической монополии на профессиональную социализацию. Стабильность «традиционной культуры», таким образом, выступает как социальная и теоретическая данность, а условием непрерывного «воспроизводства» этой стабильности становится уже знакомый тезис о необходимом количестве «рабочих рук».

Историчность семейной формы, ее зависимость от определенного экономического и культурного уклада в функциональном подходе риторически преодолевается за счет смещения акцента с конкретного *характера* семейного производства на производство как *способ* жизнедеятельности. Такое акцентирование *процесса* позволяет использовать производственную модель семьи в качестве универсального нормативного лекала, по которому выравниваются все остальные формы семейных отношений⁵. Закономерно, что вне производственного контекста семья оказывается лишенной собственной содержательной специфики, в лучшем случае выполняя функцию передатчика, ретранслятора трудовых или, допустим, религиозных навыков, значимость и наполнение которых определяются, как правило, за пределами семьи. Соответственно, оказываются излишними вопросы и о возможных изменениях характера семейных отношений, и о выборе форм семьи, и об источниках и направлениях развития той (системной) модели общества, благодаря которой господствующим типом семейной организации стала «кузница квалифицированных кадров». Оленеводство, подобно анатомии у Фрейда, становится здесь судьбой, а не исторически сложившейся реакцией на географическое распределение людей, условий и доступных ресурсов.

Вполне предсказуемым является и то, что при необходимости «производственная логика» может использоваться и как аргумент в защиту семьи, и как аргумент в пользу ее фактической ликвида-

ции. В начале 1930-х годов Антон Макаренко, известный советский педагог и литератор, в одном из своих текстов, посвященных социалистическому воспитанию («соцвосу»), с жаром настаивал на том, что «именно детскому дому принадлежит советское педагогическое будущее» [Макаренко 1960: 383]. Мотивация, предложенная Макаренко, при этом принципиально не отличалась от доводов, изложенных выше: «...Через пять лет, когда наша промышленность потребует не одну тысячу женщин на производстве, когда в семью войдет матерью нынешняя свободная девушка, воспитанная в презрении к пеленочной и печной квалификации, мы обязательно скажем, что именно воспитание наших детей осталось без необходимых для этого институтов. ...Детский дом есть будущая форма советского воспитания. Он, конечно, не может быть даже подобием детского дома, наполненного искусственно изолированной беспризорщиной. ...Только детский дом, наполненный здоровым детством, знающим, что где-то на фабрике работают отец и мать, имеющим с ним связь и не лишенным ласки матери и заботы отца, только такой детский дом будет настоящим советским соцвосом, потому что в нем объединятся как воспитательные деятели и государство, и новая семья, и совершенно иной уже деятель — ребячий производственный, и образовательный, и коммунистический первичный коллектив» [Макаренко 1960: 384].

Макаренко во многом лишь довел до логического завершения суть подхода, озвученного позднее многочисленными сторонниками производственно-производительного взгляда на семью: если производство материальных условий и воспроизводство населения являются теми базовыми функциями, на пересечении которых, собственно, и возникает семья, то насколько целесообразно существование данного института при обобществлении или, допустим, профессионализации функций (вос)производства? Условно говоря, что произойдет с «семьей саамов», если навыкам «колесоводства и других промыслов» станут учить не дома, а в училище? Ограниченный метафорой производства в качестве своей объединяющей идеологии и принципом синекдохи в качестве исследовательской методологии, функциональный анализ семьи — точнее, семейного (вос)производства — оказался не в состоянии объяснить природу того «неделимого остатка», благодаря которому семья — несмотря на постоянные изменения своей конфигурации — сохраняет свою актуальность.

Устройство семейной системы

Во многом именно одномерность производственного подхода (количество рабочих рук, детей, браков, разводов и т. п.) стала объектом критики со стороны исследователей, заинтересованных не столько в демонстрации воспроизводства общественно значимой «нормы», сколько в анализе условий ее — «нормы» — происхождения. Стремление пошатнуть нормативную функцию «производства» реализовалось в виде попыток продемонстрировать, что исторически формирование семейных «ячеек» строилось на *различных* функциональных принципах. В итоге наряду с анализом структурной позиции семьи в сети общественных отношений определяющим для *эволюционного* подхода стало изучение «исторически сменяемого акцентирования одного из основных семейных отношений» [Голод 1984: 14], т. е. изучение диахронических изменений иерархии отношений *внутри* самой семьи. Процессуальная логика производственного процесса, таким образом, оказалась вытесненной логикой внутреннего *устройства* института, логикой его функционального развития. Три «идеальных исторических типа семьи», предложенные петербургским социологом С. И. Голодом [Голод 2002a], и были призваны обозначить — и тематически, и структурно — направление этого развития.

Согласно этой типологии, *патриархальная* («наиболее архаичная») форма семейной «зависимости жены от мужа и детей от родителей» сменяется *детоцентристской* («современной») семьей, с характерным для нее повышенным вниманием к разнообразным аспектам частной жизни вообще и эмоциональной составляющей, связанной с родительством, в частности. Наконец, итоговым вариантом становится *супружеский* («постсовременный») тип моногамии, в основе которого лежит «симметричность прав и ответственности обоих супругов» [Голод 2002a: 245–258]. Суть развития семьи, таким образом, заключается в следующем движении форм: «...На суживающемся фоне патриархальной и, отчасти, детоцентристской семьи набирает силу супружеский тип...» [Голод 1984: 96].

Аналитическая (и политическая) привлекательность эволюционного подхода понятна. Семья перестает выступать непосредственным отражением «материального базиса» и приобретает если не собственную логику, то, по крайней мере, собственную траекторию развития⁶. Проблема заключается, на мой взгляд, в том,

что такое исследование «имманентных закономерностей» [Голод 2002а: 247] семьи — или «органического порядка», согласно терминологии Даля, — базируется на предпосылках, которые, строго говоря, принципиально не отличаются от редукционистского функционализма. Правда, в роли системы в данном случае выступает не воспроизводство общества, а сама семья; в свою очередь, роль органов-«частей» играют отношения *внутри* семьи, специфически сгруппированные в ходе реализации той или иной функции⁷. Иными словами, новизна эволюционного подхода стала результатом не столько смены интерпретационной парадигмы, сколько смены, так сказать, диоптрий аналитической оптики: «дальнозоркость» производственного макро-анализа семьи оказалась вытесненной «близорукостью» микро-анализа эволюционного. Говоря о детоцентристском типе семьи, С. Голод, например, отмечал: «...совместное проживание мужа и жены... требует *адаптации* их индивидуальных планов, претензий и поведенческих стереотипов относительно друг друга... [т. е.] должен возникнуть ряд тесно связанных между собой приспособительных отношений, каждое из которых в большей или меньшей (но непременно значимой) степени оказывает воздействие на устойчивость семьи. Судя по моим эмпирическим материалам, существуют, по меньшей мере, семь адаптационных ниш: психологическая, духовная, бытовая, сексуальная, информационная, родственная и культурная. Эти ниши имеют подвижную иерархизированную структуру, сдвиги в ней детерминируются стадией эволюции индивидуальной семьи» [Голод 2002б: 13].

Хотя степень «имманентности» указанных «ниш» и наличие, вернее наделение, этих ниш «собственным», несовпадающим содержанием и может стать предметом серьезных дискуссий, основной вопрос связан не с этим. Несмотря на общее стремление к жесткому структурированию⁸, как мне кажется, для Голода принципиальна все-таки сама адаптация, а не ее формы. Дело в другом — в рамках структуралистской логики Голода с трудом объясняется *причина* перехода одного типа семьи в другой. Точнее, как и в любом системном анализе, источники принципиальных изменений самой системы здесь также находят(ся) вовне.

«Постсовременная семья» с ее «антирутинным механизмом», основанным на автономности интересов супругов — «круг значимого общения для каждого из них выходит за рамки супружества» [Голод 2002а: 258], — является в данном случае показатель-

ным примером. Базовый принцип организации этой семьи, одновременно и конституирующий неустранимую различность супругов, и являющийся условием стабильности супружества, — заключается в широте *индивидуального* опыта каждого супруга. Иными словами, успех *семейной* жизни зависит от уникальности *вне* семейных отношений каждого из супругов.

О семье как поле дифференцирующих отношений речь пойдет чуть ниже. Пока же мне хотелось лишь акцентировать то, что дихотомия «частное / целое» («адаптационная ниша / семья», «индивидуальные интересы / супружество» и т. п.), лежащая в основе рассматриваемого подхода, оказывается эффективной лишь в рамках более общей бинарной схемы «системное / внесистемное». Сформулирую чуть иначе — исходное восприятие семьи «как системы» с неизбежностью требует постоянной — в данном случае методологической — цензуры, постоянного очерчивания границ, постоянного маркирования объектов, которые, находясь вне системы, собственно, и формируют ее пределы.

Вне-системным «вне-семейным опытом» супругов данная «цензура», разумеется, не ограничивается; настойчивое стремление Голода «вывести» однополые союзы за рамки предложенной им эволюционной типологии призвано сыграть аналогичную роль⁹. В недавней статье о «нелегитимных сексуальных стандартах» молодежи Голод, например, отмечал: «Будучи социологом, не стану множить спор по поводу этиологии гомосексуализма, скажу лишь следующее. Гомосексуализм (в обеих своих разновидностях) — природная аномалия. Поэтому гомогенные браки — нонсенс. В обсуждаемом случае сексуальность не столько автономна от прокреации, сколько от нее полностью независима. Даже английский парламент, который может все, не в состоянии обязать мужчин рожать детей. Иное лесбиянки, они, как показывает опыт, по большей части бисексуальны: прерывают на время (или навсегда) гомогенную связь и рожают детей...» [Голод 2002а: 148].

Любопытным в данном пассаже является не только его содержательная сторона, причудливо увязывающая воедино *социальный* статус («брак») с *природными* нормативами, а сексуальность — с деторождением. Примечательным является и риторическая структура этого абзаца: общие рассуждения о (гомо)сексуальных *мотивациях* молодежи неожиданно прерывает тема «гомогенного *брака*», артикулированная с помощью негативной лексикой («аномалия», «нонсенс», «независима», «не в состоянии»

и т. п.). Поддержание чистоты рядов, точнее — воспользуюсь терминологией Голода — поддержание непротиворечивости картины «целокупного состояния нравов» [Голод 2002а: 148] требует соответствующих мер: явление, подрывающее целостность системы, должно быть выведено за ее пределы¹⁰.

Как показывают многочисленные постструктуралистские исследования, подобная процедура отрицания, являясь неотъемлемой частью системного анализа, однако, имеет свою собственную логику¹¹. Будучи не в состоянии контролировать объект, существование которого оно стремится поставить под сомнение, отрицание нуждается в постоянном повторении, в своем постоянном воспроизводстве. И потому, что объект отрицания имеет тенденцию возвращаться — в новых формах и в новых местах, — и потому, что именно при помощи приема отрицания конструируется сама «положительная» система, в отношении с которой отрицаемый объект приобретает свою маргинальную местоположенность (см.: [Butler 1997]).

Разумеется, и общая бинарность эволюционного подхода, и его навязчивое стремление к классификациям и таксономиям, призванным выстроить (или ниспровергнуть) еще одну иерархию, и тесная зависимость его эффективности от эффективности соответствующих механизмов исключения и маргинализации вряд ли являются чем-то принципиально новым. Данная версия социологии семьи во многом повторяет путь, который проделала, например, в свое время советская семиотика¹². Однако, в отличие от социологов, одним из ответов семиотиков на ограниченность системной логики, напомним, стал тезис об *амбивалентности* (знаковой) системы с характерной для нее «неопределенностью структуры»¹³. В известной статье 1974 года о динамических моделях культуры Ю. Лотман писал: «...Состояние амбивалентности возможно как отношение текста в системе, в настоящее время не действующей, но сохраняющейся в памяти культуры (узаконенное в определенных условиях нарушения нормы), а также как отношение текста к двум взаимно не связанным системам, если в свете одной текст выступает как разрешенный, а в свете другой — как запрещенный.

Такое состояние возможно, поскольку в памяти культуры... хранится не одна, а целый набор метасистем, регулирующих его поведение. Системы эти могут быть взаимно не связаны и обладать различной степенью актуальности. Это позволяет, меняя ме-

сто той или иной системы на шкале актуализованности и обязательности, переводить текст из неправильного в правильный, из запрещенного в разрешенный. Однако смысл амбивалентности как динамического механизма культуры именно в том, что память о той системе, в свете которой текст был запрещен, не исчезает, сохраняясь на периферии системных регуляторов» [Лотман 1992: 98].

Как мне кажется, сходная изначальная амбивалентность «семейной системы», точнее — прямая зависимость «системного» характера семьи от применяемой — воспользуюсь терминологией Лотмана — «шкалы актуализованности и обязательности», и оказалась утраченной в эволюционном подходе. Иными словами, именно установка на однозначность системного характера семьи и делает возможным выделение в ней разнообразных «адаптационных ниш», а проведение границы между частным (внутренним) и публичным (внешним), в свою очередь, позволяет говорить о стабилизирующем влиянии *вне-семейной* деятельности супругов на характер их *частной* жизни.

Попытка «реставрировать» исходную амбивалентность семейной структуры, попытка показать, благодаря актуализации каких регулирующих «метасистем» и «шкал» те или иные элементы этой структуры оказались переведенными на положение *внутренних* и *имманентных*, во многом связана со стремлением уйти от (прямо)линейности эволюционного подхода. Тезис о структурной неопределенности, о структурной амбивалентности семьи позволяет увидеть в ней социальное пространство *одновременного* действия многообразных, несовпадающих и зачастую противоречивых процессов и явлений, не укладывающихся в рамки стройных системных построений. И речь в данном случае, разумеется, идет не о релятивизме, но о внимании к *специфическим*, т. е. контекстуально обусловленным, способам и формам *проблематизации* и *тематизации* отношений, благодаря которым они — отношения — приобретают логику *семейных* связей¹⁴. Речь, таким образом, идет о внимании к тем механизмам, с помощью которых — воспользуюсь терминологией русских формалистов — фабула семейной жизни оказывается переведенной на язык конкретных сюжетных коллизий¹⁵. И, как справедливо замечал по сходному поводу Виктор Шкловский, «сюжет... не понять без анализа применения» [Шкловский 1973: 99]. Говоря иначе, идея амбивалентности семейной структуры позволяет всякий раз актуализировать содержательное наполнение понятия «семейный» заново, учитывая и мно-

гообразии соответствующих контекстов, и многообразие задействованных аналитических «шкал». Предметом «анализа применения», таким образом, становятся не только «ячейки», составляющие (социальную) «сеть», но и «нити», из которых эта «сеть» плетется.

Важным последствием отказа воспринимать деление социального поля на «семейное» и «вне-семейное» в качестве обязательной предпосылки анализа семьи, таким образом, является возможность локализовать сам момент этой дифференциации, увидеть, в силу каких причин и при каких условиях из материала тех или иных социальных отношений становится возможным выкроить «семейный» продукт, чтобы — продолжу метафору — понять, как одна и та же социальная ткань может стать основой различных «семейных» конфигураций.

Экономика семейной занятости

Проблематичность момента дифференциации «вне/семейного» с особой четкостью продемонстрировала Экономическая критика патриархата. Оформившись в России в последние 10–15 лет в виде своеобразного направления феминистского анализа (эконом-феминизм), эта критика привлекла внимание к важной проблеме властного контекста, в котором формируются и функционируют семьи. Патриархат здесь превратился в мета-систему, регулирующую образование и осмысление большинства социальных процессов и институтов. Именно выбор подобной интерпретационной шкалы, на мой взгляд, обусловил как сильные, так и слабые стороны экономической критики семьи. С одной стороны, акцент эконом-феминизма на *историчности* патриархата позволяет прийти к логичному выводу о возможности иного — например, более эгалитарного — способа распределения ресурсов и власти. В то же самое время собственная позиция этой критической практики (в рамках) уже сложившейся / сложенной аналитической и интерпретационной традиции, — т. е. ее структурная и содержательная *зависимость от патриархата*, — пока не позволила этому течению сформулировать ни собственную теоретическую, ни собственную методологическую основу.

Ярче всего теоретическая беспочвенность эконом-феминизма проявилась в виде явного несоответствия между критикой традиционных форм семьи, ставших итогом «разделения всей челове-

ческой активности на приватную и публичную» [Римашевская и др. 1999: 112], — разделения, с которым и ассоциируется собственно патриархальная культура, — с одной стороны, и анализом разделения труда, ресурсов и ответственности *внутри* семьи как основным объектом экономической критики патриархата, с другой. Анализ разделения труда в сфере частной жизни, таким образом, ведется одновременно с общей критикой тех самых патриархальных механизмов, которые, как предполагается, сделали появление и существование частной сферы возможными. Иными словами, в то время как (патриархальный) принцип исходной дифференциации ставится под сомнение, непосредственный продукт этой дифференциации («частная сфера») превращается в основной объект исследовательских интересов и инвестиций.

В ряде конкретных исследований такая ситуация привела к любопытному методологическому явлению: производственный анализ семьи оказался слитым с эволюционным анализом внутренних механизмов ее устойчивости. Став частным проявлением патриархата, семья превратилась в «институт воспроизводства традиционной гендерной идентичности» [Малышева 2001: 225], а брак — в «мощный бастион норм, чувств и привычек, которые закрепляют мужские привилегии и основываются на них» [Римашевская и др. 1999: 18]. Однако даже это весьма решительное «обобществление» функций семьи, даже эта настойчивая демонстрация примеров того, что ткань «семейных» отношений неотделима и — зачастую — неотличима от ткани отношений «публичных», не привели эконом-феминизм к отказу от исходной дихотомии «частное / публичное»¹⁶. Попытки теоретически осмыслить правомерность и уместность подобного деления оказались в тени политического стремления придать *общественную* значимость фактам и процессам *частной* жизни (женщин).

Понятно, что в ходе таких попыток «частная жизнь» практически не изменила — и вряд ли могла изменить — свое подчиненное структурное положение в иерархии публичное / частное. Иного, непатриархального, понимания *частной* сферы не возникло. *Семейная* и *частная* жизнь здесь, как и в работах сторонников производственного подхода, также немислимы вне пределов «трудовой функции»¹⁷. В лучшем случае новое содержательное наполнение частной жизни оказывается негативной проекцией, отрицанием уже сложившихся практик. Например, в коллективном исследовании «Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары

в 1996 году», опубликованном в 1999 году [Римашевская и др. 1999], картина «русской частной жизни» формируется такими главами: «Разделение труда в семье и принятие решений», «Восприятие качества брака и мысли о разводе или опыт развода», «Вербальное и физическое насилие в партнерских отношениях»¹⁸. По степени избирательности в восприятии семейной жизни — домашний труд / принятие решений / мысли о разводе / акты насилия — подобное моделирование лишь повторяет (в негативной форме) идеализацию натурального домохозяйства, рассмотренную выше. Однако есть здесь и принципиальное отличие — место *процессуальной логики* производственного подхода в качестве универсального интерпретирующего принципа в экономической критике патриархата занимает категория *занятости*.

Этот переход от анализа форм участия в процессе (вос)производства к анализу структурного позиционирования участников (вос)производства принципиален¹⁹. Категория «занятости», позволяя абстрагироваться от ее конкретного содержания, актуализирует *пространственные* характеристики членов семьи, столь важные для феминизма в целом. Смысл *места* занятости определяется не *содержанием* труда, связанным с этим местом, а *социальной оценкой* этой позиции. Одна и та же деятельность, выполняемая в разных сферах, может иметь принципиально разные значения. «Публичная сфера» — с ее механизмами спроса / предложения, конкуренцией между людьми за доступ к ресурсам и рыночной оценкой их способностей и возможностей, — воспринимается как нормативный источник признания и самореализации. В свою очередь, «частная сфера», увязанная с «неоплачиваемым трудом, выполняемым ради поддержания дома и жизнедеятельности членов семьи» [Римашевская и др. 1999: 118], и, соответственно, не подпадающая под действие механизмов рыночной регуляции и оценки, превращается в своеобразное гетто. Например, несмотря на то, что большинство российских мужчин и женщин склонны считать зарабатывание денег преимущественно мужским делом [Римашевская и др. 1999: 111]²⁰, тот факт, что, семейный бюджет в большинстве российских семей находится в управлении женщин, в рамках данного подхода объясняется не специфическим распределением *власти*, но сложившейся традицией распределения *ответственности* и, соответственно, безответственности супругов: «В России традиционно женщины несли ответственность за ведение денежных расходов с учетом нужд членов семьи. Мужья час-

то не имели ясного представления о семейных нуждах, и эта обязанность воспринималась как своеобразный вид каждодневной рутины. В прошлом молчаливый отказ мужчин распоряжаться деньгами был обусловлен их низким заработком. Требовалось постоянное напряжение, чтобы удовлетворить базовые потребности членов семьи, исходя из среднего размера доходов мужчин. <...> С началом рыночных преобразований ситуация изменилась... количество зарабатываемых денег стало в семьях существенно различаться... Тем не менее сегодня почти в половине семей, попавших в выборку, эту работу [по управлению семейным бюджетом] делают женщины; мужчины занимаются ей только в 10 % случаев» [Римашевская и др. 1999: 124].

Цитата показательна в нескольких аспектах. Отсутствие интерпретационной схемы ведет к активизации ряда риторических приемов: стадия «контроля за деньгами» выделяется из общего цикла, при этом «денежные *расходы*» увязываются не с денежными *доходами*, а с «нуждами». Одновременно происходит риторическое снижение статуса «управления бюджетом»: из «контроля за деньгами» оно превращается в «каждодневную рутину», в отличие, надо полагать, от традиционно насыщенного и увлекательного процесса зарабатывания денег. Сниженный статус «рутины», в свою очередь, дополнительно усиливается при помощи количественных характеристик «объекта контроля» («низкий заработок», «средние размеры доходов»). Любопытно, что, несмотря на *семейный* характер бюджета, упоминания о каких бы то ни было размерах заработка женщин — во избежание риторической конкуренции — отсутствуют в принципе. Существенно и другое — невозможность объяснить *сегодняшнее* состояние подменяется ссылкой на то, как «традиционно» обстояли дела в социалистическом «прошлом».

Подобная риторика интересна не только как удачный пример дискурсивных стратегий в условиях отсутствия теоретической гипотезы. Цитата наглядно демонстрирует структурную зависимость логики эконом-феминизма от «патриархальных» принципов картографии социального пространства. Только на фоне исходной дихотомии «частное / публичное» можно понять, почему при анализе одного и того же явления («семейный бюджет») одновременно актуализируются две различные интерпретационные шкалы: т. е., условно говоря, почему *формирование* (мужчинами) доходной части бюджета (в рамках «публичного пространства»)

может рассматриваться как проявление их патриархальных установок, а *исполнение* (женщинами) расходной части этого же самого бюджета (в рамках «частной сферы») — как проявление их ответственности перед членами семьи. Место *занятости* приобретает характер (место)*положенности*, становясь в итоге не только фактом социальной биографии и / или структурной географии общества, но и объясняющим принципом, своего рода оценочной категорией. Приведу еще один пример. По мнению московского социолога М. Малышевой, тот факт, что большинство решений в российских семьях принимается женщинами, «... свидетельствует не об их власти и авторитете в доме, а о гипертрофированной ответственности, принуждающей сосредотачиваться на домашних проблемах и ограничивать притязания на успех вне приватного пространства» [Малышева 2001: 275].

Как и в предыдущем примере, в данном контексте важен не процесс принятия решения, — т. е. не сама власть и даже не обладание ею, — важно *место* реализации властных полномочий. Точнее, важно публичное — «вне пределов приватного» — подтверждение существования этих полномочий. Важен и еще один момент: отказ воспринимать семейные стратегии женщин в терминах власти позволяет обойти неприятные вопросы как о собственной роли женщин в воспроизводстве патриархата, так и о тех властных иерархиях, которые они выстраивают в своих отношениях с родственниками²¹. Как отмечал Бурдые в своем этнографическом исследовании кабийского дома: «Недостаточно сказать, что женщина привязана к дому, если не отметить одновременно, что мужчина из дома исключается, по крайней мере днем» [Бурдые 2001: 526]. Локализовав семью вне поля действия властных отношений, эконом-феминизм удобно ограничил сферу реализации (патриархальной) власти случаями супружеского насилия, которые, в свою очередь, нередко трактуются как следствие неравного распределения ресурсов между супругами [Римашевская и др. 1999: гл. 7]²².

Безусловно, преобладание экономизма в феминистской критике семейных отношений во многом стало своеобразной реакцией на отсутствие признания экономической ценности домашнего труда (женщин)²³. И все же, мне кажется, не стоит преуменьшать роль этой риторики. В значительной степени именно благодаря ей изначальное стремление феминизма сделать границу между «публичным и частным» более подвижной и проницаемой зачастую заканчивается превращением семьи в придаток рынка, в своеобраз-

разный механизм распределения и перераспределения ресурсов²⁴. Исходное стремление поставить под сомнение сложившиеся практики социальной топологии свелось на нет сознательными попытками «улучшить» границы между «частным» и «публичным». В итоге структурная зависимость от деления социального пространства на публичное и частное, усиленная общей тенденцией поиска приемлемого «баланса семейных и внесемейных ролей» [Римашевская и др. 1999: 214], приводит исследователей этого направления к логическому выводу о том, что источником формирования «супругоцентристских» семей (с характерной для них автономией партнеров) прежде всего является «вынужденная необходимость адаптации супружеских пар к макроэкономическим изменениям в обществе». В свою очередь, сдвиг от «детоцентристской» семьи в «сторону эгалитарного типа семьи» обуславливается не повышением ценности супружеской автономии, а, так сказать, снижением инвестиционной привлекательности ребенка, вступившего в конкуренцию с «ценностями статуса, выбора стиля жизни, профессиональной и личной самореализации» [Римашевская и др. 1999: 241–242]. Закономерным результатом подобной концептуализации семейных отношений стала попытка рассматривать «семейные взаимодействия» как разновидность *контракта*.

Судя по всему, такая адаптация терминологии трудового права для концептуализации процессов в частной / публичной сфере была призвана, прежде всего, придать логическую последовательность и аналитическую стройность сложившимся отношениям между полами. Однако использование понятия «контракт», как и понятия «гендер», для характеристики социальных отношений в советском и постсоветском обществе в отечественной феминистской литературе на практике выполняет, скорее, не аналитическую, а семиотическую, т. е. маркирующую и метафорическую, функцию²⁵.

Недавняя попытка Анны Темкиной и Анны Роткирх прояснить суть предложенной ими схемы «гендерных контрактов» ситуацию вряд ли изменила. Как отмечают социологи, «гендерный контракт — это контекстуально обусловленные, иерархически структурированные образцы взаимодействия полов» [Темкина, Роткирх 2002: 6]. Чем подобного рода *контракт* отличается от *стереотипов, ролей* и тому подобных форм аналитического структурирования воображаемых и / или реализуемых на практике представле-

ний об отношениях между полами, сказать сложно. Как остается необъясненной и причина определенной аналитической подмены, в ходе которой «взаимодействие *полов*» оказывается в итоге подмененным взаимодействием женщин и государства. Контракт — как компромиссное «соглашение *между* агентами с разными властными позициями» [Темкина, Роткирх 2002: 5] (курсив мой. — С. У.), — как правило, оказывается сведенным до описания мотиваций и практик лишь одной из сторон («работающая мать»). Наконец, попытки воспринимать «гендерные контракты», «предписывающие различные гендерные роли и статусы разным сферам общественной жизни... и разным слоям» в качестве «гендерного *порядка*» [Темкина, Роткирх 2002: 6], фактически дезавуируются признанием самих исследовательниц о наличии постоянного разрыва между официальной идеологией и практиками повседневности²⁶. «Порядок», иными словами, изначально оказывается ситуацией институциональной и практической двусмысленности. Но насколько целесообразно в таком случае использование метафор нормативности в ситуации отсутствия норм? «Систематична ли система?» — как говорил в аналогичных ситуациях Леви-Строс [Леви-Строс 2001: 56].

Вряд ли является случайным то, что понятие «контракт» оказывается во многих исследованиях синонимом «принуждению». Например, московский политолог С. Айвазова использует этот термин следующим образом: «Представление о том, что женщина может и не трудиться в общественном производстве, вовсе исчезло из советского общественного сознания. Именно на этом основании, определяя характер гендерных отношений в советский период, сегодняшние социологи единодушно квалифицируют его как “контракт работающей матери”» [Айвазова 2002: 291]²⁷. Вопрос о том, зачем для анализа ситуации *всеобщей и обязательной* трудовой занятости / повинности в СССР понадобилось квази-юридическое использование категории, акцентирующей возможность *выбора* для вступающих в договорные отношения людей (и что при таком подходе произошло с «контрактом работающего отца»), остается в данном случае за скобками. Вполне естественно, что подобные логические трудности заставили ряд исследователей говорить не столько о трансформации «гендерного контракта» в процессе постсоветских реформ, сколько о его *одностороннем расторжении* со стороны государства [Здравомыслова 2003: 25]. Вопрос, естественно, в том, имело ли место *заключение* подобного контракта?

В 1988 году, выступая против аналогичных попыток распространить логику рыночных регуляторов на брак и семейные отношения, американский философ Кэрол Пейтман справедливо указывала, что при всей своей заманчивости применение практики и идеологии контракта в области брака и семьи чревато неожиданными последствиями. Обращаясь к философским предпосылкам, на которых строится теория контракта, Пейтман отмечала, что на всем протяжении своего действия контракт между двумя — и *более!* — сторонами предполагает (юридическое) равенство участвующих в нем индивидов с целью использования для взаимной выгоды принадлежащих каждой стороне ресурсов. Взаимное юридическое равенство сторон, иными словами, призвано гарантировать справедливый обмен ресурсами [Pateman 1988].

В отличие от контракта, брак основан на иной логике. Суть брака как юридического института — в формировании *различных статусов*, в превращении двух людей в союз «мужа» и «жены», т. е. в союз людей с неравными, несовпадающими позициями, функциями и ролями. Именно *различие*, так сказать, «имеющихся ресурсов» определяет здесь соответствующий юридический статус²⁸. Единственная возможность преодолеть этот логический тупик заключается в отказе от «привязки» брачного статуса к полу. Как полагает философ: «Если браку действительно суждено стать подлинно контрактным, то при заключении брачного контракта половое различие не должно играть никакой роли; “муж” и “жена” в итоге должны утратить свою связь с половыми признаками. Разумеется, с точки зрения контракта “мужчины” и “женщины” также обречены на исчезновение» [Pateman 1988: 167].

Основная дилемма такого подхода, по мнению Пейтман, заключается даже не в том, что в результате вынесения «личностных особенностей» за рамки брачного контракта брак становится легализованным вариантом «всеобщей проституции», становится лицензией, регулирующей доступ к сексуальной собственности, т. е. юридическим соглашением на сексуальное использование друг друга [Pateman 1988: 184]. Суть проблемы в том, что сама идея «индивида без личностных особенностей», способного обменивать в процессе социальных отношений определенное *количество* своей собственности на услуги, товары и / или деньги, является квинтэссенцией логики патриархата. Собственность (ресурсы) как принципиальный признак *количественного* различия субъектов стала возможна лишь в гомосоциальной среде, т.

е. в ситуации, когда половая однородность участников социального обмена оказывается его естественным и единственным условием²⁹.

Теоретик феминизма Шейла Бенхабиб в своих работах по этике убедительно продемонстрировала, при каких условиях принцип *общности* интересов, принцип *аналогичности* позиций, акцентирующий не различия партнеров по контракту, а показатели их формального *сходства* и *равенства*, стал восприниматься как синоним принципа *взаимности*, основополагающего для любого контракта. Например, как демонстрирует философ, известная этическая максима о том, что условием оценки другого должна быть наша готовность поменяться с ним местами, возникла в ситуации, когда другой воспринимался лишь как отражение, аналог, зеркальная копия («человек человеку — волк»; «человек человеку — друг, товарищ и брат»). Место индивидуальной проекции («я на месте другого») в этой максиме заняла абстракция («другой вообще — такой же, как я»). Знание «другой» позиции свелось к ее узнаванию, к вычленению в ней уже знакомых элементов. Или — чуть иначе — к цензурированию, к вытеснению за рамки картины «неизвестных» элементов. В итоге, соответственно, исчезла и возможность морального выбора: *сходство* позиций лишило *обмен* позициями какого бы то ни было смысла³⁰.

Экономическая критика семейных отношений в России, с ее настойчивыми попытками подсчитать ресурсы, доступные супругам в процессе их повседневного взаимодействия, как мне кажется, во многом повторяет ситуацию, описанную Пейтман и Бенхабиб. «Ресурсный» вариант количественной логики с неизбежностью вынужден пренебрегать учетом тех специфических черт и интересов, благодаря которым, собственно, и формируется семья как поле принципиально разных, несовпадающих позиций. И вольное или невольное стремление «переступить... через конкретно-исторический субъект», как отмечал в свое время Карл Манхейм, в данном случае есть лишь отражение выбранной методологии, которая, — «стремясь сделать мир исчисляемым — изначально хотела узнать о нем лишь то, что в нем поддавалось исчислению» [Манхейм 1996: 341].

Иными словами, идея *с-равнения* индивидов стала возможной за счет вытеснения на аналитическую периферию принципа взаимообусловленности их *разно-родности*³¹. Установка на многообразие различительных признаков, на неравенство и несовпадение

интересов, мотиваций, позиций и т. д., задействованных в семье, оказывалась, строго говоря, излишней при учете количества доступных ресурсов.

Именно эта генеалогия понятий и категорий, на мой взгляд, зачастую и остается вне поля зрения экономического анализа семьи в России. В итоге критика патриархата ведется в рамках патриархата, — с помощью его категорий и логики, а определенное без-различие в отношении принципов, конституирующих семейную структуру и родственные отношения в целом, превращает семью в разновидность «неэффективного производства», — со всем спектром типичных характеристик в виде «затратной дотационной экономики» и «низкой платежеспособности» ее членов³². Справедливо и своевременно акцентировав внимание на роли ресурсов в оформлении семейных отношений, эконом-феминизм так и не смог сделать важный шаг в сторону изучения тех аналитических и политических процессов, при которых противопоставление «семьи» и «общества», «частного» и «публичного» стало возможным.

Подведу итоги. Три подхода к исследованию семьи, рассмотренные выше, во многом являются отражением общих изменений отечественной обществоведческой мысли: *функциональный* анализ семьи как механизма (вос)производства общества сменился *структуралистским* анализом отношений внутри семьи. В свою очередь, *экономическая критика патриархата* может стать началом определенной научной само-рефлексии, способной со временем прояснить характер отношений между используемой методологией и категориальным аппаратом, с одной стороны, и исследуемым объектом или явлением, с другой.

Типичным, на мой взгляд, является и трансформация базовой дихотомии «частное / целое», — на основе которой строились интерпретации семьи в рассмотренных выше подходах: от ячейки в общей *социальной системе* — к семье как *самостоятельной системе* в ряду других систем, а от нее — к семье как способу потенциальной оптимизации издержек «частной» и «публичной» сфер. Или, чуть иначе: от *органа* — к механизмам его внутреннего *устройства*, а от устройства — к условиям, благодаря которым такое *образование* стало возможным. В каждом из этих случаев целостность аналитической картины являлась следствием определенного дискурсивного «прореживания» тем [Фуко 1995: 69], следствием использования определенных приемов — будь то метафо-

ра производства, таксономия внесемейных практик или критика патриархата. Возможность выстроить на основе этих базовых приемов стройные и лаконичные типологии и установить причинно-следственные связи во многом и объясняет эффективность и популярность этих подходов. Убедительность принципов классификации, как напоминает фраза Шкловского в названии этого раздела, и позволяет забывать о том, что жизнь «цветов» и суть научного анализа («ботаники») — это не одно и то же [Шкловский 2000: 105]. Именно линейная стройность гносеологических «решеток», точнее, плотность их рядов превращает эти решетки из способа структурирования картины реальности в препятствие, ограничивающее доступ к социальному пространству.

Топография родства: место-имени-я:

В заключительной части статьи мне бы хотелось обратить внимание на два аспекта в исследованиях семьи, которые, на мой взгляд, позволяют избежать жесткой заданности стремления к аналитической и описательной целостности. Речь идет о положениях, которые давно и прочно заняли ведущее место в антропологическом анализе родства и родственных отношений. *Во-первых*, это попытки видеть в семье не отдельно взятый орган, ячейку, функцию, иерархию или даже сферу, логика существования которых в целом изоморфна логике жизненного цикла индивида, но *социальное пространство*, дающее возможность занимать несовпадающие позиции, выстраивать стратегии отношений, моделировать конфигурации связей³³. *Во-вторых*, это стремление акцентировать символическую и структурирующую роль обмена, который, собственно, и определяет процессуальную и содержательную функции семейных позиций. Кратно поясню суть каждого положения.

Акцент на семье как пространстве социального действия — т. е. поле, границы которого формируются в процессе отношений между находящимися на этом поле «игроками»³⁴, — дает возможность одновременно привлечь внимание к ряду важных характеристик. Обращая внимание на те «географические» места и точки, в которых *оформляется* семейный опыт — и как определенная практика, и как определенное дискурсивное явление, — «пространственный» подход позволяет проследить траекторию движения от одного родственного «пункта» к другому, позволяет увидеть, как

устанавливаются связи и отношения между этими «пунктами» (см.: [Филиппов 2000]). Существенно при таком подходе и то, что «размеры» и «статус» этих пунктов в процессе био(топо)графии, строго говоря, не являются определяющими. Опыт и направление движения в пространстве зависят не от величины «точек», а от их наличия, т. е. возможности их локализации.

Важен и еще один момент. Делая акцент на многообразии «местных» вариантов семейной жизни, топографическая локализация «пространства отношений» [Bourdieu 1985: 725] помогает четче понять, что система (нормативных) координат, облегчая ориентировку на *местности*, тем не менее не в состоянии заменить собой ни местность, ни процесс ориентации. Метафора пространства, иными словами, дает возможность продемонстрировать, что особенности семейного опыта определяются не столько масштабами доступной карты и оптикой аналитического зрения, сколько, так сказать, спецификой доступного рельефа, спецификой того *окружающего* пространства, в котором этот опыт имел место. Как и в любом другом пространстве, условность границ, конституирующих семью, при таком подходе становится особенно очевидной: количество и длина линий родства отражают лишь качество техники, используемой для измерений. Пространство, иными словами, оказывается не только контекстом, но и неотъемлемой частью семейных отношений [Jimenez 2003: 150], позволяя в итоге заменить господствующие метафоры *воспроизводства* и *эволюции* семьи метафорой *распространения* семейных практик.

Акцент на «политике и эпистемологии местоположенности» [Haraway 1991: 195] при исследовании семьи имеет и еще одно существенное структурное последствие для понимания роли субъекта в процессе местонахождения. Исходная установка на недостижимость целостности, признание изначальной неполноты и опыта, и его артикуляции, как справедливо заметил Пьер Бурдьё, определяется «частичной неопределенностью и расплывчатостью» *окружающего мира* [Бурдьё 1993: 64]. Тезис о принципиальной непознаваемости социального мира или о его всеобщей сконструированности интеллектуальным результатом такой «подвешенности» смысла [Там же], разумеется, не является³⁵. Не претендуя на системную стройность, «пространственный» подход позволяет, тем не менее, проследить моменты совпадения места и человека, позволяет локализовать *место-имени-я*. «Чувство позиции», — *место-нахождение* и *место-имение*, — возникающее в процессе та-

кого совмещения индивидуального и пространственного, служит одновременно и начальной точкой анализа пространства семьи, и его центром (см.: [Ман 2002: 112–113]). А сама семья, как справедливо отмечает американский литературовед Шошана Фелман, превращается в механизм «социо-символического структурного позиционирования [субъекта] в запутанном созвездии альянсов» [Felman 1987: 104].

Именно способность терминологии родства произвести при описании жизненного опыта человека эффект его *символической локализации*, на мой взгляд, и составляет одну из важнейших социально-символических функций семьи³⁶. Возникая в процессе идентификации с той или иной структурной позицией, субъект становится началом цепи необходимых и существенных социальных различий³⁷. Задавая систему отсчета («шкалу»), термины родства координируют характер отношений между доступными позициями («системами»), позволяя членам семьи осознать / выразить и собственную местоположенность, и местоположенность других³⁸.

Кроме того, родство, с генеалогической и / или биографической традициями его репрезентации, дает субъекту возможность занять устойчивую — *авторскую* — позицию по отношению к собственному опыту [Бурдые 2002; Мещеркина 2002]. Логика формирования рода или семьи становится фабулой, благодаря которой лейтмотив собственной деятельности приобретает временную и сюжетную последовательность³⁹. Приведу пример того, как в процессе формирования сети отношений, одновременно и соединяющей разнообразные «точки местности», и прерывающей нити этих отношений [Foucault 1986: 22], происходит символическая локализация субъекта. Вот цитата из рассказа «Гимн семье» Людмилы Петрушевской:

«Краткий ход событий:

1) Одна девушка, секретарша и студентка-вечерница, очень симпатичная, высокая, большеглазая, худенькая, была из хорошей семьи, однако у ее матери была некоторая история.

2) Ее мать была, в свою очередь, незаконнорожденной дочерью и плодом целой семьи, а именно:

3) жили три сестры, одна была замужем, вторая еще только пятнадцати лет, и муж старшей сестры натворил дел, т. е. пятнадцатилетняя забеременела, и этот муж повесился, а пятнадцатилетняя сестра родила, и родила она как раз дочь висельника, которая была ей ненавистна.

4) Но эта дочь выросла и благополучно вышла замуж и родила в срок и как принято, и родила опять дочь:

5) как раз эту секретаршу и студентку Аллу. Алла выросла и в пятнадцать лет начала гулять с мужчинами, и мать ей этого не прощала, и ругалась и плакала, а затем помаленьку начала сходиться с ума. Кроме того, она заболела болезнью с очень дурным прогнозом:

6) полная неподвижность. Алла была с ней в очень плохих отношениях, потому что:

7) эта Алла была воспитана своей пятнадцатилетней бабушкой (см. п. 3), которая ненавидела свою дочь, будучи старше ее на пятнадцать лет, и в тридцать пять стала уже бабушкой и взяла к себе в провинцию маленькую внучку, а сама до этого жила со стариком, который приходился ей дядей (братом матери)...» [Петрушевская 2001: 139].

Этот отрывок в гипертрофированной форме отражает суть семейного пространства как поля дифференцирующих отношений⁴⁰. Каждый «ход событий» вводит новую *точку* отсчета, описывая новую субъектную позицию (например, «сестра») и связанную с ней субъектную функцию («родила»). В отличие от заданной «роли», субъектная *позиция* не имеет собственного сюжетного наполнения, ее социальное значение определяется через отношение с другими позициями и позициями других («сестра родила дочь висельника»; «бабушка ненавидела дочь, а сама жила со стариком» и т. д.). Как отмечает Элизабет Гросз, «именно наше расположение (positioning) в пространстве, — и как точка перспективного доступа к месту, и как объект для пространственного восприятия другими — дает субъекту связную идентичность и возможность манипулировать вещами в пространстве, включая части собственного тела» [Grosz 1995: 92]. В этом отношении показательна позиция «главного действующего лица» — дав ход событиям («одна девушка, секретарша и студентка-вечерница»), «Алла» тем самым ретроспективно сформировала *вокруг себя* группу, оказавшись в итоге в центре заданной ею сети отношений и координат (мать — сестры — муж — отец — дочь — бабушка — внучка — дядя — дед). Субъективное «Я» — из стабильной и «привилегированной категории» — оказывается лишь временным эффектом меняющихся отношений [Ман 1999: 222], узлом, «связавшим» вместе и эти отношения, и людей, вступающих в них.

Цитата проясняет и еще один механизм. Являясь условием *связности* биографии, семейные уз(л)ы в то же время обнажают и принцип *со-поставления* [Деррида 2000: 394], принцип одновременно пространственного *сближения* и дискурсивного *установления* родственных отношений, благодаря которому связность смысла и опыта становится возможной. «Структура спутанности» [Деррида 2000: 378] этого многообразия различаемых, но не всегда разделимых родственных позиций, амбивалентность и переплетение этих позиций и отношений, позволяя «разойтись различным нитям и различным линиям смысла» [Деррида 2000: 378], в то же самое время готова связать другие линии и нити в ткань индивидуальной жизни. Семейное пространство, иными словами, оказывается примером того, что Мишель Фуко называл *гетеротопией*, т. е. пространственной организацией, сводящей в одном месте несколько точек, несколько позиций, несовместимых между собой [Foucault 1986: 25]. Приведу еще один пример.

12 марта 2003 года в вечернем выпуске новостей канал «ТВС» сообщил: «В Москве начались торжественные мероприятия по случаю юбилея Сергея Михалкова. 90 лет автору трех вариантов гимна и прославленному детскому писателю исполняется завтра». На несколько дней юбилей стал одной из основных тем телевизионных репортажей и многочисленных газетных публикаций. Однако и освещение торжественного вечера в Кремлевском дворце съездов (которому предшествовал визит президента страны в только что отремонтированную квартиру поэта), и поток статей, посвященных феномену Михалкова, продемонстрировали своеобразный кризис «юбилейного жанра». Сложности с оценкой творчества «прославленного детского писателя», как правило, вели к смещению аналитического фокуса. В центре внимания оказывалось не столько собственно художественное наследие, сколько генеалогические связи и перечисление заслуг многочисленных дальних и близких родственников поэта. Интервью с поэтом, опубликованное в «Московском комсомольце», например, начиналось с характерного пассажа: «В древнем дворянском роду Михалковых сыновей часто называли именами Сергей и Владимир. На иконе “Спас Нерукотворный”, попавшей в музей, есть надпись: “Сим образом благословил сына своего Сергей Владимирович Михалков 29 августа 1881 года. Этот образ принадлежал стольнику и постельничему Константину Михалкову — четвероюродному брату царя Михаила Федоровича Романова”. Есть в музее и другая

семейная икона, написанная в середине XVII века предком Сергея Владимировича Михалкова. Автору гимнов СССР и России, надписи на могиле Неизвестного солдата: *“Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен”*, автору строк, запомнившихся с детства всем, кто говорит по-русски, — исполнилось 90» [Московский комсомолец. 2003. 12 марта].

«Парламентская газета», несмотря на принципиально иной состав своих читателей, использовала сходный прием при освещении «мероприятия»: творчество автора надписи о Неизвестном солдате вновь оказалось в тени перечня имен известных родственников: «За Михалковым прочно закрепился титул — “высокий советский вельможа”. Что ж, он действительно был обласкан советской властью. Что касается вельможности, то о древности рода Михалковых свидетельствуют многочисленные архивные документы. “Предков мы себе не выбираем, — замечает юбиляр. — Но вот историки нашли грамоту князя Дмитрия Пожарского, пожаловавшего в 1613 году во время войны с Польшей вотчину чебоксарскому воеводе Федору Ивановичу Михалкову “за московское осадное сидение и за то, что не покривил”. <...> Через год после выхода первой книжки Сергей Владимирович женится на Наталье Кончаловской — дочке знаменитого художника из общества “Бубновый валет” Петра Кончаловского и внучке великого живописца Василия Сурикова. Этому союзу суждено было продлиться аж 53 года... От этого брака у Михалкова два сына, оба знаменитые режиссеры — Андрон Кончаловский и Никита Михалков... Их нередко попрекают тем, что взлетать из-под крыла именитого писателя Сергея Михалкова было куда легче, чем из какой-нибудь отдаленной деревеньки. Однако сколько отпрысков великих родителей стали лишь тенью своих отцов! А вот на потомках Сергея Владимировича природа не отдохнула» [Парламентская газета. 2003. 13 марта].

Интересно, что эта генеалогическая лихорадка информационных изданий сопровождалась настойчивыми попытками самого Михалкова объяснить свою биографию несколько иначе. Для Михалкова, — в отличие от прессы, — *происхождение* являлось скорее метафорой, чем результирующим вектором конкретных родственных связей и отношений. Логике родовой линии противопоставлялась логика политического строя, родство по крови вытеснялось родством по убеждениям. «Я человек ушедшей эпохи, и спрашивать с меня надо по законам того времени, — отме-

чал поэт. — Это не оправдание, а констатация. Я воспитан советским строем, кровь и плоть его, но не могу сказать, будто старался по-особенному выслужиться перед режимом» [Итоги. 2003. 11 марта].

Праздничные ритуалы, казалось, наконец-то обнажили истинную, символическую — во всех смыслах этого слова — роль «патриарха» (см. также: [Вортман 2001]). Важна не сама фигура, не личностные особенности конкретного *родо-начальника*, и даже не результаты его деятельности, а его (формальная) способность выступить (временно) фиксируемой точкой на оси координат, точкой, через которую может быть проведено сколь угодно много генеалогических «прямых». Как следовало из телерепортажей и газет, основная функция «патриарха» заключалась не в традиционной способности задать *направление* развития «своего» клана или определить *логику* его формирования, сколько в умении стать удачной канвой — *основой* — для постоянно плетущейся сети родства. Сложность и цветистость родственных «узлов» становились очевидными именно на фоне разреженной структуры и однотонной простоты исходной «ткани» юбиляра.

Сформулирую чуть иначе — основной функцией ритуального чествования «патриарха» в данном случае была не символическая легитимация его социального вклада и / или соответствующих политико-эстетических претензий. Юбилей стал ярким примером «*представления*, при помощи которого представитель образует группу, которая произвела его самого» [Бурдые 1993: 88]. Выступая в роли структурирующего механизма, «представитель», таким образом, ретроспективно придал разрозненным поступкам отдельных людей («группе») видимость (генеа)логического порядка.

Мероприятия в связи с юбилеем Сергея Михалкова, разумеется, интересны не только публичной демонстрацией технологии превращения конкретной семейной истории в династическую сагу, т. е. публичным слиянием истории семьи и истории страны. Важным, на мой взгляд, является и та настойчивая подмена, в ходе которой риторика родства — наряду с осуществлением своей традиционной функции картографии социальной местоположенности (боярин — дворянин — советский вельможа) — используется для индивидуальной оценки. В условиях, когда локализация позиции индивида — т. е. фиксация его социальной местоположенности — в силу политических, идеологических или, допустим, эстетических причин затруднена или невозможна, смысл траекто-

рии индивидуальной жизни часто попадает в зависимость от конфигурации связей между предками (см.: [Goode 2003: 19]). Совмещение *генеалогических идеологий* — т. е. попыток обосновать сегодняшнюю позицию при помощи ретроспективного конструирования ее прошлого, — с риторикой *наследия*, призванной придать сложившимся (материальным) условиям существования эффект закономерности и неизбежности, — позволяет сформировать определенное символично-нормативное пространство, в котором сила *внутри-семейных* связей оказывается исходной точкой при *внешней* оценке ее членов. Семейные узы, иными словами, становятся предпосылкой для *уз-навания*, для автоматического связывания людей, объектов и явлений, с одной стороны, и социальных смыслов и значений — с другой. Или чуть иначе — неспособность внешнего контекста задать критерии оценки и сформировать практики социальной классификации зачастую ведет к наделению сети родственных отношений организационно-дифференцирующей логикой.

Если восприятие семьи как многомерного и подвижного жизненного пространства, в котором локализуются позиции и опыт субъекта⁴¹, во многом позволяет уйти от линейной логики институционально-эволюционного анализа семейной жизни, то внимание к формам и конфигурациям *взаимного обмена* обязанностями и услугами, собственно и составляющего суть реальных или воображаемых родственных взаимоотношений, дает возможность увидеть социальные общности, которые формируются в ходе обмена⁴². Как отмечал в своей работе Бурдьё: «Если все, что касается семьи, не было бы окружено замалчиванием, то не нужно было бы напоминать, что сами отношения между предками и потомками существуют и длятся лишь благодаря непрерывной работе по их поддержанию и что существует *экономика материальных и символических обменов между поколениями*» [Бурдьё 2001: 323].

Практика разнообразных материальных и символических обменов, однако, не должна скрывать из виду их биотопографического контекста: именно факт родовой местоположенности индивида, внешняя манифестация его «встроенности» в ту или иную систему родства выступает как необходимое и достаточное условие мотивации его поведения («бабушка взяла к себе внучку»). Выступая в форме разнообразных *социальных* связей — обменов, — родственные отношения, таким образом, всякий раз обнажают свою *естественную* основу, свой «*органический* порядок»⁴³.

Именно этой способностью легитимизировать перевод, трансформацию принципов «естественных» — «безусловных» — отношений на язык социальных практик, символов и условностей во многом и определяется специфика семьи. Верно и обратное. В условиях отсутствия или недоступности четко выраженных форм само-описания экономика символических и материальных обменов между родственниками может выступать в качестве универсального механизма символического *упорядочивания* ткани социальных отношений в целом (см., например: [Бычков 2004]). Цитата из расследования Эдуарда Лимонова может служить хорошим примером того, как попытки семейной локализации, как определение конкретных параметров семейной встроенности — т. е. определение соответствующего характера обмена обязанностями и услугами — может использоваться для придания смысла социальным ситуациям, логика которых неочевидна.

Один из интервьюеров Лимонова — бывший гендиректор телекомпании — так описывает процесс покупки алюминиевого завода в Саяногорске: «Приехали московские парни, купили завод. Ситуация не так страшна для большинства людей... У Дерипаски имидж очень умного человека. Ходят слухи, что он не то племянник Сосковца, не то незаконнорожденный сын Сосковца. Он плохо не выглядит. Он как нечто неосязаемое. <...> Не говорливый человек. Говорит невнятно. Взгляд как рыбы глаза. Точно родовая травма была. Ни с кем не общается в городе. Редко бывает. Центр «*Сибирского алюминия*» теперь в Самаре. Чем дальше, тем меньше появляется в Саяногорске. <...> Одет? Модные пиджаки, кофты, часто без галстука. Не женат. Якобы встречается с дочерью Березовского Лизой, сейчас раскручивают его с дочерью Юмашева, будто бы. Когда только приехали, он и команда на выходные летали в Москву... Смотрел на город через окно своих мерсов...» [Лимонов 2001: 289–290].

По меньшей мере три момента интересны в этом отрывке. Прежде всего, смысл происходящего обмена «завода» на деньги становится результатом персонификации *участников* обмена: различные «московские парни» превращаются в конкретного «Дерипаску». Аналогичным образом невозможность четко зафиксировать структурное и смысловое положение «товара» («центр “Сибирского алюминия” теперь в Самаре») проецируется на объект персонификации. Неуловимость *личностных* характеристик «Дерипаски» («неосязаемый», «неговорливый», «невнятно») отража-

ет неопределенность его *семейного положения*. Структурная «подвешенность» завода и структурная «подвешенность» человека в результате оказываются слитыми в метафоре «родовой травмы» и незавершенной серии идентификационных позиций: «Дерипаска» «будто бы» становится «племянником Сосковца», его «незаконнорожденным сыном», другом «дочери Березовского» и, наконец, другом «дочери Юмашева». Важны в данном случае, конечно, не сами позиции — хотя существенно, что семейная идентификация оказалась единственно доступной формой символизации коммерческих отношений, — важны конкретные формы обмена обязанностями и услугами, которые эти позиции призваны обозначить не называя.

Принципиален и еще один момент. Возможная *встроенность* «Дерипаски» в известные конфигурации семейных интересов обозначается как его *удаленность* от структур символического обмена, уже сложившихся в Саяногорске («ни с кем не общается в городе»). Социальная дистанцированность («смотрел на город через окно»), в свою очередь, реализуется как дистанцированность географическая («на выходные в Москву», «меньше появляется в городе»). Наконец, это *пространственное* социальное противостояние принимает форму *структурного* противопоставления: детализацию семейных отношений («племянник», «сын», «друг семьи») призвано уравновесить монолитное, недифференцированное единство («город», «большинство людей»). Благодаря пространственному восприятию социального мира совмещение логики родства и логики социальных трансформаций стало возможным: ареной «семейного» — *частного* — бизнеса становится все доступное *публичное* пространство, в котором в качестве навигационной карты используются конфигурации родственных связей и интересов.

Структурирующий успех логики родства, ее способность задать направление отношениям, выходящим за пределы собственно родственных, во многом определяется способностью семьи локализовать в социальном пространстве опыт индивидуальной жизни. Различение родственных позиций позволяет определить собственную местоположенность в поле социальных отношений обмена. В свою очередь, топография родства — *место-имени-я* — может одновременно стать и началом отсчета очередной системы (семейных связей), и содержательным центром повествования о ней. Вряд ли такой процесс организации жизни способен сколько-нибудь упростить «структуру спутанности» ткани социальных

отношений. Его задача состоит в другом — показать, из какого материала плетутся сети родства и из каких узлов формируются ячейки общества.

¹ См., например: «Мама» (дир. Д. Евстигнеев, 1999), дилогия «Брат» (реж. А. Балабанов; 1997, 2000), «Сестры» (реж. С. Бодров; 2001), «Папа» (реж. В. Машков; 2004), «Мать и сын» (реж. А. Сокуров; 1996), «Отец и сын» (реж. А. Сокуров; 2003); дискуссию о «семейном» кинематографе см.: [Манцов 2002].

² Обзоры исследований семейных и родовых отношений в зарубежной литературе см., например: [Gottman, Notarius 2002; Peletz 1995; Sprey 2000]. Попытки реконцептуализации отношений родства см.: [Butler 2002; Cultures... 2000; Collier, Yanagisako 1987; Relative values... 2001].

³ Полезные обзоры социологической литературы по вопросам семьи см.: [Клещин 1998; Ярская-Смирнова 1998]; обзоры демографической и исторической литературы см. соответственно: [Захарова 1998; Муравьева 2001].

⁴ Как полагает Антонов: «С точки зрения возрождения института семьи... неплохо бы было взамен крестьянства и фермерства найти такой вид деятельности, который был бы широко распространен в современном мире и вместе с тем обладал не менее сильной способностью врасти в семью, слиться с ней воедино» ([Антонов 2000: 241]). Критику аналогичной идеализации сельской семьи христианскими демократами восточной Европы см.: [Салецл 1999: 96–97; Gal, Kligman 2000].

⁵ Показателен перечень вопросов для исследования семьи («шкала фамилизма»), приведенный в одной из работ Антонова: «1. Как вы думаете, следует ли платить детям моложе 16 лет за их работу в семье? 2. Как вы считаете, должны ли работающие дети моложе 21 года и живущие в семье, отдавать всю зарплату родителям? 3. Кому следует ухаживать за престарелыми родителями — их детям или правительству? 4. Если ваши родители не советуют жениться на девушке, которую вы выбрали, женитесь ли вы на ней? 5. Следует ли детям, создавшим собственную семью, жить вместе с их родителями? 6. Как вы думаете, можно ли вступать в брак с человеком другой религиозной веры? 7. Можно ли заключать брак с человеком другой национальности? 8. Могли бы вы сделать своего сына партнером вашей фирмы? 9. Понравится ли вам намерение вашего сына пойти по вашим профессиональным стопам? 10. Следует ли советоваться по важным семейным вопросам с близкими родственниками?» [Антонов 2002: 402–403].

⁶ Дальнейшее развитие эволюционного подхода см.: [Голод, Клещин 1994].

⁷ Несколько иную версию подобного подхода см. в работе [Карцева 2003]. В данном случае типологический анализ семьи изначально выводит проблематику эволюционного развития за скобки и концентрируется преимущественно на одномоментном существовании семей с разной организационной структурой. Как отмечает социолог, подобный подход «ставит во главу угла интересы самой семьи, оценивая как естественные и исторически обусловленные все те процессы, которые в ней происходят» [Карцева 2003: 94].

⁸ Свои интерпретации С. Голод строит в основном с помощью одного и того же методологического приема типологизации / таксономии. В зависимости от объекта исследования речь может идти, например, о *типах* семьи [Голод 1984], о *типах* «сексуальных отношений» и *типах / вариантах* «сексуальных связей» [Го-

под 1997: 65–71; 82–83], или, наконец, о легитимных / нелегитимных сексуальных стандартах [Голод 2000: 142–143; Голод 2002в].

⁹ Сходную роль в формировании системного и вне-системного играет прием цензуры и в попытках Голода объяснить те или иные модели (сексуального) поведения в России влиянием извне. В своей работе 1997 года социолог, например, отмечал: «В последнее время появились новые свидетельства экспансии в нашу культуру исторически чуждых поведенческих стереотипов» [Голод 1997: 148].

¹⁰ См. также обсуждение работ Голода в работе [Ярская-Смирнова 1998].

¹¹ Как писал, например, Жак Лакан: «То, что подпадает под эффект подавления, возвращается, поскольку подавление и возвращение подавленного — это лишь две стороны одной монеты. Подавленное всегда имеет место быть, выражая себя совершенно артикулированным способом в симптомах и целом букете других явлений» [Лакан 1993: 12]; см. также: [Кристева 2003].

¹² См., например: [Ревзин 1965]. См. также полемику Б. Гаспарова по поводу структуралистских аспектов советской семиотики [Московско-тартуская семиотическая школа... 1998].

¹³ Подробнее об этом см.: [Oushakine 2003].

¹⁴ О тематизации в социологическом исследовании см.: [Мещеркина 2002; Мещеркина 2004].

¹⁵ Об использовании сюжетного анализа в социологическом исследовании см.: [Ушакин 1999].

¹⁶ Различные подходы к анализу публичной сферы см.: [Habermas... 1996].

¹⁷ См., например: [Здравомыслова 2003]. Принципиально иную интерпретацию роли «частного» и профессионального см., например: [Козлова 1996; Трубина 2002]; иные трактовки семейного как частного см. [Михеева 1998; Разумова 2001; Эпштейн 2003]; иные подходы к частному как женскому см.: [Женщины... 2003; Козлова, Сандомирская 1996; Савкина 2001; Женская повседневность... 2003].

¹⁸ Рецензию на книгу см.: [Ярская-Смирнова 2000].

¹⁹ Подробнее см.: [Harding 1993; Hartsock 1987]; см. также: [Манхейм 1996: 94–167].

²⁰ По данным еще одного исследования, 26,5 % жен, считающих, что им удалось создать счастливую семью, отметили, что основной вклад в семейный бюджет вносит муж, 26,1 % — поровну, 14,6 % — жена [Женщина... 2002: 63].

²¹ В недавнем исследовании Сара Ашвин и Татьяна Лыткина убедительно показали, что нередко маргинализация мужчин в семьях связана с попытками жен сохранять полноту своей власти [Ashwin, Lytkina 2004]. Как отмечают исследовательницы, вторжение мужчин на «женскую территорию» приветствуется редко — сходные результаты были обнаружены и при изучении семей в Великобритании, США и Австралии. См.: [Lamb et al. 1987; Morris 1990]; см. также: [Лыткина 2001].

²² Иной подход к проблеме насилия см.: [Morris 1990; Ходырева 2002].

²³ См., например: [Bourdieu 2001: 96–98; Мезенцева 2002: 15].

²⁴ Иной подход к анализу взаимосвязи экономики и семьи см., например, в работах: [Creed 2000; Burawoy et al. 2000].

²⁵ Обсуждение теоретической состоятельности отечественных «гендерных исследований» см.: [Дашкова 2003; Зверева 2001; Ушакин 1997: 62–75; Ушакин 2002: 12–20]; критику схемы «гендерного контракта» см.: [Гурко 2001: 281]. Подробную дискуссию проблемы соотношения права и феминизма в зарубежной литературе см.: [Bartlett, Kennedy 1991].

²⁶ Критику дихотомии «официальное-как-публичное / неофициальное-как-частное» в отношении советской действительности см., например: [Yurchak 1999;

2002; Oushakine 2001; Ельшевская 2002]. См. также: [Рид 2004; Gerasimova 2002; Ярошенко 2003].

²⁷ Сходную логику в использовании «контракта» демонстрирует и О. Здравомыслова, понимая под ним определенную совокупность *представлений* о семейных взаимодействиях («традиционный» и «эгалитарный» контракты) [Здравомыслова 2002: 482–483].

²⁸ Обсуждение юридического статуса однополых браков, в которых различение традиционных «ресурсов» у партнеров играет, судя по всему, меньшую роль, см.: [Butler 2002; Алексеев 2002]; исследования семейных практик см.: [Антонов 2002; Воронцов 2004].

²⁹ См. подробнее: [Леви-Строс 2001: 60–71; Рубин 2000: 99–113].

³⁰ См.: [Benhabib 1992; 148–177]. Обсуждение работ Ш. Бенхабиб см.: [84].

³¹ Подробнее об этом см., например: [Клименкова 2002].

³² Критику такого подхода см., например: [Kertzer 1984: 210–211].

³³ См. подробнее: [Бурдые 2001: 281–394; Козлова 1999: 24–44; Теория... 1995: разд. 4; Certeau 1984: chap. III; Certeau et al. 1998; Bourdieu 1984: pt. II; Grosz 1995: 83–140].

³⁴ Подробнее о «поле» как категории социологического исследования см.: [Бурдые 2003; Бурдые 1993]; см. также: [Ильин 2003].

³⁵ Интересную дискуссию между «конструктивистами» и «объективистами» в исследовании семьи см.: Journal of Marriage and Family. 2002. Vol. 64.

³⁶ О роли локализации см. подробнее: [Simpson 2003].

³⁷ Об эгоцентричности восприятия родовой структуры см., например: [Johnson 2000: 633; Разумова 2004].

³⁸ О социально-дифференцирующей функции родства см., например: [Гиренко 1999a; Гиренко 1999b].

³⁹ См., например: [Jimenez 2003], см. также: [Рикер 2000: 95–106; Савкина 2004].

⁴⁰ Философский анализ проблемы дифференциации в семье см.: [Goux 1993].

⁴¹ См. подробнее: [Винникотт 2002: 155–198]; философский анализ см.: [Платон 1994], и обсуждение платоновского понятия *chora* в книгах [Kristeva 1984; Grosz 1995: 111–124].

⁴² В своей работе об аборигенах Самоа Мид отмечала: «Родственниками считаются те, к кому мы обращаемся со всем множеством своих проблем и перед кем у нас множество обязанностей» [Mead 1928: 45].

⁴³ Любопытный пример анализа использования ритуала обмена для формирования «семьи» верующих см.: [Penn 2002].

Литература

Айвазова С. Г. Контракт работающей матери: советский вариант // Гендерный калейдоскоп / Ред. М. Малышева. М., 2002.

Алексеев Н. Гей-браки: Семейный статус однополых пар в международном, национальном и местном праве. М., 2002.

Антонов А. И. Семья как институт среди других социальных институтов // Семья на пороге третьего тысячелетия. М., 1995.

Антонов А. И. Социологический подход к изучению взаимоотношений в семье // Психология семьи / Ред. Д. Райгородский. Самара, 2002.

Антонов А. Судьба семьи в России XXI века. М., 2000.

Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М., 1996.

- Бурдые П.* Социология политики. М., 1993.
- Бурдые П.* Практический смысл. СПб., 2001.
- Бурдые П.* Биографическая иллюзия // ИНТЕРАкция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2002. № 1.
- Бурдые П.* Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики // Бурдые П. О телевидении и журналистике. М., 2003.
- Бычков Д.* Пространство (без) семьи // Семейные узы: модели для сборки / Ред. С. Ушакин. М., 2004. Т. 2.
- Василенко И. В., Иваненко Н. В.* Нравственные координаты внутри-семейного сознания // Мужчина и женщина в современном мире: меняющиеся роли и образы. М., 1999. Т. 1.
- Винникотт Д.* Игра и реальность. М., 2002.
- Воронцов Д.* «Семейная жизнь — не для нас»: мифы и ценности мужских гомосексуальных пар // Семейные узы: модели для сборки / Ред. С. Ушакин. М., 2004. Т. 1.
- Вортман Р.* Российская императорская фамилия как символ // Семья в ракурсе научного знания. Барнаул, 2001.
- Ганцкая О. А.* Этнорегиональные особенности семьи в России (некоторые проблемы и результаты сравнительного изучения) // Проблемы и методы исследования современной семьи. М., 1997.
- Гендерный калейдоскоп / Ред. М. Малышева. М., 2002.
- Гиренко Н. М.* Латеральность и линейность как дифференцирующие признаки социального организма родства // Алгебра родства. СПб., 1999а. Вып. 3.
- Гиренко Н. М.* Госпожа Артемова познала все... // Алгебра родства. СПб., 1999б. Вып. 3.
- Голод С.* Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Л., 1984.
- Голод С. И.* XX век и тенденции сексуальных отношений в России. СПб., 1997.
- Голод С. И.* Российские сексуальные стандарты и их трансформация (вторая половина XX столетия) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. № 2.
- Голод С. И.* Моногамная семья: кризис или эволюция? // Психология семьи / Ред. Д. Райгородский. Самара, 2002а.
- Голод С. И.* Интервью с профессором Сергеем Исаевичем Голодом // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002б. № 3.
- Голод С.* Нелегитимные молодежные сексуальные стандарты // Человек. 2002в. № 3 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: [<http://courier.com.ru/homo/ho0302golod.htm>]
- Голод С., Клецин А.* Состояние и перспективы развития семьи: Теоретико-типологический анализ. Эмпирическое обоснование. СПб., 1994.
- Гурко Т.* Трансформация брачно-семейных отношений // Россия: трансформирующееся общество / Ред. В. Ядов. М., 2001.

Дашкова Т. Гендерная проблематика: подходы к описанию // Исторические исследования в России-II. Семь лет спустя / Ред. Г. Бордюгов. М., 2003.

Деррида Ж. Различие // Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000.

Ельшеская Г. 60-е: конфигурация пространства // Художественный журнал. 2002. № 45 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.guelman.ru/xz/xx45/>

Женская повседневность в России в XVIII–XX вв. / Ред. П. Щербинин. Тамбов, 2003.

Женщина новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится? / Ред. М. К. Горшкова, Н. Тихонова. М., 2002.

Женщины на краю Европы / Ред. Е. Гапова. Минск, 2003.

Захарова О. Исследования демографических процессов и детерминация рождаемости // Социология в России / Ред. В. Ядов. М., 1998.

Зверева Г. «Чужое, свое, другое...»: феминистские и гендерные концепты в интеллектуальной культуре постсоветской России // Адам и Ева: Альманах гендерной теории. М., 2001. № 2.

Здравомыслова Е. Сексуальное насилие: реконструкция женского опыта // В поисках сексуальности / Ред. Е. Здравомыслова, А. Темкина. СПб., 2002.

Здравомыслова О. Российская семья в 90-е годы: жизненные стратегии мужчин и женщин // Гендерный калейдоскоп / Ред. М. Малышева. М., 2002.

Здравомыслова О. Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации. М., 2003.

Здравомыслова О. М., Арутюнян М. Ю. Российская семья на европейском фоне. М., 1998.

Ильин В. Феномен поля: от метафоры к научной категории // Рубеж. 2003. № 18 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://ecsocman.edu.ru/gubezh/msg/140952>

Карцева Л. Модель семьи в условиях трансформации российского общества // Социологические исследования. 2003. № 7.

Клецин А. Социология семьи // Социология в России / Ред. В. Ядов. М., 1998.

Клименкова Т. А. Насилие как основа культуры патриархатного типа: Гендерный подход к проблеме // Гендерный калейдоскоп / Ред. М. Малышева. М., 2002.

Козлова Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., 1996.

Козлова Н. Социально-историческая антропология. М., 1999.

Козлова Н., Сандомирская И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингво-социологического чтения. М., 1996.

Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб., 2003.

Лебедев О., Дудина Ю., Куликова Е. Имидж семьи в современных русских песнях // Социологические исследования. 2002. № 3.

- Леви-Строс К.* Структурная антропология. М., 2001.
- Лимонов Э.* Охота на Быкова: расследование Эдуарда Лимонова. СПб., 2001.
- Лотман Ю.* Динамическая модель семиотической системы // Лотман Ю. Сочинения: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1.
- Лукуянченко Т. В.* Проблемы современной семьи кольских саамов // Проблемы и методы исследования современной семьи. М., 1997.
- Лыткина Т.* Распределение власти в семье как фактор стратегий занятости и организации домохозяйства // Рубеж. 2001. № 16–17 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://socnet.narod.ru/Rubez/16-17/lytkina.htm>
- Макаренко А. С.* О путях общественного воспитания // Макаренко А. С. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1960. Т. 7.
- Малышева М.* Современный патриархат: социально-экономическое эссе. М., 2001.
- Ман П. де.* Аллегии чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург, 1999.
- Ман П. де.* Слепота и прозрение: статьи о риторике современной критики. СПб., 2002.
- Манхейм К.* Избранное: Социология культуры. М., 1996.
- Манцов И.* Свидетель // Искусство кино. 2002. № 5.
- Мезенцева Е.* Введение. Гендер в экономическом анализе // Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики / Ред. Е. Мезенцева. М., 2002.
- Мецкеркина Е.* Жизненный путь и биография: преемственность социологических категорий (анализ зарубежных концепций) // Социологические исследования. 2002. № 7.
- Мецкеркина Е.* «...Я была домашним, дворовым ребенком» // ИНТЕРАкция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2004. № 2–3.
- Михеева А.* Дороги к семье, которые выбирают женщины (истории матерей внебрачных детей) // Потолок пола / Ред. Т. Барчунова. Новосибирск, 1998.
- Московско-тартусская семиотическая школа: История, воспоминания, размышления* / Сост. С. Ю. Неклюдов. М., 1998.
- Муравьева М.* История брака и семьи: западный опыт и отечественная историография // Семья в ракурсе социального знания. Барнаул, 2001.
- Нартова Н.* Лесбийские семьи: реальность за стеной молчания // Семейные узы: модели для сборки / Ред. С. Ушакин. М., 2004. Т. 1.
- Петрушевская Л.* Гимн семье // Петрушевская Л. Мост Ватерлоо. М., 2001.
- Платон.* Тимей // Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 3.
- Разумова И.* Потаенное знание современной русской семьи. М., 2001.
- Разумова И.* Родословие: семейные истории России // Семейные узы: модели для сборки / Ред. С. Ушакин. М., 2004. Т. 1.

Ревзин И. О целях структурного изучения художественного текста // *Вопр. лит.* 1965. № 6.

Рид С. «Быт — не частное дело»: внедрение современного вкуса в семейную жизнь // *Семейные узы: модели для сборки* / Ред. С. Ушакин. М., 2004. Т. 1.

Рикер П. Время и рассказ: конфигурация в вымышленном рассказе. СПб., 2000. Т. 2.

Римашевская Н. Роль семьи в условиях социальных трансформаций / *Семья, гендер, культура.* М., 1997.

Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М. и др. Окно в русскую частную жизнь: Супружеские пары в 1996 году. М., 1999.

Рис Н. «Профиль» буржуазности: новая элита о себе // *Семейные узы: модели для сборки* / Ред. С. Ушакин. М., 2004. Т. 1.

Рубин Г. Обмен женщинами: заметки по политэкономии тела // *Антология гендерных исследований: Сб. переводов* / Сост. Е. Гапова, А. Усманова. Минск, 2000.

Савкина И. «Пишу себя...» Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. Тампере, 2001.

Савкина И. Род/дом: семейные хроники Людмилы Улицкой и Василия Аксенова // *Семейные узы: модели для сборки* / Ред. С. Ушакин. М., 2004. Т. 1.

Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М., 1999.

Семейные узы: модели для сборки: В 2 т. / Ред. С. Ушакин. М., 2004.

Темкина А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России // *Социологические исследования.* 2002. № 11.

Теория и жизненный мир человека / Ред. В. Федотова. М., 1995.

Трубина Е. Рассказанное Я: отпечатки голоса. Екатеринбург, 2002.

Ушакин С. Пол как идеологический продукт: о некоторых направлениях в российском феминизме // *Человек.* 1997. № 2.

Ушакин С. Количество стиля: потребление в условиях символического дефицита // *Социологический журнал.* 1999. № 3/4 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj3-4-99.html>

Ушакин С. Политическая теория феминизма // *Вопр. философии.* 2000. № 5.

Ушакин С. Человек рода «он»: знаки отсутствия // *О муже(N)ственности* / Сост. С. Ушакин. М., 2002.

Филиппов Ф. Социология пространства: общий замысел и разработка проблемы // *Логос.* 2000. № 2 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_2/09.html

Фуко М. Воля к истине. М., 1995.

Ходырева Н. Причины физического насилия: сущность рода или дисбаланс власти? // *О муже(N)ственности* / Сост. С. Ушакин. М., 2002.

- Шкловский В. Эйзенштейн. М., 1973.*
- Шкловский В. Гамбургский счет. СПб., 2000.*
- Шмелева М. Н. Некоторые проблемы этнографического изучения современной городской семьи русских (методологические аспекты) // Проблемы и методы исследования современной семьи. М., 1997.*
- Эпштейн М. Отцовство. СПб., 2003.*
- Ярошенко С. Кризис семьи и сексуальности: бедность без любви в семьях нуждающихся северной деревни // В поисках сексуальности. СПб., 2003.*
- Ярская-Смирнова Е. Проблематизация семьи в социологии // Рубеж. 1998. № 12 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://ecsocman.edu.ru/rubezh/msg/155118>*
- Ярская-Смирнова Е. [Рецензия] // Социологические исследования. 2000. № 5. Рец. на кн.: Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 г. М.: Academia, 1999.*
- Ashwin S., Lytkina T. Men in crisis in Russia: The role of domestic marginalization // Gender & Society. 2004. Vol. 18 (2).*
- Bartlett K., Kennedy R. Feminist legal theory. Readings in law and gender. Boulder, 1991.*
- Benhabib S. Situating the self: Gender, community and postmodernism in contemporary ethics. Cambridge, 1992.*
- Bourdieu P. Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge, 1984.*
- Bourdieu P. The social space and the genesis of new groups // Theory and Society. 1985. Vol. 14.*
- Bourdieu P. Masculine domination. Stanford, 2001.*
- Burawoy M., Krotov P., Lytkina T. Involution and destitution in capitalist Russia // Ethnography. 2000. № 1.*
- Butler J. Excitable speech: a politics of the performative. N. Y., 1997.*
- Butler J. Antigone's claim: kinship between life and death. N. Y., 2002.*
- Certeau M. de. The practice of everyday life. Berkeley, 1984.*
- Certeau M. de, Giard L., Mayol P. The practice of everyday life. Vol. 2: Living and Cooking. Minneapolis, 1998.*
- Collier J. F., Yanagisako S. Gender and kinship: essays toward a unified analysis. Stanford, 1987.*
- Coontz S. Historical perspectives on family studies // Journal of Marriage and the Family. 2000. Vol. 62.*
- Creed G. «Family values» and domestic economy // Annual Review of Anthropology. 2000.*
- Cultures of relatedness: new approaches to the study of kinship / Ed. by J. Carsten. Cambridge, 2000.*
- Felman S. Jacques Lacan and the adventure of insight: psychoanalysis in contemporary culture. Cambridge, 1987.*
- Foucault M. Of other spaces // Diacritics. 1986. Vol. 16 (1).*

- Gal S., Kligman G.* The politics of gender after socialism. Princeton, 2000.
- Gerasimova K.* Public privacy in the Soviet communal apartment // *Socialist spaces: sites of everyday life in eastern block* / Eds. by D. Croweley, S. Reid. Oxford, 2002.
- Goode W.* Family changes over the long term: a sociological commentary // *Journal of Family History*. 2003. Vol. 28 (1).
- Gottman J., Notarius C.* Marital research in the 20th century and a research agenda for the 21st century // *Family Process*. 2002. Vol. 41. № 2.
- Goux J.-J.* Oedipus, philosopher. Stanford, 1993.
- Grosz E.* Space, time and perversion. N. Y., 1995.
- Habermas and the public sphere* / Ed. by C. Calhoun. Cambridge, 1996.
- Haraway D.* Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature. Stanford, 1991.
- Harding S.* Rethinking standpoint epistemology: «What is strong objectivity» // *Feminist epistemologies* / Eds. by L. Alcoff, E. Potter. N. Y., 1993.
- Hartsock N.* The feminist standpoint: developing the ground for a specifically feminist historical materialism // *Feminism and methodology: Social science issues* / Ed. by S. Harding. Bloomington, 1987.
- Jimenez A.* On space as a capacity // *Journal of Royal Anthropological Institute*. 2003. Vol. 9.
- Johnson C.* Perspectives on American kinship in the later 1990s // *Journal of Marriage and the Family*. 2000. Vol. 62.
- Kertzner D.* Anthropology and family history // *Journal of Family History*. Fall, 1984.
- Kristeva J.* Revolution in poetic language. N. Y., 1984.
- Lacan J.* The Psychoses: 1955–1956. N. Y., 1993.
- Lamb M., Pleck J., Levine J.* Effects of increased paternal involvement on mothers and fathers // *Reassessing fatherhood* / Ed. by C. Lewis, M. O'Brien. L., 1987.
- Mead M.* Coming of age in Samoa: A psychological study of primitive youth for Western civilization. N. Y., 1928.
- Morris L.* The Workings of the household: A US-UK Comparison. Cambridge, 1990.
- Oushakine S.* The Terrifying Mimicry of Samizdat // *Public Culture*. 2001. Vol. 13 (2).
- Oushakine S.* Crimes of substitution: Detection in late soviet society // *Public Culture*. 2003. Vol. 15 (3).
- Pateman C.* The sexual contract. Stanford, 1988.
- Peletz M.* Kinship studies in late twentieth century anthropology // *Annual Review of Anthropology*. 1995. Vol. 24.
- Penn M.* Performing family: Ritual kissing and the construction of early Christian kinship // *Journal of Early Christian Studies*. 2002. Vol. 10 (2).
- Relative values: reconfiguring kinship studies* / Eds. by S. Franklin, S. McKinnon. Durham, 2001.

Russell G. Problems in role-reversed families // Reassessing fatherhood / Eds. by C. Lewis, M. O'Brien. L., 1987.

Simpson D. Situatedness, or Why we keep saying where we're coming from. Durham, 2003.

Sprey J. Theorizing in family studies: discovering process // Journal of Marriage and the Family. 2000. Vol. 62.

Yurchak A. Entrepreneurial governmentality in postsocialist Russia: A cultural investigation of business practices // The New Entrepreneurs of Europe and Asia: Patterns of Business Development in Russia, Eastern Europe and China / Eds. by V. Bonnell, Th. Gold. N. Y., 2002.

Yurchak A. Gagarin and the rave kids: Transforming power, identity and aesthetics in post-Soviet night-life // Consuming Russia: Popular Culture, Sex and Society / Ed. by A. Barker. Durham, 1999.

А. В. Федулова

Семья и семейные ценности в жизни современного человека

Семья и ценности семьи представляют собой важные элементы культуры, являются необходимыми и общезначимыми на протяжении веков. Семья как культурная общность объединяет людей, связанных определенным единством жизненных ценностей и социальных позиций; именно в семье закладывается фундамент тех ценностных ориентаций, которые затем становятся критериями отбора информации, предпочтения одних ее форм и источников другим.

Семья — это родовая общечеловеческая ценность, основанная на общесемейной деятельности людей, соединенных узами супружества — родительства — родства, и ее главные задачи — воспроизводство населения и сохранение преемственности семейных поколений, а также социализация детей и поддержание существования членов семьи. Семейные ценности — социокультурные предпочтения людей в различных брачно-семейных сферах, способные удовлетворять потребности индивидов, служить их интересам и целям.

Как показывает анализ литературы, в настоящее время уместно говорить о противоречии между семейными и личными (вне-семейными) ценностями. Это во многом связано с изменением ценностных ориентаций членов семьи, которые являются прямым следствием трансформационных изменений института семьи и брака. Сегодня личность получила относительную независимость

от семьи, изменился характер восприятия семейных отношений, наиболее значимыми стали не родственные, объективно заданные, а супружеские отношения, основанные на свободном выборе. В центре семейной дезорганизации оказалось ослабление чувства семейного долга у членов семьи, сопровождающееся отчуждением родных людей друг от друга, разрушением традиционной семьи с ее многодетностью, супружеской и родительской верностью, отношениями, основанными на любви и заботе, на смену которым пришли малодетность или бездетность, боязнь ответственности, полигамность и др. В чем же заключаются основные перемены в области семейных устоев сегодня, можно ли утверждать, что фамилизм как культурная ценность уступает место другим ценностям? Как нам кажется, могут иметь место различные точки зрения на эту проблему. Мы выскажем свое видение, а прежде рассмотрим тенденции изменений семейных ценностей в различных брачно-семейных сферах.

Для сферы добрачного поведения и выбора брачного партнера характерно то, что ценностные ориентации юношей и девушек утрачивают матримониальное направление, становятся вполне нормальными добрачные и внебрачные сексуальные отношения. Согласие родителей на брак перестает быть общепринятой нормой, утрачивают свое значение традиционные для России институты сватовства, помолвки. Вступление в брак и создание семьи являются актами свободной воли людей, личностные факторы теперь играют решающую роль.

В сфере родства наиболее остро стоит проблема преемственности поколений. Существенные коррективы в сложившуюся систему родственных связей были внесены с появлением и развитием нуклеарной семьи. Этот факт высветил негативные тенденции в системе преемственности поколений. Родственники, в прошлом проживающие в пространственных пределах, достаточных для постоянного, непрерывного общения, выделились в замкнутые, территориально отделенные ячейки, но, самое главное, разъединенные духовно. Такой разрыв между старшими и младшими поколениями привел к падению авторитета семьи, трансформации представлений о нравственном, социальном примере родственной группы, значительному изменению социальных связей.

Сферу родительства отличает разрушение патриархальных внутрисемейных связей, которое привело к усложнению межличностных взаимодействий между супругами, родителями и детьми.

Отношения родительства отходят на задний план. Сегодня для современной семьи характерна малодетность или бездетность. Потребность в детях занимает незначительное место в структуре потребностей личности, а высокий уровень внесемейных ценностных ориентаций влечет осознание родительства как препятствия для самореализации личности. Снижение потребности семьи в детях находит свое проявление и подтверждение в количественных показателях репродуктивного поведения населения.

Изменения характерны и для *сферы брачно-семейных ролей*. Эволюция семейной организации привела к значительным трансформациям социальных ролей мужа и жены, которые связаны с развитием социально-профессиональной структуры общества. Стремление обоих супругов посвятить себя карьере обусловило появление нового типа семьи. Это общесторический факт, свидетельствующий об определенной ступени развития человеческой цивилизации. Резко изменились внутрисемейные функции супругов. Произошла утрата патриархальной роли отца и супруга в семье в связи с возрастанием материнского участия в обеспечении семьи и ее обслуживании. Вместе с тем надо отметить, что изменение традиционных семейных функций отца и матери — процесс крайне противоречивый. Современная моногамия переживает острую борьбу, с одной стороны — вековых, патриархальных законов, а с другой — новых демократических тенденций. Прямым выражением этого противоречия является социальная проблема супружеского неравенства при новых семейных ролях.

В сфере супружества происходит одобрение добрачных и внебрачных связей, супружеских измен. В результате этого распадается слитность, целостность брачного, сексуального и репродуктивного поведения; разваливается единство системы «супружество — партнерство — родительство — домоводство». В современных условиях моногамия все больше утрачивает свой пожизненный характер, заменяясь правом вступления в повторные браки.

Как показывает анализ долговременных тенденций процессов брачности, разводимости, рождаемости населения европейского Севера, в демографической сфере этого региона наблюдается практически та же ситуация, что и в большинстве регионов России и стран Запада. Прежде всего это существенное снижение показателей рождаемости в сочетании с высоким уровнем внебрачной рож-

даемости; рост, а затем стабилизация показателей разводимости на фоне распространения нерегистрируемых брачных союзов; значительное количество неполных семей.

Однако на основе статистических материалов о большом числе разводов, снижении рождаемости, росте внебрачных рождений и фактических союзов было бы неверно говорить об утрате семьей и браком их институциональной сущности. Результаты большинства исследований общественного мнения, направленных на выявление изменения системы общественных ценностей, свидетельствуют о том, что в России такие ценности, как семья, дети, материнство, практически постоянно остаются приоритетными. Одно из подтверждений тому — приведенные ниже факты.

В 2001 году при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда было проведено исследование, цель которого заключалась в освещении реального положения женщин в Архангельской области и выработке, на основе собранного материала, предложений по усовершенствованию региональной концепции социальной политики. В анкету были включены вопросы, характеризующие семейные ценности в различных брачно-семейных сферах. В частности, это сферы брачно-семейных ролей, родительства, супружества.

Результаты исследования показали, что семья по-прежнему является наивысшей ценностью для современной женщины, проживающей в Архангельской области, независимо от возрастной группы и места проживания (94 % ответивших). Причем семья как вечная ценность включает такие составляющие, как дом, материнство, супружество. Более того, с возрастом значимость семьи увеличивается. Что касается таких аспектов жизни, как деньги и материальное благополучие (59,6 %), дело и профессия (53,1 %), любовь (48,9 %), здоровье (38,1 %), то они одинаково оцениваются женщинами как наиболее важные независимо от возраста и количества детей в семье.

Как показывают результаты исследования, для современной семьи ценным является традиционный брак. Согласно данным опроса, 61,9 % жителей города и 66,5 % жителей села считают традиционный брак наиболее приемлемой формой брачно-семейных отношений. Вместе с тем для 19,5 % горожан и для 16,8 % сельчан такой формой являются разного рода сожителства, причем этой точки зрения придерживаются преимущественно респонденты в возрасте до 30 лет.

Таким образом, можно предположить, что современная поморская семья в настоящее время представляет собой относительно устойчивый социальный институт. Четко прослеживаются тенденции снижения брачности, увеличения разводов и количества неполных семей, фактических браков. Северная семья продолжает оставаться малодетной, не обеспечивающей простого воспроизводства населения, что во многом объясняется, с одной стороны, реакцией на ухудшение жилищных условий, снижение уровня материального благосостояния, а с другой — изменением системы ценностей современной семьи.

Спустя столетие поморская семья значительно трансформировалась, изменились представления об общности хозяйственных интересов, значимости родства, особой роли отца в семье, семейно-свадебной обрядности, грамотном распределении семейных обязанностей и др. Однако абсолютными ценностями современной поморской семьи остались материнство и родительство, особая роль женщины в семье, традиционная моногамия, уважение и любовь друг к другу. Семья по-прежнему занимает важное место в жизни современного человека.

Т. Л. Козочкина

Семья в изменяющемся обществе: противоречивость тенденций

Изменения, происшедшие с семьей, являются одним из свидетельств модернизации общества. Вместе с тем чтобы определить те процессы, которые происходят в сфере брачно-семейных отношений, недостаточно использовать привычные категории анализа, более того, современные исследования семьи отличает обширная проблематика. В условиях, когда возрастает значимость проблем личностного самоопределения, самореализации, расширяются и области исследовательского интереса. Внимание исследователя сосредоточено не только на рассмотрении тем сексуальности, совместного ведения хозяйства, воспитания детей и т. п., анализ включает и те сферы, которые находятся за рамками семейной жизни, — это политика, экономика, профессиональное и личностное самоопределение.

Современные мужчины и женщины терзаемы противоречиями, порожденными неясностью ролей, которые они призваны выполнять в семье и в обществе. Разрешение этих противоречий возможно лишь при наличии соответствующей культуры взаимодействия полов, базирующейся на признании и уважении прав другого человека. Патриархальная культура предполагает «неравенство полов и подчинение одного пола другому», следовательно, изначально несет в себе противоречие, заключающееся в неравенстве позиций, которое порождает конфликты между полами, и потому семья оказывается лишь полем битвы, где сталкиваются противоположные стороны.

Гендерные представления в определенном смысле конструируют реальность, воссоздавая социально приемлемые образцы поведения мужчин и женщин, оправдывая поведение мужчин и женщин лишь в том случае, если оно соответствует социальным ожиданиям. Для России в целом характерна «гендерная рассогласованность»: мужчины отказываются признавать за женщинами право на участие в политической жизни общества, более того, они стремятся оттеснить женщин с уже занятых ими ранее позиций. Вместе с тем российские мужчины в меньшей мере готовы принять «бремя семейной власти», для женщин характерны в целом более высокие показатели степени влияния в семье [Римашевская и др. 1999].

Экономическая независимость, по мнению большинства исследователей, способствовала изменению положения женщины в семье; мужчина постепенно утрачивает свою лидирующую позицию, в прошлое уходит авторитаризм, при котором мужчина наделен властью, а женщина полностью ему подчиняется. Подобные тенденции ознаменовались не менее важными событиями — развитие индивидуализма, провозглашающего интересы личности, способствовало изменению самой сущности брака: основой заключения брака становится личный выбор, и постепенно появляется модель эгалитарного брака — брака равноправных партнеров. Провозглашаемое равенство полов оборачивается реально существующим неравенством, и женщины по-прежнему далеки от «экономически самостоятельной, профессионально стабильной биографии» [Бек 2000]. Мужчины продолжают доминировать в таких сферах общественной жизни, как политика, экономика, и хотя женщины все активнее «завоевывают пространство», их путь по социальной лестнице крайне сложен.

Традиционно мужчина рассматривался как стратег, завоеватель — сфера его интересов охватывает весь *внешний* по отношению к семье мир. Мир женщины — это дом, дети, семья. Женщина принимает правила игры мужского мира, она становится конкурентоспособной и сильной, уподобляясь мужчине, так формируется образ маскулинной женщины — активной, деятельной, стремящейся занять позицию лидера; ее противоположностью является женщина феминная — женственность для нее выше индивидуальности, круг интересов замыкается на доме и на том, что с ним связано. Нечто среднее между этими двумя типами — женщина андрогинная, успешно сочетающая различные качества — активность и женственность.

Общество требует от женщины быть хорошей хозяйкой, матерью, на нее возлагают большую часть домашних обязанностей, мужчина же — всегда добытчик, основной функцией которого является экономическое обеспечение семьи. Современная женщина оказывается в ситуации неопределенности: с одной стороны, это общественное мнение, осуждающее женщину, делающую карьеру в ущерб семье, с другой — собственное стремление реализоваться как личность.

Гендерные представления в определенном смысле выступают предпосылкой возникновения противоречий между реальным и действительным, порождая конфликты и нетерпимое отношение к другому, отличному от тебя. Напряженность в отношениях между полами может выражаться в форме дискриминации, которая свидетельствует о наличии конфликтов, возникающих как следствие неравенства позиций сторон. Разрешение подобной ситуации возможно лишь при становлении толерантного отношения к другому, которое, в свою очередь, требует достижения личностью определенного уровня развития, так как признание другого требует усилий воли, определенного типа мышления, открытого к новому, неизвестному. Толерантность — активная позиция, позволяющая развиваться и совершенствоваться вместе с другим. Проявление терпения и готовность оказать поддержку человеку иной культуры, религии, пола предполагает воспроизведение равных позиций при взаимодействии, что в условиях российской действительности сопряжено со становлением принципиально иной культуры взаимодействия полов.

Литература

Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М. Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 г. М.: Академия, 1999.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс, 2000.

Раздел 2

Насилие в семье: история и современность

А. В. Меренков

Семья: проблемы педагогического насилия

При изучении семьи традиционно обращается внимание на насилие по отношению к женщине. Когда же говорят о проявлении насилия к детям, то чаще всего отмечают только жесткие методы обращения с ними, когда грубыми физическими наказаниями некоторые родители пытаются выместить на них свое недовольство жизнью. Значительно реже анализируется традиционное семейное воспитание, в котором насилие в грубой ее форме отсутствует. Происходит привычное формирование у детей разного возраста необходимых, на взгляд родителей, навыков, умений, норм, правил поведения путем периодического использования психического, а иногда и физического принуждения.

Может ли процесс семейного воспитания обойтись без некоторого насилия? Например, без воспитательного шлепка, раздраженного крика, ругани, угроз и пусть редкого, но рукоприкладства? Где та грань, которая отделяет такие формы проявления педагогического насилия от тех, при которых нарушаются элементарные права ребенка, создается угроза его здоровью и даже жизни?

Эти вопросы исследуются очень редко. Они не обсуждаются в школе, когда учителя информируют родителей о недисциплинированности детей, указывают на их плохую учебу. Какой педагог задумывается о том, как взрослые в семье после получения соответствующей информации будут решать проблемы формирования заинтересованного отношения ребенка к выполнению домашних

заданий, к правильному поведению на уроках и переменах? Чаше всего учитель не озабочен данным вопросом. Родители сами должны найти какие-то эффективные средства. Правда, о них почти ничего не знает сам педагог, которому в течение длительного времени давали в вузе научные представления о том, как учить и воспитывать детей разного возраста.

Если о методах преподавания отдельных предметов он узнал многое, хотя и не всегда эффективно использует приобретенные знания, то о способах приобщения учащихся к дисциплинированности, организованности, аккуратности, ответственному отношению к учебной деятельности он почти не информирован. В вузе дают лишь общие и весьма абстрактные представления о воспитании. Поэтому педагоги, особенно недавно окончившие специальное учебное заведение, отказываются заниматься воспитательной работой с учащимися. Социологические исследования работы педагогов с разным стажем показывают, что наибольшие проблемы они испытывают в настоящее время именно при решении воспитательных задач. Некоторые до сих пор сожалеют о том, что более века назад в школе отменили физические наказания дурно ведущих себя учащихся. Можно было слегка ударить линейкой мешающего вести урок ученика, к самым злостным нарушителям применить розги и т. д.

Педагогический процесс в семье и школе еще сравнительно недавно включал в качестве обязательного средства физические наказания детей. Речь шла не о жестоком насилии, а о применении силы в случаях, когда вербальное воздействие не давало желаемого результата. Родители исходили из библейских указаний о необходимости держать детей в страхе не только перед Отцом Всевышним, но и настоящим. Страх во все времена был самым действенным средством решения почти всех воспитательных проблем семьи, школы, социума в целом.

В наше время, когда утверждаются ценности гуманистической педагогики, почти ничего не изменилось. Родители очень часто используют весьма сильные угрозы в адрес детей, когда им требуется направить их поведение в положительную сторону. Учителя запугивают нерадивых учащихся двойками в журнале, приглашением в школу родителей, обсуждением на педагогическом совете. Эти достаточно жесткие, хотя и привычные методы применяются каждый раз, как только нарушаются установленные семьей, школой правила учебной деятельности. Сначала ребенку обыч-

но указывают на необходимость их выполнения, а после повторного нарушения применяют традиционное запугивание.

Строгий разговор, периодически переходящий в крик, на первый взгляд, не является насилием над ребенком. Однако удары по нервной системе приносят еще больший вред, чем физические наказания. Известно, что при постоянном нервном перенапряжении даже у человека взрослого, а тем более ребенка, неизбежно появляются соматические болезни, часто переходящие в хронические.

Поэтому, говоря о педагогическом насилии, на наш взгляд, необходимо глубже разобраться в том, почему воспроизводятся вековые традиции педагогического насилия по отношению к детям разного возраста не только со стороны родителей, но и учителей, врачей, представителей правопорядка. Ведь врач, проводя беседу о каких-то болезнях, обязательно запугает негативными последствиями нарушений неких правил их профилактики. Иными способами изменить сознание потенциального больного он не умеет. Милиционер вообще привык заниматься только указанием на те санкции, которые будут применены к нарушителю законов. Он не стремится к формированию у людей установок на сознательное и добровольное выполнение различных правил, требований, а традиционно страшит угрозами наказания.

В наше время очень многие телевизионные передачи для детей пронизаны запугиванием нападением инопланетян, монстров, террористов, бандитов и т. д. Специалисты даже не могут найти критерии отделения разрушающих здоровье передач, в которых показывают сцены насилия, от тех, чьей задачей является формирование чувства ненависти к врагам Отечества, потребности отстаивать честь, достоинство попавшего в беду человека. Поэтому с утра до вечера телевидение, чаще всего неосознанно, осуществляет выработку у детей разного возраста привычки быть равнодушными к проявлению физического, психического насилия. Когда ребенок насмотрится изображений дикого издевательства над человеком, запугивание со стороны родителей, учителей воспринимается им как некая игра.

Пусть взрослые покричат, пошумят, но «закаленная» детективами и криминальными сценами на экране психика уже не будет реагировать на их угрозы. Потому такое привычное для нашего времени педагогическое насилие не приводит к желаемым результатам. Семье остается лишь обратиться за помощью к учителям. Педагоги все чаще отмечают такое явление, как требование к ним

быть более строгими с детьми. Многие родители испытывают большие трудности в воспитании даже детей 7–9 лет. Не справляясь с выработкой навыков элементарного подчинения нормам школьной жизни, они предлагают учителям использовать шлепки, подзатыльники для того, чтобы заставить их детей слушать на уроке педагога, не драться на переменах.

Подобные предложения родители объясняют тем, что иными способами пресечь неорганизованность, непослушание детей они не могут. Взрослые фактически признают свою беспомощность в борьбе за желаемое настоящее и будущее ребенка.

Указанные трудности побуждают искать глубинные факторы сохранения и достаточно частого использования значительной долей родителей психического и физического насилия над детьми дошкольного, раннего школьного и даже подросткового возраста.

Анализ сущности первичной социализации личности с позиций социальной антропологии показывает, что всякое приобщение к культуре представляет собой процесс ломки тех природных программ, которые призваны обеспечить приспособление к жизни на животном, а не на человеческом уровне. В дикой природе выживаемость зависит от агрессивности поведения, демонстрации физической силы, запугивания с целью подчинения слабых. Все природные программы проявляют себя в бессознательной деятельности, не требуя какого-либо специального контроля за их реализацией.

Культура характеризуется тем, что она предполагает создание и осуществление тех программ действий, которые в природе отсутствуют. Она ориентирует человека на конструирование чего-то более совершенного, чем дано в естественном виде. Поэтому человек, осваивая в процессе первичной социализации нормы культуры, вынужден отказываться от заданных ему от рождения бессознательных способов поведения. При этом кто-то имеет более подготовленную к необходимым изменениям индивидуальную природную программу конкретных действий, а кто-то — сильно отличающуюся от требований общественной жизни.

Практически каждая личность противоречиво сочетает эти два вида природной предрасположенности буквально ко всем человеческим по содержанию поступкам. Одному очень легко и быстро удастся освоить правила вежливого, без каких-либо трудностей общения почти с любыми людьми, а другому с большим трудом в течение долгого времени приходится овладевать элементар-

ными навыками общения с незнакомыми. Но у него этот недостаток компенсируется пунктуальностью, ответственным отношением к делу и т. п.

Воспитание представляет собой, с одной стороны, процесс запуска тех природных программ, которые позволяют быстро, без длительных усилий со стороны взрослых освоить какие-то конкретные нормы культуры. С другой — включает борьбу с теми природными предрасположенностями, которые препятствуют овладению нужными обществу нормами и правилами. Первый вид воспитания осуществляется почти незаметно для взрослых и детей. Растущему человеку нужен только соответствующий пример, а также указание на те действия, которые от него требуются. Он их понимает и воспринимает, как говорится, с первого раза. В этом случае отсутствуют предпосылки для какого-либо педагогического насилия.

Оно становится, по мнению многих людей, необходимым, когда ребенок не меняет своего поведения, воспроизводя фактически природную программу действий в конкретной ситуации. Взрослым кажется, что он это делает специально, во вред им, или же его голова не способна воспринять предъявляемые ими требования. Насилие в семейном воспитании возникает прежде всего из-за отсутствия у родителей научных представлений об истинных причинах так называемого «неповиновения» детей. Вместо того чтобы постепенно и по особым правилам преобразовывать в нужном направлении имеющуюся у ребенка конкретную специфическую природную программу поведения, они начинают бороться с ним как личностью. Насилие проявляется в обвинении в некоей изначально данной ограниченности, «тупости», вредности, жестокости, лени и т. п.

На самом деле, особенно в раннем детстве, ребенок неосознанно демонстрирует содержание и формы проявления своей предрасположенности. Но этого взрослые не понимают, они приписывают вредные намерения тем, у кого в данный момент вообще отсутствует сознательная деятельность.

В какой-то мере педагогическое насилие является следствием того, что до сих пор никто ни в школе, ни в вузе не учит будущих родителей пониманию самого процесса воспитания. Оно трактуется так же, как и сто-двести лет назад. Будто бы нужно лишь показать соответствующий пример, что-то объяснить, а если это не помогает, то психически и физически принудить. Разбираться в

индивидуальных особенностях ребенка никто не намерен, к тому же не обучен этому умению.

Следует учитывать и то, что современный стремительный темп жизни заставляет родителей действовать быстро в большинстве жизненных ситуаций. Им надо, чтобы ребенок сразу реагировал должным образом на их требования. Шлепок, повышенный голос, как показывает вековая практика, позволяют разрушить тормозящую переход к желаемому поведению природную программу. Насилие воспроизводится родителями потому, что нередко дает, хотя бы на время, желаемый результат. Страх, боль действительно останавливают те бессознательные действия, которые ребенок совершает в данный момент. Его удастся принудить к нужному поведению. В этом смысл и оправдание так называемого воспитательного шлепка, родительского крика, демонстрации недовольства.

Срабатывает в этом случае другая природная программа. Она заключается в том, что возникает внутренняя потребность избежать страдания, возможного мучения. Поэтому человек начинает чисто механически совершать то, что ему предлагают делать. Он на время уподобляется роботу, у которого отключили прежде действующую программу и включили новую, непривычную. В этом для очень многих людей заключается ценность педагогического насилия. Оно все-таки перестраивает видимое поведение ребенка. Что в это время происходит в его психике, никого не интересует.

Эффект подобной перестройки природной программы, как показывает практика, кратковремен. Как только перестает действовать страх, так сразу включается привычная природная программа. Вновь ребенок не соблюдает конкретные нормы и правила взаимодействия с определенными людьми. Родителям опять приходится возвращаться к насильственным методам воспитания. Такие отношения отличает высокий уровень конфликтности. Взрослые и дети постоянно разрушают психические силы друг друга.

Конечно, причина насилия не только в том, что некоторые природные программы с большим трудом подчиняются перестройке в процессе приобщения ребенка к культуре. Действует эффект запоздалого формирования тех социальных качеств, которые можно и нужно было вырабатывать в раннем детстве. Например, в 9–10 лет впервые начинают приучать ребенка к выполнению домашних обязанностей. Он нередко сопротивляется, так как

уже привык к безделью дома, к тому, что кто-то из взрослых наводит в квартире чистоту, моет посуду, готовит пищу и т. д. Неожиданное для него новое дело вызывает противодействие со стороны тех культурных программ, которые неосознанно вырабатывались родителями в предшествующий период его воспитания. Их разрушение нередко также осуществляется с помощью скандалов, угроз.

Со временем дети привыкают к периодическим всплескам негативных эмоций взрослых и вообще перестают реагировать на их требования и даже наказания. Значительная часть родителей смиряются с бесполезностью своих насильственных действий и позволяют детям воспроизводить тормозящие развитие их культуры поступки. Внешние проявления педагогического насилия в семье существенно сокращаются, но его цель оказывается нереализованной. Уровень культуры детей остается прежним.

Реальное утверждение педагогики без насильственных действий со стороны взрослых требует иной организации воспитания в семье. Прежде всего, следует учиться выделять в процессе развития ребенка те природные особенности, которые позволяют ему сравнительно легко и быстро усваивать определенные по содержанию нормы, правила, и те, которые препятствуют приобщению к важным требованиям культуры. На умелом разрушении последних следует сосредоточить усилия родителей. В возрасте до 3 лет действенными способами решения этой задачи является показ соответствующего примера, совместное с ребенком выполнение трудных именно для него действий. Обязательно уже в этом возрасте следует постоянным напоминанием, объяснением добиваться выполнения посильных обязанностей.

С 3 лет самым эффективным средством профилактики педагогического насилия оказывается развитие чувства гордости за выполнение сложных действий. Ребенка хвалят только за те поступки, которые даются ему с определенными внутренними усилиями. Подчеркивается уже в раннем возрасте значимость воли и терпения в преодолении тех отдельных трудностей, которые возникают из-за индивидуальных природных особенностей. Именно эти качества обеспечивают возможность постепенного изменения имеющихся программ путем собственных самостоятельных усилий.

К сожалению, как показывает практика, часть родителей либо очень редко хвалят детей за их успехи в освоении требований куль-

туры, либо отмечают высокой оценкой то, что дается ребенку легко благодаря конкретной природной предрасположенности. Например, хвалят за быстрое запоминание букв, умение читать в 4–5 лет, хотя больших усилий для этого он не применял. В первом случае утверждается заниженная гордость, а во втором — завышенная. Эти два типа гордости тормозят собственную активность ребенка по преодолению природной ограниченности в каких-то конкретных делах.

Он перестает без внешнего воздействия бороться со своими отдельными недостатками. Создаются обстоятельства, которые вынуждают даже положительно настроенных родителей прибегать к определенному педагогическому насилию для изменения негативного поведения ребенка.

К тому же заниженная или завышенная гордость не позволяют выработать в 4–5 лет чувство стыда за некоторые поступки. Ребенку трудно принять негативную оценку окружающих, если он не чувствует внутренней уверенности в возможности достижения успеха либо привык его получать без каких-либо серьезных усилий. Поэтому формирование нормативного типа гордости является важнейшим условием снижения вероятности применения какого-то насилия со стороны родителей в воспитательных целях.

Возникает качественное отличие педагогического насилия со стороны взрослых от того, что использует сам ребенок, борясь с теми недостатками, которые у него отмечают окружающие. Он сам принуждает себя без стресса, переживания неожиданной боли, обиды на других людей выполнять принимаемые им нормы и правила. Поэтому следует признать, что без определенного насилия изменить привычные способы поведения вообще невозможно. Суть умело организованного педагогического процесса заключается в том, чтобы внешнее принуждение заменить на внутреннее, когда воля и терпение выступают в качестве факторов, заставляющих стать иным человеком.

Волевые и терпеливые люди не требуют внешнего принуждения. Сами эти качества заставляют их искать причины нарушения ими социальных требований. Выбатывается самоконтроль, позволяющий жестко следить за природными побуждениями и тормозить те, которые ведут к конфликтам с другими людьми. Воля, терпение, самоконтроль формируют потребность заранее предвидеть результат действий. Возникает побуждение к планированию поведения на ближайшее и отдаленное будущее. Плани-

рование является еще одним способом перестройки природных программ в соответствии с требованиями культуры.

В итоге возникает целостная система включения сознания в повседневную практику ребенка. Он постоянно думает, когда планирует желаемый результат, выбирает оптимальные варианты его реализации, концентрирует волю и терпение во время практических действий, осуществляет самоконтроль за процессом и результатом. В этом случае фактически исчезают те условия, которые побуждают родителей прибегать к педагогическому насилию.

Подводя итог, необходимо отметить, что насилие в семье ради решения воспитательных задач возникает в значительной степени из-за отсутствия у взрослых четкой и обоснованной системы формирования у ребенка с раннего детства механизмов саморазвития. Гордость, стыд, а позже совесть, чувство долга, ответственности являются элементами основного механизма развития и саморазвития личности с 3 до 12 лет. С их помощью утверждается умение самостоятельно, без внешнего принуждения преодолевать различные виды природной ограниченности. Важно, чтобы с раннего детства воспитывались указанные качества.

Следующим механизмом профилактики семейного педагогического насилия является последовательность формирования организационно-управленческих качеств у каждого ребенка с 3 лет. Этот механизм включает выработку навыков планирования ближайших результатов, выбора способов их достижения, концентрации воли, терпения, ведения постоянного самоконтроля. Тогда умелое управление своим поведением заменяет физическое и психическое насилие извне.

Воспитание указанных качеств требует от родителей и большой воли, терпения. Не все природные программы удастся изменить. В ряде случаев взрослые вынуждены примириться с отдельными недостатками своих детей. Важно, чтобы они не препятствовали соблюдению важнейших моральных и трудовых норм и правил современной общественной жизни.

М. Г. Муравьева
Границы добродетели и порока:
социальная география проституции
в английских городах раннего
Нового времени
(на примере Лондона XVIII века)

Общим местом в работах английских моралистов XVIII–XIX веков стало бичевание пороков городской жизни, среди которых проституция занимала первое место. Складывалось впечатление, что проституция являлась как бы новым лицом города, иногда вульгарно кричащим, чаще элегантно завуалированным, весьма подвижным под карнавальной маской вечного сладострастия. В английских городах география порока приобрела внушительные размеры, более того, она четко отражала социальную структуру общества времен капиталистической урбанизации. Викторианское общество имело тенденцию к преувеличению количества проституток в связи с расширением базы рекрутирования: часто добродетельный наблюдатель из среднего класса считал любую девушку или женщину из рабочей среды если не «падшей» женщиной, то потенциально «недобродетельной». В действительности только очень узкий круг женщин был огражден от подозрений, поэтому деление женского сообщества на «чистых и невинных созданий» и на «падших недобродетельных» женщин проходило вдоль черты нижней границы правящего слоя. Викторианская проституция стала притчей во языцех, символом ханжества и эксплуатации женщин. Однако наше внимание скорее привлекает процесс перехода от «открытой» городской проституции, бытовавшей в предындустриальных английских городах, к «закрытой» урбанистической проституции викторианской Англии, процесс пе-

решения городского пространства, определения границ добродетели и порока, складывания нейтральных и конфликтных зон дискурсивных практик, центральное место в которых занимали проблемы контроля над социальным злом. Интересным является тот факт, что отношение к проституции коренным образом изменилось в 20–30-х годах XIX столетия, параллельно с окончанием промышленной революции и полным изменением функции города в рамках новой экономической системы пространственной организации. География порока очень чутко реагировала на социально-экономическую географию, проституция быстро адаптировалась к переменам. В борьбе между городом и деревней проституция окончательно превратилась в городской феномен, одну из зон постоянного конфликта официального властного дискурса и маргинализованного женского большинства. В нашей статье мы рассмотрим процесс формирования профессиональной проституции в английском городе XVIII века, а также изменение подходов к проституции и рождение системы социального призрака и контроля оной в первой четверти XIX века.

Количественный состав и топография порока

Позор Британской нации заключается в том, что ужасающий грех проституции теперь более распространен у нас, нежели в странах, погрязших в разврате и пороке.

Патрик Колхун (1800)¹

По подсчетам Сондерса Уэлша, члена лондонского городского совета, в 1758 году в Лондоне насчитывалось около 3 тысяч тех «женщин, чье проживание полностью обеспечивалось проституированием». Спустя два года Джонас Ханвей, один из основателей приюта св. Марии Магдалины (см. о нем ниже), также указал, что «в целом считается, что в наших предместьях² около 3000 уличных проституток». Население же Лондона в то время составляло 675 тысяч человек. Оба они, скорее всего, делали свои подсчеты на основании того количества женщин, которых можно было увидеть на улице, дополняя его количеством арестованных за «развратные действия». Мы, к сожалению, не можем перенестись в середину XVIII века и совершить собственные подсчеты уличных проституток, но записи арестов дошли до нас. Между 1690 и 1720 годами арестами проституток занимались так называемые

Общества для исправления нравов (*Societies for the Reformation of Manners*), причем их деятельность не ограничивалась лишь контролем улиц, они совершали систематические рейды и в дома терпимости (по-английски это название звучит как дома непристойности — *bawdy houses*). Хотя представители этих обществ имели тенденцию к преувеличению количества арестованных с целью подчеркнуть свою успешную деятельность, а главное, нужность обществу, тем не менее опубликованные ими списки представляются весьма полезными хотя бы с точки зрения порядка цифр.

До нас дошли около 5 списков за первое десятилетие XVIII века, которые показывают следующее количество арестованных проституток: 1700 год — 791, 1701 год — 820, 1702 год — 805, 1704 год — 890, 1707 год — 651. К сожалению, списки арестованных Обществом от 1709 года не содержат отдельно категории проституток, ибо помещают всех публичных женщин, их клиентов и остальных нарушителей нравственности в одну общую категорию распутных мужчин и женщин³. Рэндольф Трамбах обратился к протоколам судебных заседаний Мидлсекса и Вестминстера за 1720–1721 годы, в которых указано количество проституток, помещенных в исправительные дома; по его подсчетам, 632 женщины, оказавшиеся в исправительных домах, составляют примерно 55 % от всех арестованных. Самым известным исправительным домом считался Бридуэлл, располагавшийся между Флит-стрит и Темзой в старом дворце Генриха VIII, пожалованного Эдуардом VI в 1553 году лондонскому Сити; здесь одно время находилась тюрьма, а затем исправительный дом, уничтоженный в 1863 году. Обычно туда попадало от 55 до 60 % арестованных проституток. Так, в 1730 году лондонским Обществом для исправления нравов были за развратное поведение задержаны 251 чел., в 1720–1724 годах эта цифра превышала в четыре, а то и в восемь раз указанную выше. Таким образом, показатель сократился в среднем до 22 арестов в год в период 1729–1732 годов. По сравнению с началом века это также показывает и упадок деятельности обществ по исправлению нравов. Спустя полвека мы наблюдаем возобновление активной деятельности обществ, так что в период между 1785 и 1790 годами среднее количество арестованных составляло 133 человека, из них от 40 до 45 % проституток отпускалось. Лондонские газеты свидетельствуют о том же: в декабре 1761 года 30 мужчин и женщин было арестовано, но только «пятерых самых распутных поместили в Бридуэлл», в апреле следующего

(1762-го) года были задержаны 20 женщин, из которых «только самые распутные» отправились в Бридуэлл, а остальные «отпущены с обещанием исправиться». Упомянутый нами Сондерс Уэлш следовал данной политике, посылая в исправительный дом только «самых опустившихся и развратных»⁴.

Приведенные выше цифры позволяют нам сделать несколько наблюдений. Во-первых, не более половины арестованных помещались в исправительные дома, во-вторых, некоторые из них являлись постоянными клиентками полицейских участков. Например, в 1720 году исправительные дома в Вестминстере и Мидлсексе зафиксировали 366 поступлений, но приходились они на 320 женщин, т. е. 29 женщин (или 9 %) уже побывали здесь несколько раз. Еще 6 женщин вновь попали сюда в следующем году. Из тех женщин, что оказались в исправительном доме в 1720 году в период между 1720 и 1724 годами, по крайней мере 16 оказывались здесь дважды, 10 — трижды, 5 — четырежды и 4 — шесть раз. Например, Констанция Хилтон в 1720 году арестовывалась по крайней мере пять раз: в феврале, марте, мае, июле и августе; дважды — на улице и трижды — в публичном доме, в одном случае она находилась с мужчиной (т. е. была поймана на месте преступления). В феврале почти неделю она провела в доме терпимости Тотхилл Филдс. В марте ее арестовали вместе с Джейн Хилтон, возможно сестрой. В мае она провела в Бридуэлле две недели, в июле — три дня, в августе — четыре дня. Джейн Хилтон снова попала в Бридуэлл в 1721 году. Констанция больше не появляется в полицейских протоколах после 1720 года, однако в записях 1714 года мы впервые читаем о ее аресте за ночные прогулки и сопротивление констеблю при попытке ареста. Залог за нее внес тогда Патрик Пайет, гренадер конного полка, расквартированного в Вестминстере. Таким образом, мы можем проследить карьеру Хилтон на протяжении семи лет.

В конце века в лондонском Сити наблюдается та же ситуация: между 1784 и 1787 годами осуществлено 385 арестов, 41 фамилия появляется несколько раз, половина из них — два раза, некоторые — от трех до шести раз. Это означает, что было арестовано 309 разных женщин и 41 из них (13 %) арестованы были несколько раз. Например, Мэри Флэннеган задержана в январе 1786 года и помещена в Бридуэлл на целый месяц. В июле ее приговорили к двум неделям исправительного дома за приставание к двум мужчинам и сопротивление при аресте. В августе ее снова арестовы-

вают и помещают в исправительный дом на месяц, в следующем году в октябре и ноябре она дважды была приговорена к двум неделям исправительного дома⁵.

Приведенные данные показывают, что от 10 до 15 % женщин являлись опытными проститутками, чья карьера могла длиться до десяти лет, на протяжении которых они попадали под постоянные аресты и помещались в исправительные дома. Еще 40 % достаточно закоренели для того, чтобы хоть раз быть помещенными в один из исправительных домов. Но оставшихся 40–45 % отпускали с предупреждением, и иногда после данного обещания исправиться они больше не появляются в списках арестованных. В чем же разница между этими «закоренелыми» и «исправляющимися»? В первую очередь обращает на себя внимание разница в возрасте. Обещавшие исправиться чаще всего являются очень молодыми девушками. Хотя возраст проституток обычно не указывается в списках арестованных и помещенных в исправительные дома, но у нас есть два интересных источника, которые помогут нам приблизительно разобраться в этом вопросе.

В 1758 году сэр Джон Филдинг, известный моралист и сторонник исправления нравов, выпустил памфлет с описанием 25 девиц, арестованных 1 мая 1758 года (табл. 1).

Филдинг не сообщает свои критерии отбора сведений, поскольку он намеревался использовать эти данные как аргумент для необходимости обоснования прибежища для брошенных девушек. Один из его критиков, исправившийся повеса, однако, замечает, что Филдинг, скорее всего, сконцентрировал свое внимание на голодных нищенках с Друри-Лейн, Хедж-Лейн и Сент-Джайлз, игнорируя состоятельных женщин из публичных домов на Боу-стрит и Ковент-Гарден⁶. Но из другого источника — «Список дам Ковент-Гардена, составленный Харрисом» (1788), мы также узнаем возраст 41 из перечисленных в нем 92 женщин, который весьма сравним с данными Филдинга (табл. 2).

Принципиальное отличие обоих источников заключается в том, что дамы, обслуживавшие джентльменов, имели больше шансов остаться в бизнесе до наступления 30-летнего возраста, но большинство женщин все же находились в возрасте 18–20 лет: 14 из 25, по данным Филдинга, и 20 из 41, согласно сведениям Харриса. Ни в одном источнике нет девочек до 14 лет, однако в списке Филдинга упоминаются девочки 15 лет с трехлетним стажем: по его данным, по крайней мере 2 девочки начали свою карьеру в 12-

Таблица 1

Сведения о 25 проститутках, арестованных 1 мая 1758 года

Возраст	Период занятия проституцией	Сведения о родителях
15	3 года	Мать умерла, отец — в море
15	2 месяца	Мать — нищенка, отец — в море
15	18 месяцев	Нет
16	4 года	Мать умерла, отец — в море
16	2 года	Нет
16	2 года	Брошена родителями
16	2, 5 года	Оба родителя умерли
17	2 месяца	Нет
18	6 месяцев	Живут в Шотландии
18	3 месяца	Мать умерла, отец — в море
18	2 года	Мать ее бросила, отец умер
18	3 года	Мать умерла, отец — в море
18	3 недели	Мать сбежала, отец умер
19	1 год	Нет
19	2 года	Нет
19	5 лет	Нет
19	5 недель	Нет
19	1 год	Нет
19	1, 5 года	Нет
20	2 года	Нет
20	6 месяцев	Живут в деревне
20	1 год	Брошена родителями
21	6 лет	Нет
21	3 года	Брошена родителями
21	1 год	Нет

Примечание. Источник: *Fielding J. A Plan of the Asylum or House of Refuge for Orphans and Other Deserted Girls of the Poor of the Metropolis. L., 1758. P. 18.*

летнем возрасте. Даже бывалый повеса негодует по этому поводу: «Какая печальная картина предстает перед нами, когда видишь толпу нежных созданий, вповалку друг на друге спящими на улицах даже в самую суровую погоду, ростом своим некоторые из них едва достигают талии взрослого мужчины, в них легко признать детей»⁷. Обычно такие девочки работали группами, их можно было встретить на улице в сопровождении мужчины-телохранителя: как-то на Флит-маркете был арестован солдат с пятью девочками 13–14 лет. Существовали также и публичные дома, спе-

Таблица 2

Возраст проституток
(сравнительный анализ данных из двух источников)

Возраст	Количество, чел.		Возраст	Количество, чел.	
	1758	1788		1758	1788
15	3	1	23	0	1
16	4	4	24	0	1
17	1	4	25	0	3
18	5	6	26	0	2
19	6	6	27	0	0
20	3	8	28	0	2
21	2	1	20	0	2
22	1	0			

Примечание. Источники: *Fielding J. A Plan of the Asylum or House of Refuge for Orphans and Other Deserted Girls of the Poor of the Metropolis. L., 1758. P. 18; Harris's List of Covent Garden Ladies. L., 1788.*

циализировавшиеся на девочках, едва достигших созревания, как, например, бордель Мэри Келли⁸. Именно девушек моложе 18 лет и отпускали, скорее всего, власти при аресте, взяв с них обещание исправиться.

Женщины же 18–21 года, составлявшие большую часть от группы, направлявшейся в исправительные дома, делились на две категории: закоренелые преступницы, постоянно арестовывавшиеся полицией, и остальные. Последняя группа составляла, возможно, около 40 % арестованных, и эту цифру можно интерпретировать по-разному. Некоторые из них являлись, вероятно, новичками, т. е. вышедшими на улицу в первый раз. Например, одна треть молодых женщин, забеременевших вне брака (137 из 373) в Вестминстерском приходе Св. Маргариты между 1712 и 1721 годами, решили поступить либо в публичный дом в своем приходе, либо в один из ковент-гарденских домов только потому, что имели отношения с отцом своего ребенка. Они обычно утверждали, что не вступали в связи с другими мужчинами. Вполне вероятно, что в отличие от остальных двух третей беременных женщин в своем приходе они и не знали отца ребенка до того, как вступить с ним в отношения. Есть и другое объяснение: 40 % женщин, побывавших в исправительных домах только единожды, могли оказаться женщинами, совмещавшими обычную трудовую деятельность и про-

ституцию, т. е. использовавшими проституцию как приработок. В 1697 году Джон Дантон писал, что как-то встретил двух женщин (с целью получить определенные услуги), которые сказали ему: «мы иногда работаем в пивной, подрабатываем швеями, ну и иногда обслуживаем кавалеров»⁹. Лондонская хроника (одна из первых лондонских газет) приводит пример такой служанки — Анны Пуллен (или Роулинсон): она была трудолюбивой служанкой, но когда ее хозяева отправлялись спать, она «наряжалась и выходила на улицу, надев на себя лучшее платье своей госпожи, и находилась там до четырех утра»¹⁰.

В конце XVIII века, когда отношение к проституции стало постепенно меняться и появились первые ростки идеи о том, что проституция есть «социальное зло», Патрик Колхун опубликовал свои подсчеты количества публичных женщин: по его мнению, только в Лондоне проституток насчитывалось 50 тысяч, в социальном отношении распределявшихся следующим образом: 1) из хорошо образованных женщин — 2000; 2) из слоя женщин, находящихся по статусу выше обыкновенной прислуги — 3000; 3) из слоя прислуги или тех, кого соблазнили в раннем возрасте и... кто теперь живет только доходами от проституции — 20 000; 4) из тех представительниц разных слоев общества, кто живет частично на доходы от проституции, включая массы женщин нижнего слоя, совокупляющихся с работниками и иными вне брака... — 25 000¹¹. Совершенно очевидно, что Колхун включил в свои подсчеты женщин, которые даже и представить себе не могли предоставление услуг такого рода за деньги: морализм его трактата уже показывает иное отношение не просто к проституции, но к внебрачному сексу, которое изменилось сразу после принятия более либерального законодательства о разводе. Улицы Лондона и Вестминстера были переполнены нищими обоих полов, в столицу постоянно происходил приток населения из деревни, стремящегося в город в поисках заработка; мужчины и женщины готовы были пойти в услужение за гроши, остальные, особенно женщины, нанимались в лавки или в швейные, особенно шляпные, мастерские, также за гроши. Территория, расположенная к востоку от лондонского Сити, являлась крупнейшим в мире портом, многие проживавшие там женщины имели мужей или сожителей, подолгу находившихся в море (вспомним данные Филдинга, согласно которым отцы многих девушек — моряки). Кроме того, в порт прибывали тысячи мужчин, прежде всего моряков, желавших как можно скорее удовлетворить

свои желания, не разбирая, кто из женщин является проституткой, а кто нет. Любая девушка могла получить соответствующее предложение: любая девушка, дрожащая от холода на грязных портовых улицах, горничная в гостинице или таверне или помощница в ночлежке, девушки-продавщицы из шляпных лавочек, возвращающиеся домой, любая женщина, оказавшаяся там в неподходящее время дня. У них часто не было выбора, ибо альтернатива физического сексуального насилия представлялась достаточным аргументом. К тому же стандартная плата размером в шиллинг могла существенно поправить положение; прибавим к этому вероятность получения большей платы от состоятельного джентльмена (и такое случалось). Мы назовем этот процесс непреднамеренной, или случайной, проституцией, однако в глазах Патрика Колхуна такой вид проституции все же оставался преступлением.

География организованной проституции: лондонские бордели в XVIII веке

Большинство проституток работало на себя лично, но некоторая часть предпочитала группироваться в домах терпимости или публичных домах (домах непристойности, как их называли в XVIII веке). В конце XVII века лондонские бордели в большинстве своем располагались в бедных предместьях, расположенных к северу и западу от городской стены. Это полностью соответствовало пространственной организации города. Но по мере развития Лондона в качестве единой пространственной единицы и роста Вест-Энда география размещения борделей стала меняться, хотя столица оставалась разделенной на три юрисдикции. В самом городе теперь сложилось два центра: на востоке — Сити, а на западе — Вест-Энд. Беднота не поменяла свою дислокацию, все также оставаясь проживать к северу и востоку от городской стены, но теперь ее можно было обнаружить и в закоулках фешенебельного Вест-Энда. Эти центры сообщались между собой основной трассой, пролежавшей от Чипсайда на востоке до Сент-Джеймского парка на западе. Именно эта пограничная линия и являлась местом размещения проституток и притока клиентов.

Ко второй половине XVIII века расположение публичных домов стало соответствовать новой пространственной организации. Практически исчезли публичные дома в районах к северу и западу от городской стены, они переместились в западные районы го-

рода, таким образом пытаюсь полностью размежеваться с уличной проституцией в районе Флит-стрит и Чипсайда. В Западном конце (Вест-Энде) выделилось три района расположения борделей: к 1770-м годам это приход Св. Маргариты, Вестминстер, западная и южная сторона Вестминстерского аббатства; приход Св. Анны в Сохо и северная часть Сент-Джеймского парка; Ковент-Гарден и Стрэнд. В Ист-Энде бордели все еще располагались в Уатчепл и Уоппинге, но представляли собой небольшие островки в море уличной проституции. Эту модель пространственной дислокации нам помогут выявить списки арестов и обвинений по делам о содержании домов терпимости. Как и в случае с данными о количестве проституток, за периоды 1720–1729 и 1770–1779 годов у нас также имеются сведения по арестам за содержание домов терпимости разных видов (обычных или универсальных, гомосексуальных, специализирующихся на различных извращениях) (табл. 3, 4).

Данные обеих таблиц подтверждают редислокацию домов терпимости в Лондоне, отмеченную нами выше. Еще интереснее информация о тех, кто держал такие дома. Первую группу составляли трактирщики, их можно идентифицировать по судебным процессам, когда они вносили залог за арестованных проституток. По данным Трамбаха, их примерно 50 %, причем еще 80 % из них, судя по адресам (при внесении залога необходимо было указывать род занятий и адрес), держали свой бизнес на одной из четырех территорий традиционного распространения проституции: около 30 % относилось к районам, расположенным к северу и западу от городских стен; 28 % — к Флит-стрит и приходам Вест-Энда; 21 % — к беднейшим приходам к востоку от городской стены; 2,5 % — к Саусверку¹². Бизнес Ричарда Хэддока можно считать образцовым: ему принадлежали самые известные в Ковент-Гардене «бани» (т. е. тот вид услуг, который оказывался в банях и купальнях по римскому образцу); он также ставил женщин во главе кофеен, им устроенных, брал с них 2 или 3 гиней в неделю в качестве своей доли, а если они не могли платить, то просто сдавал их властям за содержание борделей под прикрытием кофеен¹³. Другим известным предпринимателем в этой области был М. Гросли, ставший, кстати, консультантом для упоминавшегося нами «Списка дам Ковент-Гардена» в 1771 году. В частности, свой бизнес Гросли описывал следующим образом: «вы найдете все, что вам угодно, в большом магазине, который содержится уважаемым оптовиком, по фиксированным ценам»¹⁴.

Таблица 3

Расположение домов терпимости в 1720–1729 годах

Приход	Количество домов терпимости
<i>Ковент-Гарден</i>	
Сент-Джайлз-ин-де-Филдс (Св. Эгидия на полях)	193
Сент-Мартин-ин-де-Филдс (Св. Мартина на полях)	69
Сент-Клемент Дейнс (Св. Клементы Датского)	16
Вестминстер	11
Сент-Энн Сохо (Св. Анны в Сохо)	1
Всего, абс.	290
%	71,1
<i>Клеркенуэлл и Криплгейт</i>	
Криплгейт	24
Клеркенуэлл	15
Шордич	15
Св. Гроба Господня	6
Всего, абс.	60
%	14,7
<i>Уайтчепл и Уоппинг</i>	
Степни	36
Уайтчепл	10
Уоппинг	6
Олдгейт	5
Шадзуэлл	1
Всего, абс.	58
%	14,2

Примечание. Источник: *Trumbach R. Sex and the Gender Revolution*. Chicago; London, 1998. P. 121.

Таблица 4

Расположение домов терпимости в 1770–1779 годах

Приход	Количество домов терпимости
<i>Ковент-Гарден</i>	
Сент-Мартин-ин-де-Филдс (Св. Мартина на полях)	149
Сент-Пол-Ковент-Гарден (Св. Павла в Ковент Гардене)	51
Сент-Клемент Дейнс (Св. Клемента Датского)	32
Сент-Эндрю-Холборн (Св. Андрея в Холборне)	4
Либерти-оф-де-Ролз	3
Сент-Мэри-ле-Стрэнд (Св. Марии на Стрэнде)	2
Всего, абс.	241
%	71,1
<i>Вестминстер</i>	
Сент-Маргаретс (Св. Маргариты)	18
Сент-Джон (Св. Иоанна)	2
Всего, абс.	20
%	5,9
<i>Сохо, Сент-Джеймс</i>	
Сент-Джеймс (Св. Якова)	23
Сент-Энн Сохо (Св. Анны в Сохо)	21
Сент-Джордж-Ганновер-Сквер (Св. Георга на Ганноверской площади)	4
Мэрилебон (Девы Марии)	2
Сент-Джордж-Блумбсбери (Св. Георга в Блумбсбери)	1
Всего, абс.	51
%	15,0
<i>Уайтчепл</i>	
Уайтчепл	23
Сент-Джордж-Милдсекс (Св. Георга в Милдсексе)	4
Всего, абс.	27
%	8,0

Примечание. Источник: Trumbach R. Sex and the Gender Revolution. P. 122.

Надо отметить, что в начале века мужчины составляли большую часть группы содержателей борделей, вопреки сложившему позднее стереотипу «мамаша» или «мадам», но к 70-м годам XVIII века их доля сократилась до трети от данной группы, на первый план выдвинулись женщины — содержательницы борделей. Причем они ввели систему, своеобразную цепь публичных домов со своей маркой и клеймом. Получалось, что именно владельцы публичных домов соединяли разные территории промысла в Ист-Энде и Эст-Энде. Часто женщина выступала не одна, а вместе с мужем, репрезентируя публичный дом в качестве семейного пансиона (объясняя этим желание внести залог за арестованных девушек). Положение замужней женщины было достаточно выгодным: одинокие женщины не приветствовались даже в этом бизнесе. Считалось, что публичный дом, управляемый супружеской парой, является более респектабельным. Так, Маргарет и Джон Граймс держали бордель в Игл-Корте на Кэтрин-стрит с 1773 по 1778 годы. Энн Дайас и ее муж Уильям владели соседним борделем на Кэтрин-стрит с 1769 по 1772 годы, недалеко от них Маргарет Кессиди с мужем управляли борделем в Камберленд-Корт на Друри-Лейн в 1771–1776 годах¹⁵. Публичные дома располагались группами, так им было проще выжить. Существовала выручка и взаимопомощь. В 1770-х годах в Вест Энде находились несколько «гнезд порока», большинство из них концентрировались в определенных «кортах», т. е. дворах: это Краун-Корт, Нэгс Хед-Корт и Уайт Харт-Ярд; Мэриголд-Корт и Касл-Корт на Стрэнде; Джонсонс-Корт на Чаринг-Кроссе, и аллеях вокруг Ковент-Гардена и Стрэнда: на Феникс, Чимистерс и Джексонс Эллейс. В Сохо такими островками являлись: Уорддор-стрит и Мердс-Корт, а в Сент-Джеймсе Принцесс-стрит, Кинг-стрит и Жермен-стрит. В Вестминстере бордели группировались на Кинг-стрит и в Алмонри (бывшим местом раздачи милостыни, прямо рядом с аббатством). В Ист-Энде мы наблюдаем ту же картину: в Уайт-чепл это Бакл-стрит, Колчестер-стрит, Плау-стрит и Эйлиф-стрит, такой островок улиц, тесно переплетающихся друг с другом. Все они являлись частью так называемого «бордельного нимба» (как ни богохульно это звучит). Термин придуман сэром Джоном Хокинсом, одним из первых биографов Самюэля Джонсона, когда он описывал окрестности театра Гудманс Филд, находившегося в 1787 году прямо на Эйлиф-стрит¹⁶. Франсис Плейс так описывала обстановку в Джонсонс-Корте, где находилось 13 борделей: «все

они сильно обветшали, в каждой комнате каждого дома, за исключением одного, проживало несколько публичных женщин самого жалкого вида»¹⁷.

Бордели часто становились объектами судебных разбирательств, и не только в качестве ответчиков, но и истцов. Это показывает, что хозяева публичных домов считали свой бизнес вполне приемлемым, особенно если он скрывался за вывеской трактира или купальни и если принадлежал супружеской паре. Дело «Холл против Ремнант» от 1753 года является хорошим примером. Джон и Маргарет Холл держали бордель под романтическим названием «Робин Гуд» в Бутчерс Роу (Мясные ряды), рядом с Темпл-Баром (ворота на западной границе лондонского Сити). Бенджамин Ремнант время от времени посещал это место. В один прекрасный день он появился на кухне заведения и стал предъявлять Маргарет Холл претензии, а именно: его друг накануне вечером зашел в ее заведение вместе с «уличной девицей», которая украла у него часы. Он назвал Холл «старой сводней», на что она заявила: «пусть докажет», он же кричал, что Холл является старой шлюхой и что «она разрушила бы невинность любой девушки, которая попалась бы ей в руки». Эта сцена происходила на глазах у толпы народа. Холл, с целью защитить свою репутацию, подала иск о клевете в суд лондонской консистории.

Ремнант попытался дискредитировать основных свидетелей Холл, а ими выступали Мэри Эскью, работавшая барменшей, и Джон Деринг, подмастерье Джона Холла. Когда начались слушания, Эскью только что вышла замуж за Джорджа Эскью (церемония состоялась в часовне Мистера Кита в Мейфэре). Теперь они вместе содержали таверну «Восходящее солнце» на Клэр-маркете. В разрешении на брак, полученном Мэри Эскью, Маргарет Холл была записана матерью Мэри. При этом в процессе слушаний выяснилось, что Мэри была девушкой предприимчивой. Сначала она работала у Холл в качестве горничной, затем получила повышение и стала девушкой за стойкой бара. Одновременно с этим она подала в суд на Джона Харриса за то, что тот не выполнил свое обещание жениться на ней, и получила в конечном итоге 100 гиней морального ущерба плюс компенсацию своих расходов от его доверенного лица. Джон Деринг, второй свидетель, был уличен в краже денег из кассы (по показаниям другого слуги из «Робин Гуда»), два шиллинга были обнаружены в цветочном горшке, он просил у хозяина прощения и был прощен.

Третьего свидетеля Маргарет Холл было не так легко дискредитировать. Марта Томас приходилась Холл племянницей и работала барменшей в «Робин Гуде». Она показала, что заведение обслуживает джентльменов и купцов с приличной репутацией. Она также заявила, что ясно слышала, как ее тетка давала четкое указание своим слугам «не позволять девицам сидеть в компании джентльменов». Но ее слова не особенно сочетались с показаниями Мэри Эскью, главной свидетельницы (к тому же замужней женщины), которая, в частности, сказала, что «она с удовольствием даст мамаше Холл (традиционное название для сводни. — М. М.) понять, что та не является... ее матерью». Суд консистории решил, что факта клеветы не обнаружено, по крайней мере, Холл не смогла доказать обратного. Ее заведение вероятно, если не преднамеренно, использовалось мужчинами для того, чтобы снимать уличных проституток¹⁸.

Сам факт наличия такого дела говорит о достаточно терпимом отношении к проституции, если это был «респектабельный» бизнес. Респектабельность ему придавало наличие организационного прикрытия — т. е. таверны, купальни, бани, доходного дома, модной лавки и супружеской пары в качестве владельцев. Такая форма организации создавала нечто похожее на «домохозяйство», единственное место, где незамужние молодые девушки и женщины могли получить хоть какую-то идентификацию.

Формы борьбы с проституцией:

от идеи промискуитета к «социальному злу»

Несмотря на всю свою терпимость, общественность занимала достаточно амбивалентную позицию по отношению к проституции, жалея совращенных и изнасилованных (об этом говорили меньше) девушек и порицая их же за моральную развращенность и промискуитет. Основная же причина проституции — желание мужчин платить за секс — оставалась в тени. Мужчины, подобно Джеймсу Босуэлу (первом биографу Самюэля Джонсона), довольно легко оправдывались в подобных ситуациях. «Несомненно, — пишет он в своем журнале (дневнике, который он вел в Лондоне в 1762–1763 годах) по случаю встречи со «свежей девчушкой» на Стрэнде, — в подобной ситуации, когда женщина и так пала, грех не настолько велик, хотя в рамках строгой нравственности недозволённая любовь всегда есть преступление»¹⁹. Хотя даже Босуэл

иногда испытывает нечто вроде угрызений совести, когда, отметив короткий десятиминутный секс с «молодой шропширской девчонкой, всего лишь милашкой семнадцати лет по имени Элизабет Паркер», восклицает: «Бедняжка! Ей, должно быть, не сладко!»²⁰

Уильям Додд, мужчина из другого лагеря, капеллан приюта св. Магдалины, специально организованного для спасения проституток, провозгласил: «В настоящем беспорядочном состоянии вещей в этом обществе *Проститутки* и *Бордели* будут всегда, факт неоспоримый, пусть и неприятный. По мнению многих, любая попытка предотвратить это зло будет не столько невозможной, сколько неразумной; что есть само по себе абсурдно и порождает наихудшие последствия»²¹. На первый взгляд Додд готов поддерживать скандальное предложение по учреждению государственных борделей, высказанное Бернардом Мандевилем в «Басне о пчелах» в 1724 году. Мандевиль искренне считал, что для защиты честных добродетельных женщин от сексуального «неистовства» мужчин, чтобы «изнасилование не стало обычным преступлением», проституцию необходимо не просто разрешить, но узаконить, как в Амстердаме²². Однако Сондерс Уэлш был категорически не согласен с Доддом: «Следует обратить особое внимание на то, что мы спешно избавляемся от одного зла, не придумав ничего лучше, как заменить его еще более серьезным грехом... Воображение автора не столько занято реформированием проституции, сколько он считает практичным полное уничтожение оной; но в результате в тех местах, где возможно повлиять на сам процесс, возможно, распространится другой порок, уже и так часто встречающийся, хотя сама мысль об этом заставляет кровь стынуть в жилах»²³. Другими словами, если мы закроем бордели, то парни примутся *друг за друга*. Та же мысль в конце века беспокоила и Уильяма Бьюкена: «В действительности все неуместные ограничения этого совокупления (т. е. совокупления между мужчиной и женщиной. — М. М.) принесут только вред. Они приведут к распространению неестественных преступлений и созданию связей, исключительно вредных для важнейших интересов общества»²⁴.

Озабоченность грехопадением и возможными неприемлемыми для общества «связями» поднимала моралистов на борьбу, заставляя переходить от слов к действиям. Еще в 90-е годы XVII века появляются первые общества по уничтожению домов терпимости (одно из них основано в 1690 году в Бетнал Грин, другое — в 1691 году на Стрэнде). Их деятельность получила широкую ог-

ласку в письме королевы Марии II Стюарт мидлсекским судьям, в коем она умоляла вводить в действие законы против безнравственного поведения, и затем в 1698 году благодаря выпуску королевской прокламации, посвященной этому вопросу, согласно которой по всему Лондону учреждались общества для исправления нравов. Независимые друг от друга в теории, на практике они функционировали в качестве ветвей одной организации, поэтому мало сведений сохранилось о конкретных обществах, но совместно к 1738 году (за 40 лет существования) они добились вынесения около 101 683 обвинений в разного рода преступлениях против нравственности. Их обычными объектами являлись проститутки и пьяницы, но в 1726 году они добились и преследования группы геев, приведшей к повешенью троих из них. Как писал епископ Ричард Смолбрук, «невоздержанная любовь к запрещенным удовольствиям отличает нашу эпоху... агенты же дьявола явно вознамерились разрушить наше общество, так же как похитить души наши, а тела ввергнуть в порок, что есть опыт, пережитый всеми народами во все времена... от чего великие империи закатились, а затем оказались окончательно в руинах из-за роскоши и падения нравов»²⁵. Однако в 1730-х годах сами общества оказались в упадке по причине недостатка массовой поддержки их деятельности: подобная 1726 году кампания, затеянная совместно методистами и диссидентами в 1758 году, оказались не в ладах с законом. Когда же движение вновь возродилось в 1780-х годах под названием «Общества по воззванию к публике» и затем под названием «Общества искоренения порока», то целью его стало не уничтожение проституции, а искоренение развратной литературы²⁶.

Как мы уже видели, общественные деятели пытались прагматически отнестись к делу и найти резоны для искоренения проституции в соответствии со своим просвещенным веком; в конце концов такие причины были найдены: венерические заболевания. Проститутки являлись разносчицами болезни, заражая мужей, а те, в свою очередь, своих жен — добродетельных женщин, часто лишая их способности иметь детей. То есть основное социальное зло было обнаружено. В середине XVIII века были учреждены сразу два заведения для содержания проституток: приют св. Магдалины (1758) и знаменитый *Lock-Hospital* (Закрытый госпиталь; 1746), венерологическая лечебница, название которой стало нарицательным. В 1758 году появился также Приют для женщин-сирот. В 80-е годы наступил настоящий бум учреждения благо-

творительных организаций: Закрытый приют для кающихся женщин-пациенток отделился от *Lock-Hospital* в 1787 году, появилось Убежище для бедняков в 1805 году, Лондонский женский исправительный дом — в 1807 году, Попечительское общество защиты общественных нравов — в 1812 году, Фонд милосердия, или Институт для спасения и устройства на работу нуждающихся и брошенных женщин — в 1813 году. Все вышеперечисленные организации составляют лишь малую толику от той волны благотворительности, которая захлестнула Англию в конце XVIII века. Сам по себе факт организации этих учреждений представляется весьма показательным с точки зрения изменения отношения к женщине: попытка «исправления» или «перевоспитания» падших женщин уже свидетельствовала о перекладывании вины на ее плечи, ведь не создавались же учреждения о перевоспитании клиентов протитутоток!

Деятельность этих учреждений еще не приняла промышленных масштабов середины — второй половины XIX века, но уже претендовала на определенную эффективность. 25 марта 1802 года в *Lock-Hospital* содержалось 79 пациентов, из которых чуть меньше половины составляли женщины (причем некоторые из них являлись женщинами из беднейших слоев, зараженных своими мужьями); в Закрытом приюте для кающихся женщин-пациенток находилось 24 человека. В 1807 году в приюте св. Магдалины содержалось 67 женщин. В 1811 году в Лондонском женском исправительном доме только в Петронвильском отделении насчитывалось 48 женщин, и, по утверждению попечительского совета, всего было подано 523 заявки в начале года, из которых 133 были удовлетворены²⁷. Эффективность работы можно проследить по процессу «выписки» пациентов. Возьмем для примера приют св. Магдалины. Здесь между 1758 и 1784 годами было принято всего 2415 женщин, из них 293 «вели себя буйно в заключении и были освобождены по собственному желанию», 52 — «так и не вернулись из больницы, куда посланы были на лечение», и 333 были освобождены по причине «неправильных проступков и недостойного поведения». Между 1785 и 1802 годами в приюте оказалось 3437 женщин, из них 2230 уже «помирились с друзьями и были устроены в услужение», но 449 «отпущены по собственному желанию», а 476 «отпущены по причине неисправимости»²⁸.

Даже названия учреждений создают безрадостный образ благотворительности подавляющей, репрессивной, тронутой горечью,

нотациями и лицемерием. Но изначально основатели приюта св. Магдалины провозглашали следующее отношение к своим пациенткам: «В труде своем, как и при любых других обстоятельствах, следует соблюдать исключительную заботу и деликатность, человечность и ласку, дабы данное учреждение не рассматривалось как исправительный или работный дом, но являлось безопасным убежищем от их печальных жизненных обстоятельств»²⁹. К 1769 году эту часть уже подвергли изменениям: «В труде своем, как и при любых других обстоятельствах, должно соблюдать исключительную пристойность и человечность; и исправлять развязные и праздные разговоры, распущенность, пренебрежение моральными или религиозными обязанностями». Одновременно девушек предупреждали: «Наш приют покоится на следующем принципе: вздорные, задиристые, ленивые, распущенные, беспечные и вульгарные молодые женщины не достойны пребывать в нем». В то же время девушки не должны были забывать и о благодарности: «Помните, молодые женщины, о том, какую ценность представляет для вас это убежище; только сюда вы можете убежать, только здесь сможете вы обрести настоящее или будущее блаженство. Вы обязаны ценить его выше всякой меры; и чувствовать исключительную благодарность по отношению к нашим достойным управляющим и попечителям. Мы желаем, чтобы вы лелеяли эту благодарность как мотив вашего хорошего поведения»³⁰. Мы прекрасно видим, что если изначально приют был направлен на оказание *помощи* падшим девушкам, то на протяжении всего десяти лет он превратился в тюрьму для *подавления* молодых женщин.

За чьи грехи? Вместо заключения

Лэди Мэри Уортли Монтэгю как-то написала своей подруге: «Обычно куртизанки (*Ladies of Pleasure*, как их ошибочно называют) претерпевают гораздо больше обрядов послушания и смирения, чем любая монахиня самого аскетичного ордена когда-либо могла себе представить»³¹. Миледи, одна из самых просвещенных женщин своей эпохи (30-е годы XVIII века), выражала тем самым общее мнение о том, что проститутки сознательно выбрали праздность, предпочтя ее труду, а вместе с тем и характерную для католиков расточительность в противовес протестантской бережливости. Именно эти ассоциации греха с праздностью и подпитывали деятельность обществ по исправлению нравов в начале

XVIII века. Проститутки рассматривались в качестве агрессоров, преступниц, заслуживающих скорее общественного возмездия, нежели перевоспитания. Они становились преступницами не потому, что занимались недозволенным сексом, но потому, что делали это в связи с недостатком морального достоинства. Общество первой половины XVIII века вынесло проституток на самую орбиту континуума грехов, окружавших большинство людей, но в то же время, хотя они объявлялись преступницами и заслуживали тюремного заключения и физического наказания, они считались нормальными индивидами, такими же, как и остальные члены общины.

Однако к середине XVIII века такие стереотипы начали меняться, и это связано, прежде всего, с возросшим культом «соблазнения». Идея совращения выразила совершенно новое представление о женской и мужской сексуальности. Появившись в городской среде, она способствовала созданию нового образа «падшей» женщины — жертвы подлого аристократа-либертина, для которого честь простой горожанки не являлась преградой на пути к удовлетворению своей низкой страсти. Ричардсон воспел этот культ в «Клариссе». Если в начале XVIII века проституткой двигала похоть, и, как любой избыточный товар, она продавала ее на рынке за деньги, получая прибыль, то к середине века она просто превратилась в случайную жертву мужчины из высшего слоя. С социальной точки зрения изменился взгляд на женскую субъектность и свободу воли: из независимой, пусть похотливой, женщины, самостоятельно виновной в своей трагедии (т. е., как правило, в попадании в тюрьму, а не в занятии проституцией), она превратилась в пассивную игрушку страстей агрессивных мужчин. Изменилась и социальная идентичность самих проституток. В начале XVIII века проститутка обычно представлялась наглой служанкой, юркой девчонкой, бежавшей из деревни от папаши-кузнеца; к середине века эта юркая девчонка, веселая и смешливая, превратилась в дочь почтенного горожанина, невинную жертву мужчины, соблазнившего ее, и мужчины, допустившего эту трагедию, т. е. своего собственного отца. Именно этот образ совращенных дочерей спившихся офицеров или священников превратил проституцию в объект заботы среднего городского класса и одновременно помог агрессивной развратной женщине стать объектом жалости, благотворительности и манипуляции. И хотя действительное положение и социальный состав проституток остались прежни-

ми, но социальный конструкт проститутки, созданный в больном воображении нарождавшейся буржуазии, чувствовавшей себя и так достаточно виктимно по отношению к правящей аристократии, полностью изменил не только отношение к проституции, но и отношение к женщине в целом.

В течение XVIII века произошло переключивание ответственности за проституцию и порок с обоих полов (как мы указывали выше, общества для исправления нравов во время своих рейдов арестовывали всех, кто находился в борделях: и мужчин, и женщин) только на женщин, маргинализируя их таким образом. Этот процесс происходил одновременно с рождением понятий «гражданин» и «гражданское общество». Граждане-мужчины очертили жесткие границы гражданского общества, с которым Просвещение связывало будущее благоденствие, маркировав все остальное, т. е. всех не-граждан, как угрозу для созидания будущего. Проституция оказалась первым видом социального зла, женщина-проститутка была лишена сексуальности и тела, а вместе с ними и активной субъектности. В образе проститутки конца XVIII века соединялись все черты, которые не положено было иметь «добродетельной» женщины: агрессивность, сексуальность, вызывающее поведение, непокорность, неисправимость, иррациональность и т. д. Даже городское пространство оказалось жестко маркированным с точки зрения мест, где было дозволено появляться женщине — только там, где не было проституток. А проститутки были везде: на улицах, в тавернах, парках, затем вокзалах, гостиницах и разного рода ярмарках и других скоплениях народа. Добродетельная женщина вынуждена была оставаться дома, а в город выезжать в закрытой карете, даже открытый экипаж мог стать угрозой. Ну и, конечно же, идея о пасторальной чистоте в противовес городской клоаке еще долго заставляла приличное общество отправляться на лето в «деревню», где угроза оказаться лицом к лицу с «такими» женщинами, казалось, отпадала сама собой. Но теперь подозрение в недобродетельности стало мощным средством контроля женщин в целом.

¹ *Colquhoun P. A Treatise on the Police of the Metropolis: containing a detail of the Various Crimes and Misdemeanours by which Public and Private Property and Security are, at Present, injured and endangered; and suggesting Remedies for their Prevention. L., 1800. P. 340.*

² Лондон в те времена (как и сейчас) был разделен на несколько округов, называвшихся *city*, т. е. на несколько городов, таких, например, как *city of Westminster*, *city of London*. Само английское слово *city*, в отличие от *town* и *borough*, означало пребывание епископа или главный город его епархии. Лондонский Сити являлся центральным городом, расположенным на левом берегу Темзы, он был обнесен городской стеной с воротами (*gates*): Олдгейт, Бишопгейт, Мургейт, Крипплгейт, Олдерсгейт, Ньюгейт, Ладгейт, и вдоль Темзы — Боугейт, Нортгейт, Биллингсгейт. Территории, которые находились вне городских стен, относились либо к другим городам, либо к графству Мидлсекс. Каждый из городов делился на приходы.

³ *Shoemaker R. Reforming the City: The Reformation of Manners Campaign in London, 1690–1738 // Stilling the Grumbling Hive / Eds. by L. Davidson et al. N. Y., 1992. P. 99–120.*

⁴ *London Chronicle. 1761. 8–10 December. P. 554; 1762. 13–15 April. P. 354; 1763. 29–31 March. P. 305.*

⁵ *Trumbach R. Sex and the Gender Revolution. Vol. 1. Heterosexuality and the Third Gender in Enlightenment London. Chicago; London, 1998. P. 114–115.*

⁶ A Congratulatory Epistle from a reformed rake to John F——g Esq. upon the new scheme of reclaiming prostitutes. L., 1758. P. 13–16. Друри-Лейн — улица, на которой находится знаменитый театр, отстроенный Кристофером Реном после пожара 1666 года, тем не менее являющаяся прибежищем нищих и попрошаек, Хедж-Лейн включала тогда в себя несколько улочек, растянувшихся от Пол Мол-стрит до Оксфорд-стрит, Сент-Джайлз — имеется в виду церковь Св. Эгидия на полях (Сент-Джайлз ин-де-Филдс), вокруг которой сложился довольно густонаселенный район бедного лондонского люда. Ковент-Гарден и Боу-стрит — фешенебельные районы тогдашнего Лондона. По сравнению с Друри-Лейн театр Ковент-Гарден принимал публику более высокого ранга, к тому же Друри-Лейн был известен своими уличными проститутками (еще Батлер упоминает это в «Гудибрасе»), тогда как куртизанки предпочитали ловить клиентов в самом театре Ковент-Гарден.

⁷ *Ibid. P. 15.*

⁸ *London Chronicle. 1759. 4–6 January. P. 17; Satan's Harvest Home. L., 1749. P. 2.*

⁹ *Dunton J. The Night-Walker; or Evening Rambles in Search of Lewd Women. L., 1696–1697. Vol. 2. P. 3 (January 1697).*

¹⁰ *London Chronicle. 1763. 4–6 January. P. 23.*

¹¹ *Colquhoun P. A Treatise on the Police of the Metropolis. P. 340.*

¹² *Trumbach R. Sex and the Gender Revolution. P. 124.*

¹³ *Burford E. J. Wits, Wenchers, and Wantons. L., 1986. P. 72–75. См. также и другие его работы о публичных домах: Burford E. J. Bawds and Lodgings: a History of the London Bankside Brothels. P. 100–1675. L., 1976; Idem. Queen of the Bawds; or, the True Story of Madame Britannica Hollandia and Her House of Obsenitie, Hollands Leaguer. L., 1973; Idem. Private Vices — Public Virtues: Bawdry in London from Elizabethan Times to the Regency. L., 1995.*

¹⁴ *Public Advertiser. 1771. 14 January.*

¹⁵ *Wheatley H. B., Cunningham P. London Past and Present. L., 1891. Vol. 2. P. 126–129.*

¹⁶ *Hawkins J., Sir. The Life of Dr. Johnson. L., 1787. P. 75–76.*

¹⁷ *The Autobiography of Francis Place / Ed. by Mary Thale. Cambridge, 1972. P. 227–228.*

¹⁸ *Trumbach R. Sex and the Gender Revolution. P. 131.*

- ¹⁹ Boswell's London Journal. 1762–1763. New York; London; Toronto, 1950. P. 333 (1763. Aug. 3).
- ²⁰ Ibid. P. 227 (1763. March 25).
- ²¹ *Dodd W.* An Account of the Rise, Progress, and Present State of the Magdalen Hospital, for the Reception of Penitent Prostitutes. L., 1761. P. 1.
- ²² *Мандевиль Б.* Басня о пчелах. М., 2000. С. 56–57.
- ²³ *Welch S.* Op. cit. P. 19.
- ²⁴ *Buchan W.* Observations concerning the Prevention and Cure of the Venereal Disease. L., 1796. P. 29.
- ²⁵ Reformation necessary to prevent Our Ruine: A Sermon Preached to the Societies for Reformation of Manners, at St. Mary-le-Bow, on Wednesday, January 10th, 1727. L., 1728. P. 18–19.
- ²⁶ *Bristow E. J.* Vice and Vigilance: Purity Movements in Britain since 1700. Dublin, 1977. P. 31, 55.
- ²⁷ An Account of the Nature and Intention of the Lock-Hospital, near Hyde Park Corner. L., [1802]. P. 16, cf. p. 10; An Address to the Benevolent Public on Behalf of the London Female Penitentiary. L., 1807. P. 11.
- ²⁸ General State of the Magdalene-Hospital, for the Reception of Penitent Prostitutes. L., 1786. P. 4; An Address to the Benevolent Public on Behalf of the London Female Penitentiary. P. 11.
- ²⁹ The plan of Magdalen House for the Reception of Penitent Prostitutes. L., 1758. P. 18.
- ³⁰ The Rules and Regulations of the Magdalen Charity. L., 1769. P. 31; *Dodd W.* Advice to the Magdalens. L., 1760. P. 2.
- ³¹ The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu / Ed. by R. Halsband. Oxford, 1966. Vpl. II. P. 488.

С. Л. Кропотов, Н. А. Черняева
К истории осмысления насилия против
женщин в законодательстве США,
или Политизация частного

В 1994 году во время слушаний в Комитете по законодательству Конгресса США, посвященных принятию федерального Акта о насилии против женщин (Violence Against Women Act, далее — VAWA) один из конгрессменов привел ошеломляющие статистические данные: количество женщин в стране, убитых партнерами-мужчинами в период с 1959 по 1975 год, почти равно количеству американских солдат, погибших во время Вьетнамской войны (51 тысяча и 58 тысяч соответственно). Представленный впервые в Сенате в 1990 году, но не получивший тогда большинства голосов, VAWA был принят четыре года спустя Конгрессом США. Появление этого закона было во многом результатом мощной поддержки общественных, в частности женских, организаций, а также активной кампании в средствах массовой информации в начале 1990-х, привлечшей внимание к факту того, что насилие против женщин, в том числе бытовое, принимало, по словам экспертов, эпидемический характер. Согласно данным ФБР, ежегодно более 2,5 миллионов женщин оказывались жертвами насилия в той или иной форме; около 4 тысяч женщин погибали (чаще всего — от рук своих мужей или партнеров); более 1,5 миллионов обращались за медицинской помощью по поводу травм, вызванных избиением. Хотя статистика ФБР и полицейских управлений показывала, что мужчины тоже становились жертвами бытового насилия, их доля среди общего числа жертв была несоизмеримо меньшей: всего 5 %¹.

© С. Л. Кропотов, Н. А. Черняева, 2005

Ключевой аспект VAWA состоял в том, что язык закона перестал быть гендерно-нейтральным. В отличие от уголовного законодательства, которое призвано было защищать любого человека — женщину, мужчину или ребенка — от проявлений насилия, Акт 1994 года выделял насилие против женщин в особую категорию. И особенно важно, что VAWA характеризовал все проявления насилия (изнасилование, сексуальное оскорбление, уличное хулиганство, насилие в семье) как тип преступлений, которые стоят в одном ряду с преступлениями на почве расовой и религиозной ненависти. Иными словами, VAWA определял насилие над женщиной как дискриминацию, нарушение гражданских прав и прав человека, подобно тому как начиная с 1954 года в стране квалифицировались преступления на расовой почве². Отныне все формы насилия, даже относительно «невинные» (приставание, преследование, домогательство), могли быть признаны нарушением Конституции США, точнее 14-й поправки, запрещающей любые формы дискриминации. Женщины, жертвы насилия, получили возможность вынести дело на слушание в Верховном суде, где из «обычного» уголовного оно автоматически превращалось в политическое. По словам автора закона сенатора Бидена, VAWA позволил жертвам «насилия на почве гендера» действовать самостоятельно, т. е. «добиваться судебного разбирательства независимо от прокуратуры штата»³.

Возможность такого подхода была продиктована сдвигами в восприятии феноменов дискриминации и насилия в американском обществе, происшедшими в XX столетии. История VAWA — это история последовательной смены культурных и законодательных концептуальных рамок, в которых осмыслялось насилие по отношению к женщине и каждая из которых отражала динамику гендерных и социальных иерархий в обществе. С середины XIX по конец XX века американское общество прошло как минимум три стадии в осмыслении феномена насилия, обозначая его соответственно как «частное, семейное» дело, уголовное преступление и политическое, анти-конституционное нарушение.

Рассмотрим кратко каждый из трех дискурсов. Вплоть до середины XIX века общее право Великобритании и США признавало законность применения мужем телесных наказаний в отношении жены и детей, полагая, что «мужчина, которому женщина отдала свою руку, имеет право опустить свой кулак на нее». Кодекс поведения, принятый в ранних протестантских колониях в

Массачусетсе в XVIII веке, вовсе не приветствовал «обучение» жен кулаком, но и не препятствовал ему. С середины XIX века во многих штатах была распространены законы, которые разрешали «умеренное» телесное наказание жен, т. е. такое, которое не вело к необратимым для жизни и здоровья последствиям. Синяки, ушибы, порезы считались допустимыми, если они не вели к серьезным неизлечимым травмам.

В 1870-х годах штаты один за другим принимают законы, объявляющие избиение жен уголовным преступлением⁴. Однако применение нового законодательства на практике шло с трудом как по причине глубоко укоренившихся предубеждений, так и в результате изменений в институции семьи и брака, происходивших в середине XIX века. Характерное для XVIII столетия представление о семье как о «производственной единице» изменяется по мере развития капитализма: в XIX веке американская семья — это мир, который по определению противостоит «грязному» миру бизнеса и политики как священное, непроницаемое для публичного взгляда пространство. В викторианской культуре царит понятие *marital privacy* — частной, закрытой семейной жизни, в которую нет доступа извне. Дискурс приватности сводил на нет попытки законодательства противостоять семейному насилию.

Судебная практика конца XIX века отражает противоборство сосуществующих дискурсивных конструктов: случаи семейного насилия прочитываются попеременно то в терминах «частного дела семьи», то — «уголовного преступления». Так, суд в Северной Каролине, рассматривая в 1868 году иск жены, обвинявшей мужа в том, что тот бил ее по лицу, оправдал ответчика на том основании, что обвинительный приговор принесет с собой «зло публичности» и тем самым нанесет более значительный ущерб, чем зло от давшего повод для жалобы насилия⁵. В то же время нередко государство выступало истцом против мужа, нанесшего телесные повреждения жене, и в этих случаях насилие считалось уголовным, а не гражданским преступлением.

Противоборство и одновременное существование этих двух дискурсов («частного дела семьи» и «уголовного преступления») легко проследить в практиках Общества по предотвращению насилия над детьми, одной из первых в Америке по-настоящему массовых общественных организаций, которая занималась вопросами насилия в семье. Созданное в 1870 году и имевшее к концу XIX века представительство во всех более или менее крупных го-

родах Америки, Общество прославилось своим абсолютно неприемлемым отношением к родителям, допускающим жестокость в адрес ребенка. Любая информация о случаях жестокости или просто небрежения родительскими обязанностями, которая становилась известной Обществу, приводила обычно к тому, что ребенок «изымался» из рук «дурных» родителей и передавался (временно, до исправления ситуации) в приемную семью или воспитательное учреждение. Совершенно очевидно, что те же самые социальные работники, которые стремились предотвращать жестокость по отношению к детям, сталкивались и со случаями насилия в отношении жен и матерей со стороны пьющих, безответственных, страдающих психологическими отклонениями отцов. Однако действия агентов Общества в этих случаях регулировались совершенно иным стандартом: в большинстве ситуаций жена сама считалась виновной в «семейном конфликте», так как не умела создать «атмосферу гармонии» в семье⁶. Политика Общества по предотвращению жестокости, в сущности, воспроизводила как существующие гендерные иерархии, так и доминирующую идеологию материнства. Согласно историку Гордон, в ситуациях, когда «женщины, будучи экономически бесправны в браке, могли надеяться только на благорасположение мужчины, они протестовали против жестокого обращения не как индивиды, чьи человеческие права были нарушены, а как матери»⁷. Существующая идеология материнства в какой-то мере предохраняла женщин от мужского произвола, так как жестокость по отношению к женщине-матери выглядела в глазах общества гораздо более предосудительной, чем по отношению к бездетной женщине.

Дискурс *privacy* просуществовал в американском обществе практически до середины XX столетия, несмотря на факторы, размывающие целостность и неприкосновенность семейного очага (рост женщин, занятых в производстве; урбанизация; идеология женской эмансипации). Чтобы как-то примирить рост семейного насилия и идеологию *marital privacy*, в 1920-е годы в стране были созданы специальные суды, рассматривающие семейные конфликты. Обращение женщины в такой суд выглядело в глазах общества более достойным, чем слушание в обычном суде, так как «семейные суды» не придерживались традиционной системы сбора показаний. Роль семейных судов виделась скорее в примирении конфликтующих сторон, даже в какой-то степени в семейной психотерапии, нежели в наказании того из партнеров, который при-

бегают к насилию⁸. В целом в XX веке наблюдается стремление канализировать противодействие насилию в русло социальной работы, психотерапии и подобных мер, которые сохраняли бы «неформальный иммунитет» семьи.

Довольно резкий перелом в отношении общества к насилию против женщин, включая насилие в семье, произошел в 60-е годы XX века, и этому в немалой степени способствовало феминистское движение. Чрезвычайно популярные в 1960-е и 1970-е годы феминистские дискуссионные группы (*consciousness-raising groups*) включали в свои повестки дня проблему насилия против женщин как одну из самых «больных» тем, требующих немедленного вмешательства. Из одной такой группы вырос первый в стране приют для женщин, переживших насилие со стороны мужей. В 1970-е годы в стране возникло общественное Движение жен, подвергшихся избиению (*Battered Wife's Movement*), которое начало активно создавать приюты для женщин, систему психологической поддержки, «горячих» телефонных линий и т. п.⁹ К этому времени государственные структуры и правительство США, осознавая остроту проблемы, стали поддерживать движение снизу. В 1970-е и 1980-е годы в стране сложилась своего рода «система реагирования» на случаи семейного и домашнего насилия: разрабатывались государственные программы, включавшие финансирование приютов и кризисных центров; осуществлялась подготовка социальных работников и психологов для работы с жертвами насилия, создавались инструкции для полицейских и медицинских работников. В 1979 году президентский указ Джимми Картера учредил Отдел по борьбе с бытовым насилием (*Office of Domestic Violence*) при правительстве США, организацию с бюджетом в 900 тысяч долларов для координации работы всех структур, стремившихся предотвратить насилие. Однако уже в 1981 году с приходом к власти республиканского президента Рональда Рейгана Отдел был закрыт, и хотя некоторое финансирование федерального правительства сохранилось, но только в виде грантов¹⁰.

Короткий эпизод с Отделом по борьбе с бытовым насилием демонстрирует, что к 1980-м годам проблема приобрела политическое звучание. Активисты феминистского движения, которое к тому времени владело настроениями значительной части американского женского населения, сумели обнажить глубинные социальные корни проблемы насилия. По их мнению, физическое насилие, направленное против женщины, «встроено» в существую-

щие структуры семьи, гендерного и символического порядка западного общества. Каждый отдельный эпизод насилия, будь то изнасилования во время свидания (*date rape*) или избиение мужем жены, есть лишь частный пример социальной маргинализации женщины в западном обществе и откровенного дисбаланса власти между гендерами. Как следствие, борьба с насилием и жестоким обращением с женщинами, по мнению феминистских лидеров, должна была использовать анализ политических и экономических структур, ответственных за маргинализацию женщины в обществе. Представление о насилии как результате конфликта между отдельными людьми искажает суть проблемы, представляя ее как сугубо «личную», в то время как «личное» есть лишь другой способ бытования «политического». *Personal is political*.

Большую роль в политизации феномена жестокого обращения с женщинами сыграли публичные выступления юристов феминистского толка, разоблачавшие «двойные стандарты» в работе судов: приговоры в делах о семейных конфликтах и случаях насилия зависели от того, кто предстал перед судом — женщина или мужчина. Так, в октябре 1994 года суд штата Мэриленд приговорил Кеннета Пиккока, обвинявшегося в убийстве жены, к 18 месяцам тюремного заключения и 50 часам исправительных работ на основании того обстоятельства, что за час до убийства Пикок застал жену в постели с другим мужчиной. «Я серьезно сомневаюсь, что много найдется мужчин, которые смогли бы просто спокойно уйти в такой ситуации, не прибегая к телесному наказанию в той или иной форме», — заявил судья¹¹. В том же самом году суд другого штата приговорил к 30 годам тюремного заключения Патрисию Вашингтон за убийство мужа, которое произошло после того, как муж несколько раз избил ее, беременную, что привело в конечном счете к выкидышу¹². Анализ этих двух дел в либеральной прессе показал, что тенденциозность и предвзятость судей не была следствием их личных предпочтений или пристрастий. Скорее, гендерная асимметрия в решении судов отражала асимметрию, сложившуюся в обществе, которое воспринимало насилие по отношению к женщине как более оправданное и с моральной, и с юридической точек зрения. Патриархальное мышление воспринимало женский адюльтер и мужское убийство как, в сущности, сопоставимые проступки, заслуживающие одинакового наказания.

Понимание того, что насилие в отношении женщин является не частной и даже не сугубо уголовной проблемой, а проблемой, име-

ющей конституционное значение, привело к изменению в стратегиях либерального движения за прекращение насилия. Уже с конца 1970-х массовые неправительственные организации типа «Граждане против физического и сексуального насилия», Американская медицинская ассоциация, а также Национальная организация женщин пытаются переформулировать проблему насилия в терминах нарушения гражданских прав женщины. Женщины, подвергающиеся насилию, заявляли активисты движения, лишаются базового права — на телесную и физическую неприкосновенность, которое в избытке гарантируется мужчине. А поскольку женщины оказываются жертвами насилия в подавляющем большинстве случаев, то следует говорить о нарушении гражданских прав женщин как социальной категории, или о дискриминации.

Уже в 1977 году Национальная конференция женщин призвала Конгресс США считать искоренение насилия в семье национальной задачей и потребовала, чтобы женщины могли судить своего обидчика за нарушение гражданских и человеческих прав. Однако окончательное решение было достигнуто только в 1994 году, с принятием VAWA, который стал результатом долгой политической борьбы в прессе, в СМИ, в Комитетах по законодательству Конгресса и сената. В своей окончательной версии VAWA был принят с бюджетом в 1,620 миллионов долларов, который предусматривал создание федеральных кризисных центров, специальных программ обучения сотрудников полиции, программ по переподготовке судей в штатах, улучшение содержания общественного транспорта, парков и публичных парковок (как мест, где женщины чаще всего подвергаются насилию со стороны незнакомцев), финансирование приютов для женщин, покидающих дом по причине насилия, обеспечение работы горячих телефонных линий, и многое другое.

Изменениям в законодательстве соответствовали и изменения в практиках органов исполнительной власти, прежде всего полиции. Так, еще в 1960-е годы инструкции для сотрудников полиции гласили, что в случае семейных конфликтов вмешательство полиции нежелательно, но если уж полицейский оказался внутри дома, то его задача — успокоить конфликтующих и предложить супругам решить проблемы с помощью церковной общины. Арест характеризовался как самая крайняя мера. Подобная установка сохранялась и в 1970-е годы: роль полицейского сводилась прежде всего к роли миротворца, так как считалось, что арест только ухуд-

шает ситуацию. Если кто-либо из супругов требовал ареста, то в обязанность полиции входило объяснить все последствия данного шага. Однако после нескольких громких скандалов в начале 1980-х (например, в штате Коннектикут полиция отказалась приехать на зов женщины о помощи на том основании, что разбор «семейных ссор» не входил в обязанности полицейских органов; женщина же получила от мужа травмы, вызвавшие паралич ног) отношение к невмешательству полицейских стало меняться. В 1980 году сенат штата Орегон принял закон, согласно которому полицейские, явившиеся по вызову в дом, были обязаны произвести арест того из супругов, который давал основания заподозрить в инициировании конфликта и осуществлении насилия по отношению к своему партнеру. Данная практика, получившая название «обязательного ареста» (*mandatory arrest*), была принята и во всех других штатах. Нет нужды говорить, что в подавляющем большинстве случаев звонки в полицию поступали от женщин, которые пытались таким образом защитить себя от распоясавшихся мужей или партнеров.

Язык гражданских прав и прав человека в отношении насилия против женщин, получивший законодательное подтверждение через VAWA был оспорен шестью годами позже, когда в 2000 году Верховный суд США признал этот акт неконституционным. По мнению суда, акт выходил за пределы компетенции федерального законодательства, и, кроме того, насилие «на почве гендера» в достаточной степени покрывалось уголовным законодательством штатов. Этому решению непосредственно предшествовало судебное слушание в Верховном суде дела Соединенные Штаты против Моррисона (*U. S. v. Morrison*), которое поставило точку в громком и скандальном процессе об изнасиловании: студентка Вирджинского технологического университета Кристина Бронзкала обвиняла двух молодых людей, участников университетской футбольной команды, в изнасиловании. Сложность ситуации состояла в том, что девушка заявила о происшествии полгода спустя после самого события, когда время для должного полицейского расследования было упущено. Ее жалоба в соответствующие университетские структуры не была в полной мере удовлетворена: университетская администрация нашла студентов виновными в «неправильном поведении», а не в изнасиловании. Тогда Бронзкала приняла решение судиться с обидчиками на основании VAWA, в обход прокуратуры и уголовного суда штата.

Дело об изнасиловании в Вирджинском технологическом под-
волило противникам VAWA подвергнуть закон публичному кри-
тическому анализу. Насколько справедливым, спрашивали оппо-
ненты VAWA, является практика, когда суд вынужден принимать
решение не на основании нормального уголовного расследования,
включающего сбор улик и доказательств, а на основании «поли-
тической остроты» проблемы? Для афро-американского населе-
ния США (оба обвиняемых студента были афро-американцами,
сама же женщина — белой) обвинение Бронзкалы слишком яв-
ственно напоминало обвинения эпохи сегрегации и Ку-Клукс-Кла-
на, когда одного заявления белой женщины об изнасиловании
черным мужчиной было достаточно для того, чтобы признать
последнего виновным и приговорить к серьезному наказанию, ча-
сто смертной казни. Критики VAWA вспоминали знаменитый
фильм 1960-х годов «Убить пересмешника», в котором черного
молодого человека несправедливо обвиняют в изнасиловании бе-
лой женщины, и риторически призывали «современного Грегори
Пека» (актера, игравшего роль главного героя, «честного» адво-
ката) вступить за права несправедливо обвиненных черных пар-
ней. По мнению журналистов, команда юристов, нанятых Бронз-
калой, манипулировала расхожими стереотипами о том, что муж-
чины-атлеты склонны к сексуальной агрессии.

После нескольких раундов слушаний Верховный суд оправдал
ответчиков и признал Акт о насилии против женщин неконститу-
ционным. Однако возвращение к рассмотрению насилия в терми-
нах теперь уже уголовного права не означало деполитизации воп-
роса. Напротив, слушания в Верховном суде обнажили полити-
ческие аффилиации противоборствующих сторон. Против VAWA
по большей части выступали представители право-консерватив-
ных сил в политике США, проповедующие ценности крепкой па-
триархальной семьи, материнства и традиционного разделения
ролей между полами. Как показали президентские выборы
2004 года, политический фундаментализм неотделим от мораль-
ного и религиозного фундаментализма, образуя довольно устой-
чивый конгломерат идей о «семье, частной собственности и госу-
дарстве». В отличие от предшествующих эпох американской ис-
тории, когда политические позиции определялись взглядами на
экономику и политику, в последнее десятилетие наиболее острые
политические дебаты касались вопросов частной жизни людей,
таких, например, как право женщин на аборт, брак между пред-

ставителями одного пола, использование ряда технологий в медицине и т. п.

Насилие по отношению к женщине и семейное насилие безусловно принадлежат к той категории вопросов, ответ на которые поляризует американское общество. Является ли жестокость по отношению к женщине формой дискриминации по гендерному признаку или лишь частным проявлением «жестокости вообще»? Должно ли законодательство, разбирая случаи насилия по отношению к женщине, быть «гендерно чувствительным» или «гендерно нейтральным»? Эти и подобные вопросы остаются в эпицентре культурных и идеологических войн в современных США. Выведенные из рамок «частного, семейного дела» и «уголовного преступления» активистами феминистского и, шире, либерального движения 1960–1970-х, проблемы насилия против женщин приобрели в современной Америке политическое звучание.

¹ Данные приводятся по следующему изданию: *Feminists Negotiate the State: The Politics of Domestic Violence* / Ed. by Cynthia R. Daniels. New York, Oxford, 1994.

² Дискриминация на расовой почве была запрещена 14-й поправкой к Конституции, принятой в 1868 году. Однако использование данной поправки в рассмотрении конкретных дел началось только с 1954 года, после решения Верховного суда США в деле Браун против Отдела образования, которое запретило сегрегацию в общественных учреждениях, в том числе в средних школах. Все последующие судебные разбирательства по обвинению в расовой дискриминации основывались на решении 1954 года как на прецеденте.

³ Supreme Court Rules On Violence Against Women Act [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.senate.gov/~biden/issues/vawa.htm>

⁴ См.: *Pleck E. Domestic tyranny: the making of social policy against family violence from colonial times to the present*. N. Y., 1987.

⁵ Там же. С. 79.

⁶ Практики и социальная политика Общества блестяще описываются Линдой Гордон. См.: *Gordon L. Heroes of Their Own Lives: The Politics and History of Family Violence*. Boston, 1880–1960; New York, 1989.

⁷ Ibid. P. 258–259.

⁸ См. *Pleck E. Domestic tyranny...* P. 137.

⁹ *Schechter S. Women and male violence: the visions and struggles of the battered women's movement*. Boston, 1982.

¹⁰ См.: *Brooks R. Feminists Negotiate the Legislative Branch: The Violence Against Women Act* // *Feminists Negotiate the State*. P. 68.

¹¹ См.: *Naranch L. Naming and Framing the Issues: Demanding Full Citizenship for Women* // Ibid. P. 22.

¹² Ibid.

Е. Г. Трубина

Семья по Гегелю:

диалектика «человеческого случайного
насилия» и терпимости сестринства

Многим, наверное, памятно одно из хлестких советских клише: «Семья — ячейка общества». В этом клише, с одной стороны, ощутим явный отказ приватному пространству в самоценности, а с другой стороны, зафиксировано существо процесса социализации. Когда в русском переводе авторитетной «Социологии» Э. Гидденса мы читаем: «Большинство британских детей провело свое детство в домашней ячейке, включающей мать, отца и, возможно, еще одного или двух детей»¹, то трудно сказать, воспроизвел ли бессознательно переводчик упомянутое клише или просто сложно отыскать столь же емкую метафору того специфического пространства, в пределах которого небольшой коллектив родственников, объединенных особой социальной связью (привязанностью и любовью) осуществляет функции питания и воспитания. В Британии или в России, сегодня, как и десятки лет назад, в отдельные ячейки многоэтажных ульев спальных районов слетаются по вечерам добытчики и добытчицы, объединенные общей целью — вырастить выносливую трудовую смену и добропорядочных граждан. По словам одного философа, семейное «воспитание» подрастающего поколения должно состоять в том, чтобы помочь каждому подняться до того уровня — нравственного, образовательного, гражданского, на котором макрозадачи общества как целого, задачи культурно-исторические предстают уже не как нечто над людьми возвышающееся, а как прямое и сугубо личное

дело человека, дело и его собственного ума и совести. Мы растим и должны растить тех, кто умеет принимать общественные задачи за свои собственные, быть ответственными за их постановку и решение»². Отраженная здесь специфическая версия личностной автономии (личность понимается как зрелая, если в горизонте ее жизни общественные задачи совмещаются с ее собственными) связана с представлением о процессе воспитания как движении личности с одного уровня на более высокий.

В последние тридцать лет в нарисованную выше картину было внесено важное уточнение. В ходе проблематизации феминистами разделения труда между полами было подчеркнуто, что традиционно семья отождествляется с той ситуацией, когда добытчик-мужчина, освобожденный от домашних обязанностей для активности во внешней, по преимуществу экономической, сфере и с нею же себя идентифицирующий, находил надежный тыл в лице супруги, чье бытие часто отождествлялось с семьей как таковой. В этой статье я кратко покажу, что осмысление семьи, во-первых, в терминах долженствования, во-вторых, с учетом разделения труда между полами, берущее свое начало в политической и социальной философии Г. В. Ф. Гегеля, при всем его консерватизме и логоцентризме открывает интересные возможности для анализа семейной идентичности индивида. Упомянутый консерватизм Гегеля в рассуждениях о семье доходит до прямых рекомендаций вроде такой: «Близость, знакомство, привычка к совместной деятельности не должны существовать до брака; они должны быть обретены только в браке»³. Логоцентризм классика сопряжен в его штудиях семьи с патриархальными оценками возможностей и предназначения женщин, что давно уже сделало работы Гегеля предметом устойчивого критического интереса со стороны феминистских авторов. Однако гегелевская концепция семьи как *нравственного* единства, доведенная до своего предела в ходе обращения мыслителя к фигуре Антигоны, знаменательна тем, что в ней содержатся выходы из круга спекулятивной диалектики, открывающие возможности иной, не основанной на бюргерской добропорядочности, этики.

Семья как нравственное пространство субъекта

Новое время представило социальный мир, во-первых, как мир институтов, во-вторых, как изменяющийся мир. Те изменения,

которые претерпевают институты, непосредственно влияют на индивидуальную жизнь, на Я. Внутренний образ личности возникает и формируется через значения, которые человек извлекает из взаимодействий. Характерная черта модерности состоит в том, что Я-концепция личности как действующего существа оказывается связанной с социальными представлениями об институтах, создаваемых на основе гражданского сотрудничества. Целостность и интегрированность личности зависит не только от того, насколько она продолжает самое себя через жизненные события, социальные роли, личностные кризисы и тяжелые утраты, но и от интегрированности политики. Ведь сущность идеи гражданства составляет участие индивида в политике как целостной личности, а не в качестве функционера или, скажем, покупателя. Политэкономия Маркса, теория рациональности Вебера, теория коллективного символического порядка Дюркгейма, социальная психология Г. Мида, феноменология возникающих социальных форм Зиммеля — при всех отличиях этих авторов и доктрин их объединяет один исходный тезис — связь «больших» социальных структур, процессов их трансформации и индивидуального самоопределения. Ряд идей на этот счет мы находим в гегелевских работах.

Время, темпоральность властно входят в XIX веке в поле зрения мыслителей, что обуславливает формирование определенного типа философии истории. Точнее говоря, внимание к темпоральности является здесь способом схватывания истории, экзистенциальное время используется как инструмент схватывания динамики внешней коллективной истории, в противном случае доступной только в «фактах». С одной стороны, одна из целей этого периода — взорвать исторический континуум, восстать против нормативности традиции, высоко оценить переходное, провозгласить торжество динамизма. С другой стороны, в рамках модерности феномен историчности был не только осознан, но и универсализован. Это проявлялось в прогрессистском видении происхождения. Самое понимание истории человечества и индивида как постепенного продвижения от детства к зрелости восходит к мистическому видению Иоахима Фиорского, монаха позднего средневековья, представлявшего историю как смену трех возрастов — Отца, Сына и Духа⁴. Достигнув апокалипсического последнего возраста Духа, человеческая раса обретает зрелость, становятся ненужными институты (даже церковь), поскольку все в своем существовании руководятся Духом и живут в гармонии.

Гегель рисует Дух как историю через повествование о развитии самосознания, постепенно освобождающегося от иллюзий. Отчеканив в предисловии к «Феноменологии духа» знаменитое «По тому, чем довольствуется дух, можно судить о величине его потери», Гегель протестует, с одной стороны, против поглощенности духовных исканий земными заботами, с другой — против бесформенного «неопределенного наслаждения неопределенной божественностью»⁵. С одной стороны, дух — свобода, он ни от чего не зависим, ничем не обусловлен. С другой стороны, «сила духа лишь так велика, как велико ее внешнее проявление, его глубина глубока лишь настолько, насколько он отваживается распространиться и потерять себя в своем раскрытии»⁶. Можно сказать, что последовательность, с какой Гегель придерживается этого рассуждения, достойна восхищения. Вольно иному лелеять свою духовность, толкуя о заведомо высоком, но куда как более сложно удержать в поле зрения притязания духа, вглядываясь в работу самого привычного, самого земного социального института — семьи.

Говоря об этом социальном институте, Гегель инициирует ход рассуждений, многократно впоследствии воспроизведенный. Семья мыслится одновременно как моральная предпосылка и серьезная проблема развивающегося общества модерности: где, как не в этом защищенном пространстве, можно воспроизводить эмоциональные узы, объединяющие людей куда эффективнее уз права, конституирующего существование иных общностей, но как при этом избежать излишней сосредоточенности семейных людей на собственном и их близких благополучии, чреватой пренебрежением ими гражданскими обязанностями?

«Специфическая для семьи положительная цель есть отдельное лицо как таковое»⁷, — заявляет Гегель и тем самым фиксирует функцию семьи как пространства, в котором индивид модерности получает шанс собрать свои духовные способности, созреть и восстановиться для выполнения гражданских обязанностей, что имеет место уже вне семьи, «внутри всеобщего и для всеобщего». В качестве гражданина индивид из семьи «удаляется», его «природность и единичность подчиняются»⁸. Но в семье и его «природность», и его «единичность» самоценны. Понятно, что этот порядок, при всей его благотворности для личности, чреват конфликтами: семья становится тем плацдармом, на котором природное вступает во взаимодействие с культурным, отдельное — со всеобщим. Гегель озабочен биологическими основаниями семей-

ной жизни: «кровные» узы, объединяющие родственников, упоминаются им неоднократно.

В «Философии права» семья занимает важное место, представляя собой непосредственное воплощение нравственности (третьей, самой высокой ступени в гегелевской системе). Семья знаменует переход от моральности к нравственности, диалектику отношений которых Гегель описывает на примере отношений абстрактного добра и совести. И то и другое нуждается в своей противоположности: «абстрактное добро улечивается, превращаясь в нечто совершенно бессильное, в которое я могу вносить любое содержание, а субъективность духа становится не менее бессодержательной, поскольку она лишена объективного значения»⁹. Речь — о переходе от абстрактного полагания добра и субъективности к их объединению в понятии, суть которого — свобода. Будучи первым компонентом концептуальной схемы нравственности, семья имеет и свою структуру: брак, семья, собственность и имущество семьи, воспитание детей и распад семьи. Непосредственное объединение членов семьи в моногамном браке и воплощение семьи в капитале продолжают в воспитании детей, которым суждено стать «свободными личностями... способными обладать собственной свободной собственностью»¹⁰, и приводит к распаду семьи.

Гегель выделяет два вида распада, «нравственный», связанный с взрослением детей, открывающий для них возможности создания собственных семей, для которых «их первая семья выступает как лишь первое основание»¹¹, и «естественный», к которому приводит смерть родителей, влекущая сложнейшие проблемы, связанные с наследованием имущества. Гегель критичен по отношению к институту наследственного права, который, сохраняя *блеск семьи*, открывает возможность произвола и проведения интересов рода, дома, но не «*этой семьи*». «Семья как таковая», продолжает он, есть идея, которая обладает правом на признание, но в устаревших социальных институтах «то, что вообще именуется семьей... становится с каждым поколением все более отдаленной и недействительной абстракцией»¹². Если в этом контексте естественный распад семьи, связанный с уходом родителей, осмысливается здесь *перспективно*, с точки зрения того, что родители оставили для будущего их детей, и, можно сказать, этот вектор рассмотрения в целом отвечает духу устремленной вперед модерности, то для Гегеля значим и противоположный временной вектор: в «Феноме-

нологии духа» смерть близких осмысливается как феномен, представляющий для родственников нравственный вызов, а исполнение долга в отношении к смерти составляет самое суть божественного закона, следовать которому предназначена семья (подробнее об этом — ниже).

Свобода достижима только в нравственности, а непосредственным воплощением нравственности является семья. Нравственность воплощается трояко — в семье, в гражданском обществе и в государстве. Способом достижения свободы оказывается следование обязанности. Эта формула парадоксальна. Гегель поясняет ее так: современный индивид зависит, во-первых, от своих природных влечений, во-вторых, от «неопределенной субъективности», которая приводит к абстрактному пониманию свободы. Когда люди артикулируют требование свободы, они настаивают на абстрактной свободе. Поэтому немудрено, что любые действия государства (любые «определения и расчленения») трактуются ими как покушение на свободу. Если обязанности и налагают на что-то ограничения, то прежде всего на абстрактное понимание свободы, т. е. «несвободы», добавляет Гегель. Кажущаяся утрата свободы в действительности оказывается ее обретением: «произвол моральной воли» заменяется «добропорядочностью», «неопределенная субъективность» заменяется набором того, что может знать, сказать и выполнять индивид «при определенных условиях»¹³. Иначе говоря, семья предполагает формирование в индивиде особого, зрелого Я. Бесконечный в прошлом для этого индивида набор возможностей был ни к чему: ничем не ограниченная воля не могла побудить к выбору одной или нескольких из этих возможностей. Теперь, обрета «вторую природу»¹⁴, сделав духовное «привычкой»¹⁵, индивид обретает путь для «разумного мышления»¹⁶, он «в своем самосознании имеет свое знание»¹⁷, он, в этом новом качестве, находит себе место и признание в мире.

Эти рассуждения конкретизируются в характеристике Гегелем брака как «правовой нравственной любви»¹⁸. Такое определение союза супругов Гегель противопоставляет трем другим: во-первых, акценту на природной стороне брака, во-вторых, рассмотрению его как разновидности контракта между полами, в-третьих, полаганию любви основой брака. Исходя из восприятия брака как «непосредственного нравственного отношения»¹⁹, Гегель недоволен односторонностью первого, утилитарностью второго и зависимостью от случайностей, открывающейся в рамках третьего по-

нимания. Заключение брачного союза является для мыслителя прежде всего «нравственной обязанностью»²⁰. Понимание им существа этой обязанности радикально: супруги добровольно соглашаются на то, чтобы «составить одно лицо, отказаться в этом единстве от своей природной и единичной личности»²¹. Повторяется приведенный выше аргумент: бесспорно, налицо самоограничение, но без него невозможно обрести самосознание, а в нем, самосознании, и будет состоять освобождение. «Все преходящее, зависящее от настроения и просто субъективное» должно быть сведено к минимуму: так, брак, конечно, может быть результатом договоренности родителей супругов или «особенной склонности», но это — не главное. Более того, брак в результате «заботы» родителей объявляется более нравственным, нежели заключенный в результате взаимного влечения. Упоминая «бесконечно партикуляризованных лиц», «бесконечно особенное своеобразие» потенциальных возлюбленных, мыслитель раздражен торжеством в современном ему мире «субъективного принципа»²². Его последовательная реализация высшим понятием свободы сделала бы любовь²³, а не нравственность. Почему последняя так важна? Потому что она воздвигает культурный барьер на пути природы, цивилизуя природные влечения.

Мыслитель, во-первых, полагает главным содержанием любви «сдерживание и оттеснение чисто природного влечения»²⁴. Во-вторых, он подробно обосновывает необходимость запрета на инцест: «то, что уже соединено, не может быть соединено браком»²⁵. В противном случае в браке сойдутся не люди, но природные существа, и брак не будет воплощением свободы, но реализацией природных страстей. Одно дело, говорит Гегель, соединение в рамках круга кровных родственников, которые самой природой приведены к состоянию неразличимой тождественности друг с другом. И совсем другое — брак происходящих из разных семей партнеров, каждый из которых — «своеобразная для самой себя» и «исконно отличная друг от друга» личность²⁶.

Апология войны

Не забудем уроки деконструкции: дух, понятие для Гегеля ключевое, способен выполнять свои функции при условии ряда исключений: из него исключается природное, материальное, животное, случайное. Темпоральность существования духа и ритмы зем-

ной жизни у Гегеля заведомо не совпадают: саморазвитие духа подчинено сложной диалектике, суть которой — не только движение, не только изменение, не только последовательная смена фаз развития, но и действие, делание себя своим произведением²⁷. Итогом этой деятельности оказывается многообразие его творений, а процесс состоит в пробах и ошибках, ведущихся одновременно во многих направлениях²⁸. Интересна параллель между описанием саморазвития духа, сделанным Гегелем в «Философии истории», и описанием превращения субстанции в субъекта, сделанным много раньше, в «Феноменологии духа». В первом тексте «дух, уничтожая телесную оболочку своего существования, не только переходит в другую телесную оболочку и не только в обновленном виде воскресает из пепла, в который обратилась его прежняя форма, но он возникает из этого пепла, возвышаясь и преображаясь при этом как более чистый дух. Конечно, он выступает против самого себя, уничтожает свое наличное бытие, но, уничтожая его, он перерабатывает его, и то, что является его воплощением, становится материалом, работа над которым возвышает его до нового воплощения»²⁹. Во втором тексте «сознающий самого себя дух» вступает в борьбу с «духом, лишенным сознания», иначе говоря, нравственность вступает в конфликт со случайностями бессознательной природы³⁰. Но каким образом достигается освобождение нравственности и самосознания от материальных уз наличного бытия?

Дух как история немислим без войны: война не только показывает семьям и личностям «силу негативного», но и возвышает ее как предпосылку сохранения целого. Принесший себя на алтарь войны индивид обретает признание, с неизбежностью погибая. Погибает и породивший героя народ, уступая место другой «нравственной форме духа»³¹. Более высокая ступень развития самосознания достигается через кровопролитие: война лишает иллюзий относительно природы и двигает вперед историю. Иначе говоря, стихийное, природное, негативное подвергается исключению на каждой последующей стадии саморазвития духа.

Это природное толкает индивидов к «приобретению и наслаждению», это стихийное чревато всепоглощающей любовной страстью — безусловной помехой нравственности. Следовательно, в качестве «негативного» эти «низшие формы жизни» должны быть выставлены на свет сознания. В то же время общественность, основанная на системе прав личности, может способствовать ощу-

щению семьями и индивидами обособленности и независимости от целого. Мыслитель предлагает следующее: «Для того, чтобы последние не укоренились и не укрепились в этом изолировании, благодаря чему целое могло бы распасться и дух улетучился бы, правительство должно время от времени потрясать их посредством войн, нарушать этим и расстраивать наладившийся порядок и право независимости»³². Равным образом индивидам, слишком уж сосредоточенным на самих себе, предстоит почувствовать в военной службе, кто их настоящий хозяин — смерть.

Закон человеческий и закон божественный

Цель семьи — человеческий закон, воплощенный в общественности, предполагающий, что в семье сформируется добродетельный гражданин. Соответственно, какое бы действие ни предпринималось индивидом, оно получает оправдание только в случае, если связано не с семьей, но с нравственностью: «Содержание нравственного поступка должно быть субстанциальным, или цельным, и всеобщим»³³. Если же семейного человека побудили к действию случай, стремление оказать услугу, или он предпринимает систематические усилия по воспитанию младшего члена семьи — все это, по Гегелю, «не считается», так как лишено главного — универсального измерения, а «нравственное в себе — всеобщее»³⁴.

Рассуждение Гегеля о том, какие поступки не соответствуют всеобщей природе нравственности, завершается весьма и весьма неожиданно. Тот поступок будет иметь и духовную, и всеобщую природу, который направлен на того, кто сам обрел состояние всеобщности, на того, «который из долгого следования своего рассеянного наличного бытия собран в завершенное единое образование и из непокоя случайной жизни поднялся до покоя простой всеобщности»³⁵. Кто же этот счастливчик? Это тот, кто уже не является гражданином, а поскольку «отдельное лицо действительно и субстанциально только в качестве гражданина», он — только «лишенная действительности бесплотная тень». Это умерший родственник, кровный родственник, подчеркивает Гегель.

Этот момент рассуждений мыслителя невозможно понять, не учитывая, что в основе всего учения Гегеля о нравственности лежит трагедия Софокла «Антигона», которую мыслитель высоко ценил, назвав ее в «Эстетике» одним из самых возвышенных и совершенных произведений искусства. Античная героиня, вопло-

щенная Софоклом, Гельдерлином, Гегелем, Брехтом, не случайно привлекла пристальное внимание ряда феминистских авторов³⁶. Антигона — дочь царя Эдипа, бесстрашная, независимая женщина, делит судьбу своего отца, пробыв с Эдипом в Колоне до самой его смерти. Ее братья, Этеокл и Полиник, соперничая за главенство, вступают в борьбу и погибают. Тело Полиника Креон повелел оставить непогребенным в наказание за убийство брата и за предательство Фив. «Лишенная действительности бесплотная тень» — тело Полиника, которое Антигона, отказываясь подчиниться запрету Креона, хоронит. Креон за «своенравие и непослушание», за «злое своеволие» приговаривает ее к заключению в пещере, которая и становится ее последним пристанищем. Антигона отрезана в ней от людей, от мира, от света, но она исполнила свой долг. Исполнение этого «последнего», как его называет Гегель, долга — есть следование божественному закону, который Гегель противопоставляет закону человеческому, закону, фиксирующему социальный порядок, будучи «общеизвестным законом и имеющимися налицо нравами»³⁷.

Различая закон божественный и закон человеческий, Гегель противопоставляет сознательное бессознательному, опосредованное непосредственному, земное подземному. Единственное, в чем реализуется божественный закон, — в отправлении женщинами обряда оплакивания и захоронения. Он осуществляется по отношению к отдельному лицу, которое навеки остается благодаря этому в сфере любви. Без этого умершему суждено быть лишь частью природы, «абстрактной негативностью», «лишенной утешения и примирения в себе самой». Умершему предстоит в этом обряде «принять единичность посредством действительного и внешнего поступка»³⁸. Только когда к природным процессам прибавится «сознательное действие», индивиду суждено возвыситься до «всеобщей индивидуальности».

Разбирая многообразие семейных отношений (между супругами, родителями и детьми, братьями и сестрами), Гегель именно в последнем усматривает подлинное отношение между свободными индивидуальностями. Случись утрата, считает мыслитель, с точки зрения нравственности (в том смысле, как ее понимает Гегель) и жена, и мать — уязвимы, так как родственники для них фигурируют не как «этот» муж и «это» дитя, но лишь как «некий муж, дети вообще»³⁹. Только в отношениях между братом и сестрой, не возделующих друг к другу кровных родственников, еди-

ничность не «безразлична». «Потеря брата поэтому для сестры незаменима, и ее долг перед ним — самый высокий»⁴⁰.

Ее брат — преступник, но Антигона равнодушна к установлениям полиса, она движима только семейной этикой, согласно которой перед смертью все равны, а потому Полиник должен быть погребен по всем правилам. Тем самым героиня противопоставляет божественный закон человеческому, расценивая то, что случилось, как «человеческое случайное насилие». Поскольку в семье женщины подчиняют собственную жизнь своим близким, относясь к ним как к отдельным индивидам, это, по Гегелю, объясняет, почему Антигоне неведомо всеобщее значение ее поступка. Она совершает героический поступок, пишет Гегель, сравнивая ее с не ведавшим, что делает, Эдипом, она «совершает преступление сознательно»⁴¹. Согласно Гегелю, Антигоне не под силу обрести самосознание. Нравственный поступок ей под силу. Но сознавать, что она делает, ей не дано. Предавая земле своего брата, она лишь интуитивно следует долгу. Возвыситься же до рационального понимания универсальных оснований своего сестринского поступка ей не дано. Она — средоточие трагедии, но до сознания высоты своего поступка ей — в силу женской природы и погруженности в семью — подняться не дано. Главная героиня трагедии подчиняется порядку исключения, различенному Ж. Деррида в работе гегелевской диалектики: из разума исключается все неразумное, из нравственности — все безнравственное, из знания — все заблуждение. Антигоне отведена роль воплощения подчиненного члена этих оппозиций⁴². Она — другое разума, нравственности, знания. Природа, считает Гегель, предопределила траектории жизни и предназначения жизни мужчин и женщин: первые воюют, вторые их рожают и хоронят. Антигона отказывается выполнять требования общности, которая, по Гегелю, ее определяет. Уникальность ее задачи, которую она подчеркивает, состоит как раз в том, чтобы не подчиниться законам полиса в целом. Отказываясь следовать закону целого, она вычеркивает себя из социального порядка и платит за непослушание ценой собственной смерти. Она превращает свою подчиненную роль в вызов этому порядку. Ее женский долг выполнен ею до конца.

Иначе говоря, даже там, где философия уверена в непогрешимости собственных границ с литературой, последняя пробирается внутрь, принося сюрпризы и преследуя своими непредсказуемыми персонажами. А в случае, когда литература не рассматри-

вается лишь как другой, привлекательный, но неизбежно поверхностный источник философских идей, она ставит перед философией серьезные эпистемологические, метафизические и методологические проблемы. Подробность, с какой эта коллизия прямо описана в тексте, и подчеркнутая выше невозможность понять гегелевские рассуждения в отрыве от «Антигоны» обнаруживают, до какой степени сам автор был заинтригован и увлечен этой великой героиней великой трагедии. Призванная продемонстрировать величие его системы, она, против самоуверенных ожиданий и лучших намерений, эту систему парализует, показывая, что возможна иная, пусть безрассудная, этика, не основанная на трехтактном восходящем движении всеобщего разума. Не случайно мыслитель называет женское начало «вечной иронией общественности», которому, если в нем в достатке характера и воли, под силу изменить «общую цель правительства в частную», превратить общие задачи в «произведение “этого” определенного индивида»⁴³. Не только «этого брата», добавим мы, но и «этого» мужа, «этого» сына, «этой» себя.

¹ Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 83.

² Батищев Г. Логика осадного положения // Мы и наши дети. Свердловск, 1985. С. 65–66. (Б-ка семейного чтения).

³ Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 217.

⁴ Faching D. J. Narrative Theology after Auchwitz. From Alienation to Ethics. Minneapolis, 1992. P. 90.

⁵ Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1999. С. 5.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 238.

⁸ Там же.

⁹ Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 199.

¹⁰ Там же. С. 222.

¹¹ Там же.

¹² Там же. С. 226. См. также показательное суждение в дополнительных материалах к тексту: «В гражданском обществе индивидуумы становятся самостоятельнее, чем это было в патриархальных обществах. Семейные связи становятся чем-то второстепенным; дружба, служебные отношения создают более тесную духовную связь, чем отношения с далекими кровными родственниками, близость к которым основана только на природных узах, по сравнению с ними духовная близость имеет важное преимущество. Ибо ощущение единства между членами семьи все более теряется, а именно оно составляет здесь главное» (Там же. С. 430).

¹³ Эту и предшествующие цитаты в данном абзаце см.: Там же. С. 203.

¹⁴ Там же. С. 205.

¹⁵ Там же. С. 206.

- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ Там же. С. 200. Ср. также: «знание себя как своего единства с другим и другого со мной» (С. 208).
- ¹⁸ Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 210.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Там же. С. 211.
- ²¹ Там же. С. 219.
- ²² Там же. С. 211.
- ²³ Там же. С. 214.
- ²⁴ Там же.
- ²⁵ Там же. С. 217.
- ²⁶ Там же. С. 216.
- ²⁷ Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 121. (Этот момент подробно разбирается Х. Уайтом в книге «Метаистория. Историческое воображение XIX века». Екатеринбург, 2002. С. 142–144).
- ²⁸ Там же. С. 121.
- ²⁹ Там же.
- ³⁰ Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. С. 251.
- ³¹ Там же. С. 255.
- ³² Там же. С. 241.
- ³³ Там же. С. 238.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ Там же. С. 239.
- ³⁶ Назовем только самые влиятельные работы: *Irigaray L. This Sex Which Is Not One* / Trans. by C. Porter. N. Y., 1985; *Butler J. Antigona's Claim: Kinship Between Life and Death*. N. Y., 2000. В рамках данной статьи нет возможности останавливаться на особенностях феминистского прочтения «Антигоны».
- ³⁷ Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. С. 237.
- ³⁸ Там же. С. 240.
- ³⁹ Там же. С. 343.
- ⁴⁰ Там же.
- ⁴¹ Там же. С. 251.
- ⁴² Интерпретация Гегелем «Антигоны» подробно рассмотрена Ж. Деррида в работе «Glas».
- ⁴⁴ Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. С. 255.

Г. А. Брандт

Материнство как российская культурная стратегия: к постановке вопроса

Впервые феномен материнства по-настоящему был проблематизирован в феминистском философском дискурсе. Именно здесь материнство стало пониматься не только как «святое предназначение» и / или «единственное оправдание», а как сложный неизученный феномен, для понимания которого как минимум необходимо отрефлексировать, осмыслить и развести природное и социокультурное: *естественное* желание и *насильственное* долженствование. Воспроизведем вкратце логику движения феминистской мысли в этом направлении.

Концепт «материнство» был одним из первых «горячих» вопросов, с которых и начинала свою историю феминистская идея в 70-х годах прошлого века. Фундаментально переоценивая всю историко-философскую европейскую традицию с точки зрения половой принадлежности того «человека», который всегда считался центральной проблемой западного философствования, теоретики феминизма обнаружили огромные лакуны в пространстве больше чем двадцатипятивековой мысли. Важнейшие пласты человеческой жизни оказались вне философского внимания, в лучшем случае были лишь обозначены и воспринимались как беспроблемные по существу. «Мы знаем о воздухе, которым дышим, о морях, которыми путешествуем, больше, чем о природе и значении (смысле) материнства», — начинает свою книгу «Женщиной рожденный» А. Рич [Rich 1976: 3]. Поэтому вполне объяснимо,

что первая реакция феминистской теории, где обсуждался этот фундаментальный перекося в сторону «мужского» всей европейской традиции философствования, была «радикальной». Сведение женщины к некоей функции, которой оказывалось материнство, привело к тому, что именно женская способность к деторождению и была рассмотрена как основа социальной и культурной дискриминации женщин. В результате первой феминистской реакцией стало отрицание позитивной роли материнства в жизни женщины вообще. Материнство виделось как реальная «уязвимость» женской биологии, действительная «слабость» женского тела. Так, С. Фарейстон, одна из ведущих лидеров радикального феминизма 70-х, к примеру, была убеждена, что до тех пор пока женщины продолжают рожать детей, они с неизбежностью будут подавляемы и угнетаемы, и что единственный способ избежать этого — внематочное размножение и новые формы общественной жизни [Farestone 1970]. Дж. Аллен доказывала, что «материнство уничтожило женщину и поэтому оно, по крайней мере со временем, должно быть искоренено, материнство опасно для женщин, потому что оно утверждает ситуацию, при которой женщина (female) должна быть только женщиной (woman) и матерью, оно отрицает возможности развития для женщины личного творчества и создания мира, который был бы для нее открыт и свободен» [Allen 1984: 315]. С этой точки зрения получалось, что женщина действительно «телесно» ущербна. Ее тело по отношению к телу мужчины оказывалось, по сути, проявлением «естественного неравенства», ее «бременем», делающим женщину *более* природной, *менее* социальной, поскольку она вынашивает, рождает, воспитывает. И поэтому необходима социальная модификация, «подправление» женского тела для достижения подлинного равенства полов, их равноценности в социокультурной сфере. Это и призваны осуществить новые репродуктивные технологии.

Однако во второй половине 70-х, когда происходил процесс смены «радикального» феминизма «культурным» [см.: Grimshaw, 1986], обозначаются новые подходы и к рассматриваемой теме. В этом смысле показательна упомянутая книга А. Рич «Женщины рожденные», которая стала одним из бестселлеров феминистской теоретической мысли 70–80-х годов XX века. Опубликованная во второй половине 70-х, книга А. Рич определила некий водораздел в феминистском мышлении относительно материнства, различив материнство как институт и как переживание. Прежде

всего она интересна тем, что относится к одному из тех исследований, в которых есть попытка определить и выразить опыт женского существования, что называется, «изнутри», что необычайно сложно — ведь о женщине, о ее переживании жизни, разных ситуаций, состояний и т. п. писали всегда мужчины; и женщины, конечно, привыкли думать о самих себе, даже воспринимать свой собственный опыт через призму прочитанного, увиденного, услышанного. Феминизм и полагает одной из своих центральных задач выявление содержания женского переживания. Понятно, почему теоретики феминизма так активно используют в своих работах феноменологический метод. То описанное Э. Гуссерлем ощущение, которое стало как бы фундаментом закладки создаваемого им метода, абсолютно совпадало с их ощущением относительно опыта женской жизни: «...Мы терпим крайнюю *жизненную* нужду, такую нужду, которая распространяется на всю нашу жизнь. Каждый момент жизнь есть точка зрения, каждая точка зрения подчиняется какому-либо долженствованию, какому-либо суждению о значимости или незначимости, согласно предполагаемым нормам абсолютного значения. Пока эти нормы были неприкосновенны, пока они не были нарушены и высмеяны скепсисом, до тех пор единственным жизненным вопросом был вопрос о том, как лучше всего будет соответствовать им. Как же быть теперь?» [Гуссерль 1911: 51]. Феминистские исследовательницы наряду с теоретическими разработками стали все больше обращаться к миру повседневного опыта («к самим вещам», а не представлениям о них) в его непосредственном переживании женщиной.

Рассматриваемая книга А. Рич и являет собой пример титанического усилия автора разотождествиться с собой как с «другим» — образом, представленным в общественных стереотипах, и нащупать по крупницам свое собственное «я». Известная в Америке исследовательница, писательница и поэтесса, мать четверых детей, обращается в книге к своему богатому опыту материнства: «Я убеждена, — пишет она, — что только готовность разделить личный и иногда очень болезненный опыт с другими может помочь женщинам создать коллективное описание мира, который будет действительно наш» [Rich 1976: 16]. Она уверена, что материнство, представленное в общественном сознании через те стереотипы, которые отражены и в искусстве, и в публицистике, и в специальных изданиях, не имеет прямого отношения к реалиям этого явления: «Когда я стараюсь вернуться в тело молодой жен-

щины 26 лет, беременной первый раз, я осознаю, что я была совершенно отчуждена от моего реального тела и духа институтом — не фактом — материнства. Этот институт разрешал мне только определенное видение себя, воплощенное в специальных буклетах, в романах, которые я читала, в суждениях моей свекрови, в памяти моей собственной матери, «Сикстинской мадонне» или микельанжеловской «Пийете», в носящемся в воздухе определении, что беременная женщина есть женщина, успокоенная в своей наполненности или, проще, женщина ожидающая. Женщины всегда были рассматриваемы как ждущие: своих месячных (как бы они пошли или не пошли), ждущих мужчин, приходящих с войны, с охоты, с работы, ждущих, когда подрастут дети или когда родится новый ребенок... В моей собственной беременности я имела дело с этим ожиданием, этой женской судьбой, этим отрицанием всякой активности. Я становилась отчужденной и от непосредственного, настоящего переживания своего тела, и от моей читающей, пишущей, думающей жизни» [Rich 1976: 38–39]. Итак, книга А. Рич была направлена прежде всего на постановку задачи для будущих исследований — осмыслить реальный опыт переживания материнства женщиной, а не социокультурных долженствований по поводу этих переживаний, опыт тела, а не институциональных вливаний в сознание. Попытка осмысления «опыта тела» и тем самым разотождествления с образом «настоящей женщины», которое было навязываемо извне, стала общей для феминистской теории задач.

Однако параллельно в теории феминизма стала все отчетливее заявлять о себе другая тенденция, базирующая свое видение жизни на иных методологических основаниях. Если пафос *феноменологии* — в режиме методологии которой и была, как уже говорилось, написана книга А. Рич — состоял в разведении социокультурных представлений как вторичных и конкретно-чувственных переживаний как первичных, вторичные надо было «соскоблить», обнажив реальное переживание, в *постструктурализме* «первичное» и «вторичное» поменялись местами. Здесь речь идет не о разведении реального и символического, а о том, что в действительности «символическое» предшествует «реальному», что все человеческие переживания оказываются «сделанными»: «символическое» через «воображаемое» конструирует «реальное», а не наоборот, как это мыслилось традиционно. Постструктуралисты последовательно развенчивали мифы о существовании «реального»

додискурсивного субъекта, показывая «сделанность» границ человеческого разума, его телесности и сексуальности.

Иными словами, акцент исследования смещался, не «раскапывание» подлинных ощущений, зарытых в теле, оказывалось в фокусе, а сам процесс институализации тела, тех стратегических технологий власти, которые и конструируют в конечном счете женские тела. В этом смысле блестящим примером обнаружения властных стратегий явились работы М. Фуко, который продемонстрировал, как прихотливо работают эти стратегии на человеческих телах, конструируя нужный власти тип поведения. Знаменитому рассуждению Платона о теле как тюрьме души, к которому она буквально «пригвождена» [Платон 1970: 49], Фуко противопоставил хлесткое: «Душа — тюрьма тела». Он показывает, как власть, воздействуя на душу, на самом деле «заботится» прежде всего о телах: «человеческое тело входит в машину власти, которая его изыскивает, расчленяет и воссоздает» [Фуко 1975: 139]. Душа — лишь средство, организующее пространство — использования и подчинения тела. Поэтому очень показателен тот парадоксальный поворот, который прodelывает мысль Фуко в исследовании конструирования сексуальности в эпоху викторианского режима. Он показывает, что общее представление о том, будто в викторианскую эпоху «сексуальность тщательно скрывается», «конфискуется», «поглощается серьезностью функций воспроизводства», что «секс окружают молчанием», — неверно. Напротив — именно в эту эпоху западное общество становится «обществом не репрессии секса, а его экспрессии», поскольку именно в это время «секс выбивают из его убежища и принуждают к дискурсивному существованию», власть начинает преследовать, контролировать, классифицировать («расспрашивать», «надзирать», «выслеживать», «шпионить», «обыскивать», «ощупывать», «извлекать на свет») сексуальность, тем самым впечатывая ее в тела, онтологизируя и закрепляя там [Фуко 1996].

В этом смысле несомненный интерес представляет рассмотрение материнства как продукта властных стратегий в российской культуре, поскольку очевидно, что дискурс материнства оказывается здесь одной из ведущих технологий конструирования природы женщины. Однако очевидно и то, что задача эта сама по себе стратегического характера, мы же в рамках данной статьи можем претендовать только на постановку вопроса, на выявление того проблемного поля, которое обозначается при первом

подходе к рассмотрению феномена материнства как властной стратегии российской культуры.

Общим местом является мысль о том, что материнство в ценностной символике России занимает особое положение. «Россия — это материнство», — лаконично формулирует мысль Н. Бердяев. Жесткая сцепка материнства с Родиной, с Россией говорит сама за себя. Святость материнства, кажется, пропитывает все поры русской культуры — не случайно образ Божьей матери для русского православного сознания едва ли не значимей образа самого Спасителя. Ученые не раз отмечали, что явление это не общеевропейского порядка. Так, Г. Гачев, исследуя национальные образы мира, указывает на то, что в своем архетипическом значении «сладкая Франция» — возлюбленная (*douce France*), Англия — «веселая старушка» (*old merry England*), Германия — отцова земля (*Vater-land*), и только Русь — матушка [см.: Гачев 1995]. Конечно, национальные архетипы связаны с ценностными стратегиями самих человеческих отношений в сознании нации. Так, С. Н. Зенкин, описывая, в каком неприглядном виде показана в произведениях Ж.-П. Сартра женщина-мать, обобщает: «Как не дико это кажется для русской культуры, для французской литературы такое не ново. Эстетическая неприязнь к женщине, к ее естественной биологической функции сказывалось, например, в ряде произведений Шарля Бодлера, и Сартр писал по этому поводу о “великом антинатуралистическом течении, которое проходит через весь XIX век, от Сен-Симона до Малларме и Гюнсманса”» [Зенкин 1994: 7]. Очевидно, что течение это не иссякло и в XX веке, и не только Сартр стал его продолжателем. С. де Бовуар приводит в своей книге «Второй пол» рассуждения героини романа Одри Колетт: «Когда я видела ребенка, играющего в песке, я испытывала к нему неприязнь за то, что он появился из женщины... Мне неприятно мягкое женское тело, всегда готовое отпочковать новых детей, и мужчины, с независимым видом и чувством удовлетворения взирающие на всю эту плоть из женщин и детей, им принадлежащих, мне не кажутся привлекательными. Мое тело принадлежало мне одной, я любила его только загорелым, блестящим от морской соли, поцарапанным утесником. Оно должно оставаться крепким и герметически закрытым» [Бовуар 1997: 560].

В самом деле, русскому сознанию все эти рассуждения представляются, мягко говоря, странными. Зададимся же вопросом: *где и когда* выстраивается нарратив материнства как одна из базовых

символических структур национального сознания? Логично предположить, что таким «местом» должна стать русская классическая литература XIX века¹. Г. Гачев, замечая, что «национальный образ мира складывается в пантеонах, космогониях, просвечивает в наборе основных архетипов-образов в искусстве», утверждает общезначимую, в общем, мысль о том, что «ближайший к нам (в России. — Г. Б.) путь — анализ национальной образности литературы и рассмотрение через нее всей толщи культуры» [Гачев 1995: 12]. Действительно, именно литература — матрица всех символических стратегий российской культуры, да, как показано в современных исследованиях, и самой национальной идентичности российского сознания как такового: «В процессе построения нации огромную роль играет Литература и введение словесности в общеобразовательные школьные программы. ...Литература формирует в сознании учащихся единый ряд образов и понятий, связанных со своей страной, и создает ощущение причастности каждого к “воображаемому сообществу” нации. ...Придание литературе XIX века статуса классической... создало систему утверждения национальной идентичности в широких слоях общества» [Лукина 2004: 16–17].

Поэтому именно на просторах родной литературы и следует прежде всего заняться поиском стратегического «образа материнства», а точнее образов, конструирующих в российском сознании этот базовый женский нарратив. Однако первый же пристрастный взгляд на идентифицирующие стратегии образа женщины в русской литературе заставляет «вспомнить» о фукианском открытии непрямого, прихотливого функционирования властных стратегий в обществе, поскольку выясняется, что этот образ выстраивается здесь, как это ни парадоксально, *вне* материнской парадигмы, точнее — вне открытого говорения о материнстве как конституирующем элементе женской природы.

Блестящая вереница женских образов, от Татьяны Лариной до трех сестер, представляет собой один из самых мощных нарративов всей русской культуры. Жертвенность, готовность к духовному подвигу, глубина чувств, простота и ясность мысли, наконец, красота душевная, духовная, физическая — все это «русская женщина», но эти замечательные качества проявляются в ней на литературном пространстве не как в матери, а как в любящей и / или страдающей в «отсутствие любви и смерти» женщине. Матери, конечно, в русском романе есть, и в немалом количестве, но не этими образами, повторимся, фундирована символика «русской

женщины». Вообще, упрощенно говоря (при первом приближении к вопросу всегда приходится говорить упрощенно), русских писателей относительно этой темы можно условно разделить на два лагеря: Л. Н. Толстой и все остальные. Как-то встретилось замечание о том, что В. Розанов в «Сахарне» «особенно сильно воспел женщину как силу рода и материнства, так, как никто в русской литературе ни до, ни после не сумел» [Розанов]. Не будем сейчас спорить по поводу Розанова, тем более что и его перу принадлежит не только «Сахарна», но и «Люди лунного света», где качества женской (и мужской) природы, точнее *души*, ароматно описывались как прямое следствие качеств ее полового органа (мягкость, податливость, неопределенность), рассматриваемого отнюдь не в своей материнской функции. Дело в другом — никто в русской литературе материнство и не воспевал! Воспевали *женственность*. Ее наши литературные титаны действительно воспевали всей силой своего таланта и во всем объемном ее значении — от физической привлекательности до нравственного совершенства. Не случайно едва ли не апофеозом развития женской темы в русской литературе XIX века стали тургеневские *девушки*. Приведем один из портретов, столь щедро рассыпанных в романах этого певца русской женственности: «Она была высокой, хорошо сложенной девочкой с немного впалой грудью и узкими плечами юности, с бледной матовой кожей, редкой в ее годы, чистой и гладкой как фарфор, с густыми черными волосами; их темные пряди необычно смешивались со светлыми. Черты ее лица изысканные, почти безукоризненные, правильные, еще не потерявшие безыскусного выражения, естественного для ранней юности; но в томном наклоне ее прелестной шейки, в ее улыбке, не совсем смущенной, и еще не утомленной, можно было предположить очень нервическую молодую даму, и в каждом контуре тех слабо улыбающихся, прекрасных губ, этом маленьком, скорее тонком орлином носе было что-то волевое и страстное, что-то опасное и для других, и для себя. Поразительными, действительно поразительными были ее глаза, темно-серые, с зеленым оттенком, глаза длинные и томные, как глаза египетских богинь, с лучистыми ресницами и смелым размахом бровей. Эти глаза имели странное выражение: казалось, что взгляд, внимательный и умный взгляд шел из какой-то неизведанной глубины и дали».

Есть хотя бы одно описание матери, которое было бы столь впечатляющим, волнующим и зовущим «в какие-то неизведанные глу-

бины и дали», как это описание взгляда Ирины из романа «Дым»? Вместо ответа приведем примечательное высказывание Д. Писарева: «Для того, чтобы понять, каковы возможности женщины ...изучай ее, когда она еще полна жизни и свежести, а не тогда, когда она сморщилась, опустилась и увяла» [Писарев 1955: 238]. Женственность — «загадка», может быть, самая главная в жизни, материнство — в лучшем случае «разгадка», и то лишь у Толстого.

Лев Николаевич апеллировал к материнству как основному значению женщины, конечно, неоднократно: «Как сказано в Библии, мужчине и женщине дан закон: мужчине — закон труда, женщине — закон рождения детей. И этот закон остается неизменным, как печень на месте» [Толстой и др. 1902: 3]. Сила сравнения впечатляет. Но в самих романах Толстого это главное призвание женщины оказывается вытесненным на обочину авторского внимания. Из центральных образов матерей, может быть, самый «прописанный» — Долли, но он очевидно не стратегический, не обладает должной энергетикой. В трагической истории Анны Карениной материнство присутствует скорее как императив, в фокусе внимания отношения с двумя мужчинами. И вся прелесть Анны — автор буквально заражает читателя своим откровенным любованием ее блестящими глазами, черными завивающимися волосами, полными руками — прелесть совсем не материнская. Про Наташу вряд ли стоит и говорить, очевидна несоразмерность многочисленных, подробных описаний «тонкой, подвижной... непрестанно горевшей огнем оживления» девушки и той завершающей роман скороговорки (всего четыре страницы на всю «новую» Наташу) про «самку», у которой осталось «одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно». Причем интересно, что вся эта декларативно принимаемая Толстым перемена в Наташе объясняется им также не столько потребностью в материнстве, сколько потребностью в муже. Наташа «опустилась», — убеждает автор, — потому что «чувствовала, что те очарования, которые инстинкт научал ее употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся — т. е. всею душой, не оставив ни одного уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекли его к ней, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с телом».

Очевидно, что Горького его «мать» интересует по совсем другим — не материнским — причинам. У Островского «программ-

ные» мамочки — Кабаниха, Огудалова — тоже не повод для символизации. И даже героиня «Без вины виноватых» своим страданием по поводу потерянного сына не меняет общей картины. Катерина Ивановна — самый яркий материнский образ Достоевского — провоцирует читателя на очень сильные чувства, но в контексте стратегических задач «материнство» здесь считается прежде всего как страдание, как едва ли не кошмар, на который женщина обречена самой природой.

...Когда, перед тем как давать в курсе культурологии читать «Медео» Еврипида, спрашиваю своих студенток, что, на их взгляд, самое страшное для женщины, они в один голос, не задумываясь, отвечают — потерять ребенка. Еврипид, как известно, дает иной ответ. Но и Л. Н. Толстой — главный русский певец женского предназначения — в отношении любимой героини, как уже отмечалось, припечатывает: «Наташе нужен был муж. Муж был ей дан. И муж дал ей семью». Ответов на эту проблемную ситуацию, может быть, видимо, несколько, представим один из вариантов.

Стратегия материнства в русской классической литературе работает в режиме «по умолчанию». Материнство как событие жизни женщины почти совсем не представлено в открытом «говоре» классиков о женщине, это — не *событие* для них, но оно проступает как архетипическая структура, проступает в отдельных замечаниях, сравнениях, метафорах, ситуациях ощущения героями сиротства, одиночества, бездомности (образ матушки в сознании Паприщева, Чичикова, Обломова и др.). Материнство оказывается означающим тепла, дома, крыши, потребности в лоне, в защите героя и / или автора. Обостренное отношение к этим экзистенциалам для русского человека может быть объяснено тем, что Н. Бердяев назвал болезнью нравственного сознания: «Болезнь русского нравственного сознания я вижу прежде всего в отрицании личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора личных качеств. Русский человек не чувствует себя в достаточной степени нравственно вменяемым и он мало почитает качества в личности. Это связано с тем, что личность чувствует себя погруженной в коллектив, личность недостаточно еще раскрыта и сознана, такое состояние нравственного сознания порождает целый ряд претензий, обращенных к судьбе, к истории, к власти, к культурным ценностям, для данной личности недоступным» [Бердяев].

Таким образом, нехватка личностного начала в сознании русского человека (читай — мужчины), что, начиная с психоанализа, традиционно связывается с «отцовским» вызовом, оборачивается обостренной потребностью в «материнской» защите и всепрощении, отсюда и «претензии» к судьбе, истории, власти, культуре. При таком положении дел становится понятной природа патриархата в России. Она действительно причудлива здесь, поскольку, с одной стороны, очевидно преобладает дискурс о силе, душевном, а часто и духовном превосходстве русской женщины, но с другой — сами социокультурные стратегии *предписывают* ей это превосходство, предписывают, по сути, *материнское* отношение к мужчине. Так властный императив материнства впечатывает в женские тела непреложность бесконечного терпения, прощения, страдания, жертвенности не только по отношению к сыну, но и к сыну-мужу, и к сыну-любимому.

¹ Древнеславянская мифология с ее «Матерью-сырой землей» и другими женскими культами была скорее связана с культами рождения, плодородия, чем собственно материнства.

Литература

- Бердяев Н.* Духи русской революции [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt>
- Бовуар С.* Второй пол. СПб., 1997.
- Гачев Г.* Национальные образы мира // Национальные образы мира. М., 1995.
- Гачев Г.* Национальный Эрос в культуре. М., 1995.
- Гуссерль Э.* Философия как строгая наука. М., 1911. Кн. 1.
- Зенкин С. Н.* Человек в осаде // Сартр Ж.-П. Тошнота. М., 1994.
- Лукина А. В.* Социокультурные технологии формирования идентичности (историко-методологический аспект): Автореф. дис. ... канд. культурологии. Екатеринбург, 2004.
- Писарев Д. И.* Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова // Соч. М., 1955. Т. 1.
- Платон.* Федон // Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2.
- Политическая философия В. В. Розанова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.rin.ru>
- Розанов В.* Сахарна [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.rin.ru>
- Толстой Л., Бокль Г., Шопенгауэр А., Спенсер Г. О женщинах. СПб., 1902.
- Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1975.
- Фуко М.* Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.
- Allen J.* Motherhood: The Annihilation of Women. Trebilot, 1984.
- Grimshaw G.* Philosophy and Feminist Thinking. Minneapolis, 1986.
- Rich A.* Of Women Born. N. Y., 1976.
- Farestone S.* The Dialectic of Sex. N. Y., 1970.

О. Л. Селькова

Семейный террор: взгляд психолога кризисного центра

Насилие в условиях современного российского общества становится все более зримым и осязаемым. Телекоммуникации создают ощущение причастности каждого человека к происходящему в мире. Обратной стороной этого явления становится устойчивое равнодушие современного человека, стремление отгородиться от сложной социальной реальности. Выжидательная и безразличная по отношению к насилию позиция становится реальностью и позволяет ему быть привычным средством решения проблем. Насилие вынуждает к закрытости и изоляции человека в обществе. Женщины больше всего страдают от насилия и от страха ему подвергнуться. Изнасилования на улицах, избиения и унижения в семье, все виды физического, сексуального, эмоционально-психологического, экономического насилия по отношению к женщинам являются нарушением прав человека. Однако женщины часто вынуждены молчать, хотя отчаянно нуждаются в помощи и понимании. Наша традиционная культура сохраняет устойчивое отношение к женщине, пострадавшей от домашнего насилия, как к «виновной» стороне. Сложившиеся в обществе стереотипы оправдывают насилие в отношении женщины и заставляют ее страдать в одиночестве. Об остроте проблемы говорят цифры статистики: в каждой четвертой российской семье присутствует насилие. Около 40 % убийств также совершается в «первичной ячейке» общества. Анонимные опросы свидетельствуют: каждая вто-

рая россиянка — жертва насилия. Проблема принимает форму национального бедствия. Процесс криминализации семьи усиливается. До последнего времени ни одна из ветвей власти в России не считала проблему домашнего насилия своей, и поэтому люди, прежде всего женщины, оставались один на один со своей бедой. На помощь пострадавшим от насилия, изучив зарубежный опыт, первыми стали приходить активисты женских общественных организаций, создавая кризисные центры для женщин, в основном на волонтерских началах. Инициатором создания программы борьбы с насилием в семье в Екатеринбурге была наша общественная организация. Мы организовали индивидуальные консультации психологов и юристов. За три года изменилось очень многое. Мы были услышаны не только общественниками, не только печатью и телевидением, но и представителями органов власти. Мы активно сотрудничаем с милицией общественной безопасности Екатеринбурга, с городской думой и мэром города. Мы пытаемся донести до общества важность проблемы домашнего насилия и необходимость ее решать. Кризисный центр для женщин «Екатерина» открылся в Екатеринбурге 6 марта 1998 года в составе городского Центра женщин, хотя работать по проблеме домашнего насилия команда единомышленников начала в 1996 году с большой кампании в средствах массовой информации. После полутора лет работы в составе городского Центра женщин мы выросли в самостоятельную общественную организацию, которая в ноябре 1999 года была зарегистрирована как общественное объединение в органах юстиции. Целями организации являются: оказание социальной, психологической, юридической помощи и поддержки женщинам, пострадавшим от домашнего насилия; просветительская работа по проблемам насилия в семье.

В центре можно получить индивидуальную очную консультацию психолога и юриста, работают телефон доверия и группа поддержки и самопомощи для женщин, при необходимости осуществляется адвокатское сопровождение женщин в суде. В средствах массовой информации (газеты, телевидение, радио) развернута широкая кампания по теме домашнего насилия. Сотрудники центра проводят образовательные тренинги для различных групп населения, социально-психологические исследования общественного мнения по проблеме домашнего насилия. Мы плодотворно взаимодействуем с мэром города, с Городской думой, с городской милицией. В течение 1999–2000 годов сотрудники нашей органи-

зации провели обучение всех участковых милиционеров города, а также всех инспекторов по делам несовершеннолетних по разработанной нами программе профилактики преступлений в быту «Остановим домашнее насилие». Сейчас получено согласие ввести этот образовательный курс в учебные планы Уральского юридического института МВД РФ и Областного учебного центра МВД Свердловской области (как опытный образец подобной программы). Наша образовательная программа взята за основу образовательного курса по домашнему насилию Министерством МВД и будет включена в учебные планы юридических институтов по всей стране.

Психологами кризисного центра проведено два социально-психологических исследования общественного мнения по проблеме домашнего насилия (в 1998 и в 2001 году). В 1998 году сотрудники центра принимали участие в подготовке и проведении региональной конференции «Насилие в семье — насилие в обществе». В мае 1998 года участвовали в конференции кризисных центров России в Москве, где стали одними из создателей Межрегиональной ассоциации кризисных центров для женщин. Директор нашего центра входит в Координационный совет ассоциации. В октябре 2000 года наша организация выступила учредителем Межрегионального общественного движения «Форум женщин Уральского федерального округа».

Что же такое домашнее насилие ? К сожалению, до сих пор нет четкого толкования этого понятия. В нашем центре было разработано следующее определение:

Домашнее насилие — это система поведения одного человека, используемая для установления и сохранения власти и контроля над другим человеком.

Выделяют 4 основных вида домашнего насилия:

1. **Физическое насилие** — все агрессивные формы поведения, представляющие собой физическое воздействие на человека, включающее ограничение свободы передвижения. Это избиение, толчки, царапины, плевки, шлепки, пощечины, хватание, бросание предметами, нанесение ударов руками и ногами, удушение, использование оружия и др.

2. **Эмоционально-психологическое насилие** — это унижение, запугивание, принуждение и изолирование. Это словесные оскорбления, постоянная критика мыслей, чувств, мнений, убеждений, действий; постоянные допросы, шантаж, угрозы уйти

и забрать с собой детей, угрозы насилия по отношению к себе, жертве или детям, совершение насилия в отношении детей, родителей, домашних животных или разрушение предметов собственности, контроль или ограничение круга общения, телефонных разговоров жертвы, проявление ревности в крайней степени, преследование, обвинение партнера во всех проблемах, прерывание сна, процесса еды и т. д. Сюда же относится принуждение сменить вероисповедание, мировоззрение, отступить от жизненных принципов и ценностей.

3. Сексуальное насилие — любой сексуальный акт или сексуальное поведение, навязываемое партнерше (-у) без ее (его) согласия. Это принуждение к сексуальному акту с использованием силы, угроз или шантажа (изнасилование), причинение боли или вреда здоровью посредством сексуальных действий, жесткий отказ в сексуальных потребностях жертве, принуждение к сексуальному акту в неприемлемой для жертвы форме и др. Отдельно выделяются насильственные сексуальные действия в отношении детей — инцест.

4. Экономическое насилие — использование денег для контролирования партнера. Это отказ содержать детей, единоличное принятие финансовых решений, создание ситуации, при которой партнер вынужден выпрашивать деньги и отчитываться в любых тратах, утаивание доходов, растрачивание семейных денег, запрет или принуждение работать, изъятие заработанных денег и т. д.

Особенности домашнего насилия

Домашнее насилие носит *скрытый характер*. О нем не принято говорить. Некоторым говорить об этом больно и страшно, некоторым стыдно, а некоторым легче делать вид, что этого нет совсем, нет ни боли, ни страха, нет проблемы. Пострадавшей от насилия в семье очень тяжело признавать, что у нее дома идет война с некогда любимым человеком. Скрытый характер насилия и, как следствие, его безнаказанность порождают все более страшные его формы. Пострадавшие от насилия не верят, что кто-то способен им помочь, что можно изменить ситуацию. Так как насилие обычно совершается в отсутствии посторонних, то окружающие часто сомневаются в рассказах пострадавшей. Ведь в кругу друзей, на работе насильник маскируется под добропорядочного се-

мьянина, дружелюбного рубаху-парня или ответственного серьезного человека. И он всячески опровергает слова женщины, представляя ее неврастеничкой, лгуньей или сумасшедшей.

Если в начале семейных отношений присутствовал только один вид домашнего насилия, то с течением времени женщина подвергается самым разнообразным и изощренным формам домашнего притеснения. Насилие приобретает *«хронический»* характер. И важно помнить, что, раз начавшись, само по себе насилие не прекратится никогда.

Власть и контроль, составляющие основу насилия, используются насильником для создания полной *изоляции* партнера. Ведь если человека изолировать от мира, от друзей, родственников, соседей, им можно легко управлять, диктовать свою волю и использовать его по своему усмотрению. У пострадавшей искажается мнение о себе и о мире, снижается самооценка, исчезает уверенность в своих силах. В дальнейшем жертва начинает верить всему сказанному насильником. И если обидчик говорит ей о том, что она плохая жена, мать и хозяйка, что она сама во всем виновата и заслуживает наказания, то вскоре и она начинает думать так же. Тем самым насильник полностью снимает с себя ответственность за свои противоправные действия и перекладывает ее на пострадавшую. И женщина соглашается с насильником только для того, чтобы выжить.

Существует и другая группа женщин, страдающих от домашнего насилия. Они далеки от состояния пассивности и подчиненности, постоянно пытаются улучшить ситуацию в семье, «исправляя» свое поведение, как того требует насильник, подстраиваясь под прихоти партнера. Такие женщины очень долго терпят насилие, так как считают себя виноватыми и обязанными исправить сложившееся положение. Они также не осознают, что насилие в семье существует не по их вине: ответственность за него несет сам обидчик.

Другая особенность домашнего насилия — его *цикличность*. Отношения в семье, где имеет место домашнее насилие, развиваются по кругу, повторяясь от раза к разу, проходя одни и те же стадии. Причем с течением времени этот круг имеет тенденцию сжиматься, т. е. насилие повторяется и совершается все чаще. Насилие становится предсказуемой моделью поведения. И если сначала акты насилия происходили раз в полгода, то впоследствии они могут совершаться каждый день. Попад в этот очень проч-

ный круг, женщина сама зачастую не способна разорвать его. Цикл насилия можно разбить на три стадии.



1. Стадия нарастающего напряжения

К первой стадии относится период, в течение которого насильник становится раздражительным, злится по незначительным причинам и без причины, ищет повод для выхода своей агрессии. В семье нарастает напряжение. Сам факт нарастания напряжения часто отрицается как виновником, так и пострадавшей от насилия. Происходящее оправдывается стрессом, неприятностями на работе, плохим самочувствием. В это время женщина старается во всем угодить партнеру, чтобы тому не к чему было придраться, она пытается разрядить накапливающееся напряжение, считая, что ответственность лежит на ней. Иногда удастся потушить начинающийся скандал, но через какое-то время он вспыхнет с еще большей силой. Эта стадия может длиться минуты или месяцы. Нарастание напряжения может происходить волнообразно, и у всех участников ситуации накапливается усталость от пропитанной агрессией атмосферы. Часто женщина чувствует, что не в состоянии контролировать происходящее в семье. *Именно на этой стадии она ищет помощь вне семьи: у родственников, друзей, специалистов.*

2. Стадия активного насилия

На второй стадии скопившееся напряжение выливается во

взрыв, т. е. совершается акт насилия в любой форме. Почти всегда это происходит в отсутствие посторонних и может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Насилие может быть физическим, сексуальным или принимать различные смешанные формы, почти всегда сопровождаясь оскорблениями и унижением. Очень часто обидчик перекладывает вину за происходящее на жертву, хотя *пострадавшая не виновата в совершающемся насилии*. Она так же не виновата, как и человек, идущий по улице, не виноват в нападении на него грабителей. На этой стадии и насильник, и пострадавшая уже не могут отрицать существование насилия, но все равно они склонны преуменьшать его серьезность. Многие женщины заранее чувствуют приближение этого момента, и возникающий от этого страх заставляет некоторых из них ускорять развязку, как бы «провоцируя» насильника. Однако что бы они ни делали, агрессор сам выбирает момент для нападения. Важно помнить об этом, так как, сталкиваясь с ситуацией домашнего насилия, многие склонны считать, что пострадавшая сама спровоцировала насилие.

3. Стадия раскаяния

К третьей стадии относится период раскаяния и относительного спокойствия, когда насильник сожалеет о содеянном. Он просит прощения, одаривает женщину подарками, становится добрым и внимательным, во всем помогает ей и заботится о ней. Он делает все, чтобы загладить свою вину. И он может быть искренним в этом. Пострадавшая узнает в нем того человека, которого она когда-то полюбила. Она верит ему, его обещаниям никогда больше не совершать насилия. Именно эта стадия создает иллюзию у пострадавших, что возможно улучшение их жизни, что партнер наконец все осознал и готов измениться. В других парах это может происходить немного по-другому, эта стадия является передышкой. Он может во всем происшедшем обвинить женщину, доказав ей, что это именно она «допекла» его, спровоцировав на насилие. Но при этом он обещает ей, что больше такого не будет и он будет «держаться в руках». Долго эта стадия продолжаться не может: обидчик снова накапливает какие-то проблемы, порождающие его агрессивность, которую он опять начинает выплескивать в семье. Все, круг замкнулся, опять наступает стадия нарастания напряжения. *С течением времени период примирения уменьшается и может исчезнуть совсем, лишив пострадавших от насилия передышки.*

Американские исследователи Дж. Готтман и Н. Якобсон, которые в течение 8 лет наблюдали за динамикой отношений внутри 63 супружеских пар, имеющих проблемы с насильственными ситуациями в семейной жизни, выделили в конце своего уникального эксперимента общие для всех принципы, которым эта динамика следует:

- Все обидчики похожи друг на друга: они непредсказуемы, не поддаются никакому влиянию, исходящему со стороны их жен, и практически неуправляемы в ситуациях, когда семейный скандал начинает набирать силу.

- Пострадавшие в результате насилия женщины зачастую далеки от состояния пассивности и подчиненности; иногда они испытывают то же чувство злости, что и обидчики, но женщины практически никогда не транслируют насильственных действий.

- Обидчики могут быть классифицированы по двум основным типам:

- мужчины, чья раздражительность постепенно и достаточно медленно возрастает до насильственного акта;

- мужчины, которые вспыхивают практически мгновенно.

Эту разницу в типологии обидчика особенно важно знать женщинам, собирающимся оставить своего мужа или партнера.

- Эмоциональные оскорбления играют основную роль в ситуациях домашнего насилия, подрывая уверенность женщин в себе.

- Домашнее насилие может уменьшиться само по себе, но никогда не прекращается.

- Обычно женщины покидают обидчиков на пике насильственной ситуации, невзирая на реальную опасность для своей жизни.

Последствия домашнего насилия

Основное отличие домашнего насилия от других видов насилия заключается в том, что оно происходит *между людьми, состоящими в близких или родственных отношениях*, которые рассматриваются как безопасные и даже *считаются защитой и поддержкой*. Любое проявление домашнего насилия является серьезной психологической травмой для пострадавшей. Даже отдельные случаи насилия могут нанести глубокую рану и прямой вред жертве или свидетелю акта насилия. Повторяющееся насилие ведет к значительным разрушениям личности пострадавшей. Суть переживаемой травмы состоит в потере контроля над собой, своей

жизнью, телом, чувствами, разьединении с другими людьми (изоляции). Возникший травматический опыт деформирует способность доверять людям, принимать самостоятельные решения, быть уверенной в себе, компетентной, инициативной.

Постоянно совершаемое домашнее насилие нарушает все эти предположения, и многие представления о мире распадаются. Опыт пострадавшей говорит, что мир вовсе не безопасен. Окружение и люди непредсказуемы. Человек узнает, что может подвергнуться неразумному и жестокому действию безо всякого предупреждения, что, казалось бы, в самом безопасном месте в этом мире с ним происходят страшные события. Чем сильнее травма, тем более тяжелые и длительные последствия она вызывает. У женщин, подвергающихся насилию в семье в течение многих лет, может сформироваться синдром избиваемой женщины, который проявляется состоянием беспомощности пострадавшей, вынужденной терпеть невыносимые унижения и побои и молчать при этом, возникает чувство постоянного страха, хронического напряжения. Иногда пострадавшие не выдерживают такого прессинга и в состоянии срыва могут убить своего мучителя. Вышеизложенное подтверждают цифры: в 1997 году 3 тысячи женщин в России убили своих партнеров, но в 9 из 10 случаев они ранее в течение долгого времени сами подвергались насилию.

Как показывают наблюдения и экспериментальные данные, пострадавшие от насилия в семье долго переживают острое состояние травматического стресса и по окончании воздействия стрессовых факторов. При этом возникает состояние посттравматического стресса, что затрудняет их адаптацию к обычным условиям жизни. В результате у пострадавших развивается синдром посттравматических стрессовых нарушений (PTSD-синдром).

Каждый человек по-разному справляется с последствиями травмы, и чем чаще она повторялась, тем дольше будут длиться болезненные реакции. Учитывая тяжесть психологической травмы, полученной от домашнего насилия, важно поддержать обратившуюся к вам женщину. Ведь обсуждение случившегося с ней является фактом признания проблемы и помогает ей избавиться от изоляции, которая создается атмосферой насилия.

Различают и другие последствия насилия в семье.

Социальные последствия

- Насилие — предпосылка других социальных бед: детской беспризорности, проституции, наркомании и др.

Насилие из семьи выплескивается в общество: дети, выросшие в семьях, где совершалось насилие, даже если они были просто его свидетелями, став взрослыми, гораздо чаще совершают преступления против личности. Кроме того, усвоенные методы насильственного поведения (либо жертвы, либо насильника) с большой вероятностью будут практиковаться ими в своей семье. Насилие становится семейной «традицией», своего рода «наследственным заболеванием».

- Потери человеческих жизней в результате убийств женщин, детей и подростков или их самоубийств.

Экономические последствия

Колоссальные денежные суммы расходуются на оплату услуг милиции и судов, органов здравоохранения, оплату больничных листов, на содержание приютов для женщин и детей, социальное страхование. По данным статистики, в Канаде за один год расходуется 32 миллиона канадских долларов за вмешательство полиции в инциденты с избиением жен.

Общество несет потери производительных членов общества вследствие нарушения психического и физического здоровья женщин, низкого образовательного и профессионального уровня.

Статистика

Хотелось бы немного сказать о тех, кто приходит к нам, о том, какие они — наши клиентки. Приведу цифры нашей статистики за 2001 год. Среди обратившихся в КЦ «Екатерина» 91 % — женщины. Самый распространенный вид насилия (96 %) — эмоционально-психологическое; 45 % пострадавших терпят истязания, побои, угрозы убийством; 42 % лишены собственных средств к существованию, переживают экономическую зависимость; 8 % пострадали от неоднократного сексуального насилия.

Больше половины обращающихся за помощью женщин (53 %) подвергаются сразу нескольким видам насилия.

Основной возраст наших клиенток (63 %) — от 26 до 45 лет. От 19 до 25 лет — 17 %, от 46 лет и старше — 9 %.

Каждая вторая клиентка (55 %) имеет высшее образование, 25 % имеют специальное среднее образование.

Кто же насильники? В 57 % случаев насильником является муж или партнер, в 24 % домашним тираном выступает мать, в 17 % — отец или отчим.

Если говорить обобщенно, то за 2001 год на очных консультациях психологов и юристов нашего центра побывало 878 человек, на ТД обратилось 404 человека. Из 348 обращений к юристу только в 20 случаях (6 %) были возбуждены уголовные дела по факту побоев, причинения тяжкого вреда, телесных повреждений, истязаний, угроз убийством. Из них 2 уголовных дела прекращены за недоказанностью, 1 уголовное дело прекращено на стадии предварительного расследования, 2 — в связи с примирением сторон, 1 — приостановлено.

Особенности работы с пострадавшими от домашнего насилия

В случае обращения жертвы насилия за помощью необходимо предпринять следующее:

- Выяснить, в безопасности ли сейчас клиентка. Если ситуация угрожает жизни и здоровью, необходимо помочь сделать ее по возможности неопасной. Если есть серьезные травмы (иногда в шоке клиентка неверно оценивает состояние своего здоровья), рекомендуется вызвать скорую помощь и милицию.

- Поверить, принять, признать ее переживания и опыт.

- Подчеркнуть, что она не виновата в случившемся насилии. Партнер / муж несет ответственность за совершенное. Он не имеет права поднимать на нее руку ни в коем случае.

- Проявлять на протяжении всего разговора поддержку, открытость, готовность обсуждать любые темы, человечность.

- Признать двойственные чувства пострадавшей к насильнику: ненависть / любовь, доверие / недоверие, и т. д.

- Помочь клиентке нормализовать ее опыт: прошлое нельзя изменить, но она способна исцелиться и вернуться к нормальной жизни. (В большей степени это относится к переживанию первичного насилия со стороны партнера.) В случае постоянного домашнего насилия происходит обратное: женщина может решить, что происходящее в ее семье — обычное явление.

- Предупредить клиентку о возможной негативной реакции со стороны людей, которым та расскажет о своей беде. Проработать с ней эту ситуацию.

- Позволить клиентке изучать и анализировать все возникающие у нее чувства. Выделить наиболее сильное чувство, эмоцию и проработать ее.

- Рассказать о теории домашнего насилия. Помочь осознать, что каким бы ни было поведение пострадавшей, обидчик найдет повод, чтобы разрядить скопившееся у него напряжение, и что она не несет ответственность за характер и поведение мужа / партнера.

- Обсудить возможные изменения в семье. Предоставить информацию о том, что она может предпринять. Дать понять, что муж может понести уголовную ответственность за свои насильственные действия.

- Разработать совместно с клиенткой план безопасности.

- Составить план действий по решению важнейших проблем, вызванных насилием в семье.

Насилие в семье — огромная беда как для пострадавших от него, так и для общества. Заложниками в своем доме оказываются в основном женщины и дети. До сих пор научное сообщество мало изучало такое большое явление, не уделяло ему должного внимания. Все хотят жить в демократическом обществе, свободном от насилия, но это невозможно до тех пор, пока насилие живет в семьях, откуда все мы родом.

Раздел 3

Культурные практики и конфликты в современной городской семье

С. Е. Вершинин

Конфликт гендерных этнических стереотипов: может ли быть счастлива немецко-русская семья?

Гендерные аспекты эмиграции из постсоветской России в страны Западной Европы, и в частности в Германию, недостаточно изучены¹. В средствах массовой информации нередко говорится об утечке мужского интеллекта и женского тела, причем последнее упоминается в основном в связи с криминальными ситуациями². Между тем большое число³ русских и русскоязычных женщин⁴ попало в Германию в 1990-х годах в результате замужества, по брачным объявлениям и т. д. Некоторые из них развелись, многие продолжают жить в браке, но создалась странная ситуация, напоминающая ситуацию черного ящика: фиксируются данные на входе и выходе, но не анализируется сам феномен межэтнических браков с точки зрения социокультурных стереотипов. Ниже мы попытаемся осветить некоторые проблемы взаимодействия представителей немецкой и русской культур. Говоря о немецком мужчине, будем использовать обозначение НМ⁵, а о русской женщине — РЖ.

Исходную ситуацию, которая требует самостоятельного анализа, можно охарактеризовать как некоторую асимметрию гендерных предпочтений немецких мужчин и немецких женщин. Традиционные представления о трех «К», когда-то определявших самоидентификацию немецкой женщины, давно сменились многообразием ролей и образцов поведения. Немецкая женщина самостоятельна, экономически независима и в случае сложных жиз-

ненных ситуаций может рассчитывать на помощь государства. И хотя лишь 18 % молодых немецких женщин считают себя феминистками⁶, тем не менее возникает асимметрия взаимного восприятия: официальная социальная политика уравнивания немецких женщин в правах⁷ наталкивается на традиционный консерватизм немецких мужчин. Немецкие мужчины ищут соответствие своим консервативным установкам и находят его в секс-турах в азиатские страны и в браках с женщинами из Восточной Европы. Можно говорить о гендерных «Дранг нах Остен» немецких мужчин и обратном «Дранг нах Вестен» русских женщин.

Какие скрытые мотивы и стереотипы выявляются в межэтнических браках, позволяющих немецким мужчинам обрести, как им кажется, свою вторую половину благодаря русским женщинам? Ниже мы попытаемся ответить на этот вопрос, представив — сознательно в острой форме — различные аспекты межэтнических гендерных взаимоотношений.

I. Позиция НМ

А. *Комплекс явного или мнимого превосходства.* К явным достоинствам НМ относится, с точки зрения РЖ, готовность взять на себя роль кормильца и тем самым обеспечить женщине комфорт и высокий уровень жизни. В поведении такого НМ проявляется стремление нести ответственность за семью, выполнять взятые на себя обязательства, непосредственно участвовать в воспитании детей и т. д. При этом сила НМ — это не только его собственный успех в бизнесе и карьере, это еще и сила германского государства, обеспечивающего и гарантирующего определенный уровень удовлетворения основных потребностей. Система как бы усиливает его мужскую привлекательность, хотя за ней иногда может и отсутствовать личностный момент. В этом случае разрыв между собственной несостоятельностью и внешней презентабельностью компенсируется демонстрацией разного рода возможностей (отдыха, качества жизни и потребляемых услуг).

Позиция превосходства НМ над РЖ связана не только с различием материального положения, но и с незнанием эмигранткой особенностей поведения на работе, в обществе, в быту, на отдыхе. Эта неуверенность проходит в течение нескольких лет, но первоначально она привязывает женщину к мужчине. НМ в этой ситуации чувствует себя покровителем и хозяином положения. Он объясняет поначалу робкой эмигрантке правила и формы поведе-

ния в тех или иных местах — и объяснение достаточно банальных вещей превращается в некое фундаментальное откровение, в ходе которого НМ начинает ощущать себя мессией и мудрецом.

Позиция экономического и лингвистического превосходства автоматически переносится на другие сферы, в частности культуру. Однако здесь обнаруживается явное несоответствие: РЖ часто хорошо образована, обладает широким кругозором и способна поддержать содержательный разговор на любую тему. Школьное — пусть даже и усеченное — советское воспитание на примерах из русской литературы являлось доминирующим и в некоторых случаях формировало романтическое мироощущение. В более общем плане оно приводило к восприятию действительности и различных ситуаций через призму образов художественной литературы и искусства. Это вызывает удивление у НМ, которое затем выливается в различные стратегии супружеского поведения — от подавления такой яркой индивидуальности, наталкивающейся на жесткий прагматизм супруга, до гордости ею и демонстрации своим друзьям и знакомым. Таким образом, причиной внутрисемейных проблем становятся различные представления о мужской и женской ролях в семейном союзе. Конечно, роль покровителя нравится НМ и может совпадать с представлениями РЖ (счастливый, но достаточно редкий случай), но насколько это эффективно в перспективе? Насколько роль РЖ как пассивной и безропотной исполнительницы воли НМ будет адекватна возникающим трудностям ее социальной адаптации? Поэтому почти каждая РЖ оказывается перед необходимостью индивидуального разрешения антиномии «активность — пассивность» как в широком социальном, так и в узкосемейном аспекте.

Наконец, внутрисемейная коммуникация наталкивается на различные представления о способах гендерных взаимоотношений. В Германии партнеры по совместной жизни стремятся к общему обсуждению своих проблем, рассказывают о своей прошлой любви, не делают тайны из предыдущей жизни, говорят прямо об ошибках партнера и т. д. В России же рефлексия по поводу собственных и чужих переживаний часто бывает подозрительна: о чем-то говорить значит обострять, усиливать, навлекать и т. д. Рефлексивное говорение приобретает мистический характер приближения беды или оживления прошлых несчастий. Умалчивание становится способом ухода от прошлых, настоящих и будущих конфликтов. В результате при возникновении сложных внутрисе-

мейных ситуаций происходит столкновение немецкой рефлексивной рациональности с русской интуитивной эмоциональностью. Снова обостряется конфликт представлений: то, что НМ может сказать со всей прямоотой, РЖ воспримет как оскорбление или вызов⁸. Честная рефлексивность НМ будет квалифицирована РЖ как его моральная ограниченность. Подводя итог, отметим, что позиция превосходства НМ так или иначе подвергается корректировке в ходе семейной жизни. Надежды НМ на покорность, спокойствие, бесконфликтность РЖ очень часто развеиваются, особенно если супруге удастся получить германское гражданство.

Б. Позитивность против страдания. Акценты в мировоззрении: немец ориентирован на *позитивное* восприятие жизни, он готов узнавать об успехах и приобретениях других, рассказы о трудностях он выслушивает, но без внутреннего сочувствия. Он бессознательно избегает страданий и стремится к удовольствиям — будь то постоянное поглощение пищи, национальных напитков или зарубежных пейзажей. Разговоры о человеческих недостатках и собственных проблемах могут восприниматься многими НМ как признак слабости. И напротив, для РЖ рассказы немцев о своей жизни либо дидактичны, либо чисто информативны, либо воспринимаются как ставшая почти автоматической самореклама. В то же время для РЖ страдания соотечественников могут стать поводом для возникновения неких доброжелательно-терапевтических отношений — хотя, как известно, русские иммигранты зачастую стараются избегать общения друг с другом за границей.

II. Позиция РЖ

Прибывая в одну из самых высокоразвитых и богатых стран Европы, РЖ испытывает удивление — не просто от новизны впечатлений, незнания или наивности. Особенности ее мироощущения, обусловленные различиями немецкой и русской культур, могут быть обозначены следующим образом.

А. Гендерный вакуум. После прибытия в любом качестве в Германию русская женщина вдруг начинает ощущать некий своеобразный — по сравнению с Россией — вакуум в отношении к ней окружающих мужчин. Если в России любое мужско-женское взаимодействие в различных социальных сферах сопровождается в большей или меньшей степени мужской визуальной агрессивностью, то в Германии это почти отсутствует — мужчины-прохожие не вглядываются оценивающе, коллеги не подают руки при выхо-

де из машины или трамвая. На первых порах это лишает РЖ уверенности, заставляя пристально вглядываться в немецкое зеркало и спрашивать себя, не произошли ли с ней необратимые перемены. Этот синдром со временем исчезает, особенно если РЖ узнает, что данный феномен связан с политкорректностью и с национальной традицией сдержанности в выражении чувств. Но ощущение вакуума может сохраняться достаточно долгое время — ибо гендерный вакуум уступает место эмоциональному и нарративному. Отсутствие подруг, обеспечивавших эмоционально-компенсаторную поддержку РЖ в кризисных ситуациях, пресловутых «женских разговоров» как способа построения собственной идентичности является одним из факторов, осложняющих жизнь РЖ. Мы не говорим уже о недостаточном знании языка страны пребывания, значительно затрудняющем именно повседневное существование.

Б. *Дежа вю*. Попав в Германию и освоившись с языком и традициями, РЖ постепенно начинает понимать глубинные смыслы происходящего и у нее появляется ощущение того, что все это она уже где-то видела и слышала. Содержащийся в предвыборной программе канцлера ФРГ В. Шредера призыв к созданию групп продленного дня в школах (и это было последним словом немецкой социал-демократии в 2002 году!)⁹ для русской женщины выглядит довольно странно, учитывая русско-советский и постсоветский опыт системы школьного образования. Потом РЖ узнает, что только в 1977 году в ФРГ законодательно было закреплено право женщины работать, даже если супруг и против этого. После этого был отменен параграф 1356 гражданского законодательства (BGB), определявший домашнюю работу как долг (!) женщины¹⁰. При этом сохраняется традиция ущемления прав женщины — вплоть до сегодняшнего дня, даже у молодежи¹¹. Тем самым представление РЖ о Германии как о стране будущего начинает вдруг корректироваться представлением о наличии неких рудиментов в социальной сфере — по сравнению с советской и постсоветской Россией.

III. Взаимодействие позиций НМ и РЖ. В ходе совместной супружеской жизни с течением времени обнаруживаются линии раскола по следующим направлениям.

А. *Порядок или изменение*. Здесь проявляется первое различие: немец ориентирован на стабильное соблюдение правил, порядок для него — одна из самых важных ценностей. На поддер-

жание порядка¹² уходят зачастую все силы, любое его нарушение воспринимается болезненно, по крайней мере представителями среднего и старшего поколений. Все отклонения от норм приравниваются едва ли не к мировой катастрофе, что приводит к индивидуальным или групповым срывам в консерватизм, национализм, ксенофобию и т. п. Это позволяет некоторым авторам утверждать, что в основе порядка лежит страх перед хаосом¹³.

Однако порядок не может быть представлен как некое упрощение. Принцип экономии мышления — это, скорее, русский национальный архетип максимизации эффекта при минимуме ресурсов и собственных усилий. Немецкий же принцип — это непрерывное усложнение создаваемого: от садовой скамейки до автомобиля, не говоря уже о совершенствовании социальных отношений. Однако немецкая отрегулированность экономической и социальной сфер не может не вызывать чувства, по меньшей мере, удивления¹⁴. РЖ, напротив, способна как гибко приспособиться, так и изменить существующее положение дел. Жизнь на родине приучила ее к каждодневной перемене ситуации, спонтанному реагированию на неожиданно возникающие трудности. Как известно, зачастую мелкая бытовая проблема в постсоветской России превращается в глобально-экзистенциальную, что приводит к формированию стратегически-инновационного и динамичного мышления, поднимающего с уровня повседневности на уровень мировоззрения. Парадоксальным образом бытовые трудности становятся одним из источников формирования специфической российской ментальности. Поэтому российская женщина спокойно относится к самому факту изменений и может стремиться к ним, зачастую воспринимая порядок как необходимый, но скучный фактор немецкой жизни¹⁵.

Это особенно заметно в сфере контроля за бытом: здесь русская женщина изначально проигрывает немецкой — ибо, если не учитывать период анархической юности многих немецких девушек, традиции «германской чистоты» сильны и переходят по наследству. РЖ изначально, с точки зрения НМ, менее аккуратна, чем немецкая, — не в силу индивидуальных особенностей, а из-за отсутствия, прежде всего в предшествующей советской культуре, внимания к быту, устойчивых традиций и национального консенсуса по многим вопросам домашнего хозяйства (как и чем мыть посуду, пол, окна, машину, как делать уборку в комнате, доме, саду и т. д.). Так мы подходим к новому аспекту порядка.

Б. *Gemuetlichkeit* против духовности. Порядок переходит в так называемую «*Gemuetlichkeit*». Русским интеллектуалам, которые тешат себя иллюзией непереводимости термина «духовность», немцы могут предъявить вышеуказанное понятие. Оно означает гармонию, уют, обустроенность. То, что высмеивалось как «бюргерство» «мещанство», на самом деле оказывается неукротимой жаждой немцев к переустройству всего и вся. Эта одержимость, оказывающаяся пагубной в политике, в быту дает чудесные результаты в виде города-сада, удобной жизни, очевидности и беспроблемности повседневного существования. Поэтому какая-нибудь литературоцентричная РЖ с ее широтой интересов может легко капитулировать перед немецким комфортом и возможностью потребления всяческих благ. Счастье потребления подавляет радость интеллектуального развития. Так немецкая «гемютлихкайт» побеждает русскую духовность в душах многих новоприбывших РЖ.

Однако при этой капитуляции происходят странные вещи. Немецкое сознание не терпит пустоты, стремясь заполнить все вокруг себя: украсить стену в доме фотографиями, высадить деревья вдоль своего участка или дороги, исследовать до конца некий природный или социальный феномен. Плотность, насыщенность социокультурной среды, наличие огромного количества литературы по любой теме, тотальная регламентированность социальной жизни создают непрерывное ощущение границ. Это приводит иных свободолюбивых немцев к впечатлению от Германии как о культурном гетто, из которого стремятся выбраться, зачастую обращая свои взгляды то на Америку (Северную и Южную), то на Россию. В этом аспекте, например, русская провинция с ее ресурсом пространства обладает неодолимой привлекательностью для немца, желающего эмансипироваться или внедрить в зарубежный хаос нечто прибыльное и разумное. «Гемютлихкайт» стремится вырваться за свои собственные пределы. Поэтому «Дрангах Остен» — это не злая политическая воля или коварный заговор немецких империалистов, а вечная немецкая болезнь. Эта последняя, как правило, излечивается личным опытом пребывания, приводящего к крайним оценкам (середины здесь нет): или немецкая душа навсегда остается в России (на Урале, в Сибири), что сопровождается непрерывными поездками в эту страну, или же наступает полное охлаждение, связанное с крушением собственных замыслов и несбывшимися надеждами.

Проявлением «гемютлихькайт» оказывается и тотальная *окультуренность природы*. Культура и натура в Германии — это не две сферы, противостоящие друг другу, как в России. Натура, природа побеждена культурой — во всех смыслах. В любом лесу, зайдя даже в самые, казалось бы, дебри, можно найти таблички на деревьях с указанием вида дерева, его возраста, маршрута дальнейшего пути и т. д.

Но эта победа оборачивается другой стороной. Германские леса умирают — и это признак экологического неблагополучия. Окружив себя изгородью из деревьев, отгородившись забором от автобана, можно создать иллюзию отрешения от мира. Но на самом деле нельзя спастись бегством, «уйти в леса», ибо леса прозрачны, сыры и самое лучшее, что можно сделать — это проехать их на велосипеде. Природа, даже в провинции, стала фоном для автомобильных прогулок, а настоящая немецкая провинция переместилась в Африку, Азию, Латинскую Америку. Именно там отдыхают немцы и именно там стремятся они обрести то, что на их родине давно потеряно — первозданную природу. Поэтому стремление РЖ «выехать на природу» оборачивается гулянием по опушке, ощущением дискомфорта и невозможности оторваться от цивилизации.

В. Тишина или шум. В качестве базовой социальной ценности немцев тишина — это признак гармонизированности социальных отношений (как экономических, так и политических), это ровная политическая интонация, без вскрикиваний и радикальных призывов и чудачеств. Как культурная ценность — это отличительная черта частного жизненного мира, признак обособленности и автономности, отдыха и наслаждения жизнью. Если работа — это говорение, то тишина — это подтверждение права индивида считаться отдельной личностью. Поэтому для немца одно из основных прав человека — это право на молчание и тишину. Право на молчание — не только фраза из западных полицейских сериалов, это и черта, присущая демократическому обществу. В социологическом плане это означает, что обособленные индивиды скрепляются воедино звуковым социальным пространством, основным свойством которого становится отсутствие звука. Наоборот, русский человек непрерывно маркирует социальное пространство своими возгласами и обнаруживает себя тем самым как социальное существо. В условиях атомизации постсоветского общества, когда распадаются прежние социальные институты и связи, имен-

но звук в самых разнообразных шумовых формах (бытовых, политических, досуговых и т. д.) становится свидетельством существования индивидов и групп — «я создаю шум, следовательно, я существую». За неимением реальной отдачи от приватизации происходит приватизация звукового социального пространства. Сохранение иллюзии социальности осуществляется посредством звука. Так, русский индивид отграничивает свой сегмент пространства от других, и тем самым механизм образования социальности складывается несколько иначе, нежели в немецкой традиции. Поэтому свойственное русской женщине стремление к производству различных шумов, легитимное в рамках ее родной культуры, может оцениваться НМ негативно. Ресурс тишины становится поводом и полем для межэтнических конфликтов.

Одним из наиболее характерных примеров этого является различное отношение к телевидению. Многих иностранцев, приезжающих в Россию, удивляет (в лучшем случае) непрерывно работающий в доме телевизор — даже когда его не смотрят. Телевизор становится членом семьи, другом, он создает ощущение жизни, соединяя разрозненных зрителей с «Большим обществом». Телевидение — при снижении значимости книг, газет и журналов в жизни основной части населения — становится не только основным СМИ, но и одним из главных способов преодоления атомизации постсоветской социальной жизни, а также синтезатором воображаемой России как единого государства.

В России работающий телевизор больше, чем просто телевизор, и потому выполняет символические социальные функции — объединения, солидарности, идентификации и т. д. Напротив, немецкий подход к просмотру телепередач отличается функциональностью и прагматичностью. Таким образом, различные представления о роли телевидения в приватном повседневном пространстве могут стать источником определенных разногласий.

Г. *Немецкая толпа*. Интересным для РЖ оказывается и поведение немецкой толпы во время праздников или каких-либо политических мероприятий. Когда в ходе революционных изменений в ГДР осенью 1989 года на улицы выходило 50–70 тысяч человек и не случалось ни одного происшествия, эксперты и наблюдатели бывали озадачены. Известный восточногерманский психолог Ханс Маац написал книгу «Затор чувств»¹⁶, где доказывал, что это следствие эмоциональной зажатости восточных немцев. Однако здесь могут быть обнаружены и более глубокие корни.

Наблюдения не только за манифестирующей, но и праздничной немецкой толпой показывают наличие некоторых национальных поведенческих отличий¹⁷ — даже в таких условиях люди держатся обособленно, соблюдая определенную дистанцию по отношению друг к другу, независимо от степени трезвости. В этом смысле немецкая толпа отличается от русской, и потому нахождение в ней может доставить эмоциональное и эстетическое удовольствие. Однако интеллигентная РЖ, всегда чувствовавшая опасность со стороны русской толпы, привыкшая сторониться и презирать эту последнюю, может отказаться от предложения немецкого супруга встретить какой-то праздник в «его» толпе.

Д. Досуг: гедонизм или садомазохизм. Немец готов путешествовать, однако везде он привносит себя самого и немецкие традиции туризма. Всеотзывчивость чужда ему, но оценить качество сервиса и эстетическую ценность культурных объектов он может весьма квалифицированно. Опыт туристических путешествий, их количество и качество становятся одним из главных критериев успеха в жизни и благополучия, основой статусного самоуважения. Русская же девушка может оказаться прирожденной «гермевткой» и будет стремиться к вчувствованию и переживанию увиденного (по крайней мере, так — патристически — хочется думать автору данной статьи).

Но главное не в этом — туристические поездки укрепляют немца в ощущении превосходства своей страны и культуры во многих аспектах современной жизни. Русского же туриста часто мучают мазохистские комплексы — ведь на Западе он попадает в будущее, а возвращается назад, в прошлое, в котором ему предстоит жить с пониманием того, что будущее отделяют лишь несколько часов полета. И если для зажиточных русских мещан эта пространственная дистанция не перерастает в непреодолимую временную, то у низшего среднего класса она вызывает многочисленные проблемы. Поэтому первоначально РЖ трудно отделаться от подспудного сравнения с исторической родиной и воспринимать происходящее непосредственно. Болезненные воспоминания о своих родственниках могут омрачить ей удовольствие от поездки.

В заключение следует подчеркнуть, что предпринятая попытка выявления гендерных этнических стереотипов и этнических очевидностей носит характер постановки проблемы и очерчивает контуры достаточно серьезного явления. Автор не преследовал

цель скомпрометировать немецкого мужчину или призвать к чему-то русских женщин и оставил вне рамок анализа интересную тему межэтнических союзов между немецкими женщинами и русскими мужчинами.

Речь идет о другом: межэтнический брак в значительной степени подвергает сомнению гендерную этническую самоидентификацию. Столкновение культурных стереотипов и представлений о счастье и семейной жизни означает столкновение тех моральных, этических, эстетических очевидностей, в которых живут супруги. И очень часто этот конфликт, встреча двух утопий семейного счастья заставляет РЖ менять свои предпочтения, свою идентичность, учиться жить в новых очевидностях или же уходить в глухую культурную изоляцию, приводящую к серьезному психическому и мировоззренческому кризису. В сфере семейной жизни различия национальных менталитетов могут приобретать болезненный характер, и потому необходим диалог не только на уровне Большой Культуры, но и на уровне культурной повседневности. Это поможет преодолению множества предрассудков, пока еще существующих в немецком и русском массовом общественном сознании.

¹ Глубокие наблюдения и обобщения по поводу женской эмиграции из России можно найти у психолога О. Махновской, автора книги «Соблазн эмиграции, или Женщинам, отлетающим в Париж» (М., 2003).

² По данным авторитетного германского журнала «Шпигель», примерно половина из 400 тысяч женщин, занимающихся проституцией в ФРГ, является иностранками. Среди официально обнаруженных и исследованных в 2001 году 987 случаев торговли женщинами статистика по регионам выглядит следующим образом: 9,9 % жертв этой торговли прибыли из Африки и Азии, 21,1 % — из других регионов мира, а 69 %, т. е. большинство — из Восточной Европы. Среди последних: 7,4 % русских женщин, 14,2 % белорусских, 13 % украинок, 8,5 % поляк, из Литвы — 12,1 %, из Латвии — 4,1 %. См: Spiegel. 2003. № 26. S. 45–46.

³ По данным газеты «Иностранец». ежегодно Россию покидают до 50 тысяч женщин репродуктивного возраста (см.: Иностранец. 2002. № 17. С. 3). Однако это лишь официальная информация. Каковы размеры неофициальной брачной эмиграции, трудно сказать. Что касается мотивов брачной эмиграции и отношения к ним российских женщин, то здесь можно сослаться на результаты исследования «Женщина новой России: какая она? Как живет? К чему стремится?», проведенного в 2002 году в 12 регионах Российской Федерации рабочей группой ИКСИ РАН (объем выборки составил 1406 человек) (см. об этом: <http://www.ispr.ru/SOCOPROS/>). Приведем выдержку из этого интересного исследования: «... если в целом среди опрошенных на вопрос *“Как Вы относитесь к тем, кто выходит замуж за иностранцев и выезжает из страны?”* отвечали, что сами хотели бы так

поступить, всего 7,5 % россиян, то среди женщин с неполным средним образованием соответствующий показатель был 16,2 %, со средним общим — 11,0 %. Примерно в этом же диапазоне (11–14 %) он находился у разнорабочих и самозанятых, а также обитательниц общежитий и коммунальных квартир в крупных городах. В этих же группах был и наибольший процент тех (16–22 %), кто считал, что вышедшим замуж за иностранцев повезло в жизни, хотя сами опрошенные к этому и не стремились. При этом среди студенток, например, доля тех, кто хотели бы выйти замуж за иностранцев, составляла всего 5,8 % (при 10,8 % в возрастной группе 17–20 лет в целом), а среди тех женщин, кто имел за плечами аспирантуру или ученую степень, не нашлось ни одной, кто бы к этому стремился» (<http://www.ispr.ru/SOCOPROS/socopros113.html>).

⁴ Здесь следует обратить внимание на одно принципиальное недоразумение, связанное с переводом названия нашей страны на немецкий язык. Россия в переводе на немецкий звучит как «Russland», что буквально означает — «страна русских». Тот акцент на политико-географическом аспекте, который появляется в русском языке при замене буквы «У» на букву «О» (русский — российский, Русь — Россия) и тем самым снимает концентрацию смысла на этническом моменте, в немецком варианте отсутствует. Тогда становится понятным массовое отождествление этнического с географическим относительно России, которое приводит к тому, что любой человек, не принадлежащий к русскому этносу, но являющийся выходцем из России, автоматически обозначается как «русский». Поэтому для немца, не особенно интересующегося политикой и историей России, любая женщина из любой этнической группы будет — хотя бы первоначально — русской. Список недоразумений можно продолжать, но мы укажем лишь на еще одну, не только переводческую проблему: если в русском языке «еврей» означает принадлежность к определенной этнической группе, то в немецкой традиции «Jude» означает, прежде всего, принадлежность к определенной конфессии. Поэтому для немцев несколько затруднено понимание противоречий, возникших в последние годы в Германии между ортодоксальными и либеральными евреями-иммигрантами.

⁵ Здесь следует сделать две методологические оговорки. Речь идет, во-первых, об «идеальном типе» (в веберовском смысле) немецкого мужчины, поскольку практически невозможно обобщение реальных поведенческих особенностей представителей различных профессий и субкультур. Во-вторых, объектом анализа являются западные немцы («весси»), а не немцы из бывшей ГДР («осси»), где ситуация, на наш взгляд, выглядит сложнее — в силу известных исторических причин. Что касается общей статистики, то приведем выдержку из статьи Л. Мютцер: «Тенденция однозначна — межнациональные браки в Германии учащаются. Если в 1991 году 43 955 граждан ФРГ связали свою судьбу с иностранцем, то в 1999 пред алтарем предстало 58 569 смешанных пар. При этом немцы предпочитают женщин, рожденных, скажем так, восточнее с географической точки зрения, немки — женихов из более южных широт. В результате статистика дает следующие цифры: из заключенных в 1999 году смешанных браков роль невесты полька играла 5304 раз, русская — 2223 раз, тайландка — 2148 раз. Женихом соответственно 3971 раз был турок, 3314 раз — выходец из бывшей Югославии, 2005 раз — итальянец. Что же, по мнению специалистов, является причиной для такого интереса к партнерам “других кровей”? “Большинство мужчин надеются найти в азиатках и жительницах восточной Европы спокойных, бесконфликтных и вместе с тем чувственных жен, которые не будут конкурировать с ними в карьерном плане”, — считает Хильтруд Штекер-Цафари (Hiltrud Stuckel-Zafari), замдиректора франк-

фуртского Объединения по изучению билатеральных браков. А что касается любви немцев к «южанам», так тут первостепенное значение приобретает эмоциональность. Они производят на европейскую женщину потрясающее впечатление своей открытостью и немеческим темпераментом. Кроме того, мужчинам из теплых стран свойственно более серьезное отношение к семье в целом и детям в частности» (Русская Германия: Прил. к газете. 2002. № 64).

⁶ *Stern* S. Berufstaetige Frauen in Deutschland heute. Chancen, Hindernisse, Karrieren // Basis-Info. 1997. № 9. S. 15.

⁷ См. об этом, в частности: www.familie-deutschland.de; www.bmfsfj.de. Отметим также, что проблемы женщин и семьи отслеживаются специалистами и на уровне языковой политики. В ФРГ известен профессор Хорст-Дитер Шлоссер из университета во Франкфурте-на-Майне, по инициативе которого с 1991 года проводится ежегодная акция под названием «Unwort des Jahres», что можно приблизительно перевести как «Самое неудачное слово года». Свыше 10 тысяч человек из самых разных слоев населения прислали найденные и услышанные перлы западногерманских политиков, из которых жюри (состоящее из лингвистов и литературоведов) выбирало самые неудачные, т. е. нарушающие грамматику и логику здравого смысла, приукрашивающие действительность или искажающие исторические факты. Применительно к семье в поле критики попали следующие выражения: «Ein-Eltern-Familie» — «одно-родительная семья», «Frauenperson» — «женская личность», «neue Beelterung» — «новое ородительство» (когда вместо родителей, лишенных родительских прав, подбираются новые родители) (*Schlösser H. D. Lexikon der Unwoerter. Bertelsmann Lexikon Verlag, 2000. S. 16, 19, 36*). Разумеется, на русском языке трудно передать канцелярский оттенок подобных выражений, но пафос данной акции направлен на сохранение прозрачности и ясности немецкого языка, на борьбу против злоупотреблений политической пропагандой и бюрократической риторикой.

⁸ Этим соображением мы обязаны г-же К. Кур-Королевой, сотруднице германо-русского форума (Москва).

⁹ Проблема национальной специфики школьного образования ФРГ требует особого анализа — особенно в связи с провальными для немцев результатами глобального исследования «PISA» в 2000 и 2003 годах (так называемые «Пиза-2000» и «Пиза-2003»). Исследование «Пиза-2000» было инициировано Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) в Европе в рамках программы INES (Indicators of Educational Systems). Если в 2000 году упор был сделан на изучение навыков чтения, то в 2003 году в центре внимания находились математические знания, а в 2006 году внимание будет отдано изучению естественно-научных знаний 15-летних школьников в разных странах мира (см. более подробно: *Ковалева Г. С. и др. Изучение знаний и умений учащихся в рамках Международной программы PISA. Общие подходы* / Центр ОКО ИОСО РАО. М., 2001; *Ковалева Г. С., Нурминская Н. В. Изучение скорости чтения пятнадцатилетних учащихся: Аналит. отчет* / Центр ОКО ИОСО РАО. М., 2001). В данном аспекте анализа важно указать на следующее обстоятельство: после Второй Мировой войны, в качестве реакции на нацистский режим, воспитание и школьное образование были разорваны: воспитание снова стало делом семьи, церкви, общественных организаций, а на долю школы остался только процесс передачи знаний. Исследование «PISA», однако, показало неэффективность такого разрыва, и теперь немецкие педагоги возвращаются к тем установкам, которые давно существуют во Франции, Финляндии и которые в определенной степени сохранились в постсоветской России.

¹⁰ Stern S. Berufstaetige Frauen in Deutschland heute. Chancen, Hindernisse, Karrieren // Basis-Info. 1997. № 9. S. 2.

¹¹ Об отсутствии равноправия говорят как зарубежные исследователи (Крейг Г. Немцы. М., 1999. С. 156–183), так и сами немецкие женщины (действительного уравнивания в правах пока нет, считают в Германии каждые 3 женщины из 4. См.: Deutschland. Политика, культура, экономика и наука. 2002. № 4. С. 55). См. также результаты современного исследования «Молодые женщины — молодые мужчины», проведенного Германским институтом молодежи и министерством по делам семьи (www.dji.de). Про отображение женщины в немецком юморе в данном аспекте см., например: Анекдоты из Германии. Минск, 1999. С. 62–67, 69–71.

¹² См. о немецком быте: Федоров В. П. ФРГ: 80-е годы. Очерки общественных нравов. М., 1988. С. 152–173; см. также: Бобров В. А. ФРГ. Штрихи к портрету. М., 1978. С. 163–180.

¹³ См.: Зайдениц Ш., Баркоу Б. Эти странные немцы. М., 1999. С. 14.

¹⁴ Вот лишь один пример из русскоязычной прессы Германии: «А вот понятия “второй дом”, которым для многих из нас является дача, в Германии нет. У многих есть садовые домики, но оставаться на ночь в них запрещается. Если ночуешь — значит, имеешь дополнительную недвижимость. Одно из двух — плати за нее или налог, или штраф. И не вздумай... оставаться на ночь тайком. Соседи наступят непременно. В Германии строго определено, что можно сажать, а что — нет. Дикость. Но немцы на своих участках не имеют права просто так выращивать картошку. Вашу картошку необходимо застраховать, зарегистрировать — еще очень много чего нужно с ней сделать. Но самое главное — с каждой проданной картофелины необходимо заплатить налог. Никто ведь не знает, для красоты вы эту картошку выращиваете или для продажи. Штраф — до тысячи марок... Странно еще, что цветы разрешено сажать — тоже ведь можно продать. Тем не менее сажают...» (Стомахин И. Пиво, баранки и borschtsch // Иностранец. 2000. № 10. С. 5).

¹⁵ Подобная настроенность на стрессовые ситуации оборачивается в условиях бытового немецкого комфорта обратной стороной — если русский человек не сохраняет свое стремление к личной биографической динамике, то он деградирует в приватность и ограниченность. В результате возникает некий феномен поведения, который характеризуется гостями из России как «поглупение», «примитивизация» и т. д.

¹⁶ Maaz H-J. Der Gefuehlsstau — ein Psychogramm der DDR. Berlin, 1990. См. его же работу о психологических проблемах восточных немцев: Maaz H-J. Das gestuerzte Volk. Die unglueckliche Einheit. Berlin, 1991.

¹⁷ См. о языковых и культурологических лакунах: Антипов Г. А. и др. Текст как явление культуры. Новосибирск, 1989.

Е. В. Гредновская
«Лучше иметь живую дочь,
чем погибшего сына»:
современная семья в зеркале
транссексуализма

Предлагаемые вниманию читателя размышления вызваны двумя волнующими меня темами. Во-первых, это тема сокрытых, не лежащих на поверхности смыслов сущности брака и семьи. И во-вторых, это предмет моих постоянных исследований — феномен транссексуализма и его репрезентации в современной культуре. С этой точки зрения очень «удобной» для изучения моделью является ситуация перемены пола одним из членов семьи. Следует также отметить, что в дальнейшем я буду опираться на близкую мне критическую позицию относительно традиционных представлений о семье. Суть этой позиции сводится к тому, что семья не рассматривается как некая естественная и безусловная позитивность, которую в современный кризисный для нее период нужно либо выявить, либо восстановить, либо организовать. Представления о семье как ячейке общества, являющейся неперменным гарантом его стабильности, на мой взгляд, не соответствуют динамике общественных явлений и общекультурных сдвигов. Совершенно очевидно, что формируется некий новый гуманитарный стандарт семьи — образования искусственного и подверженного изменениям. Столь же очевидно, что этот процесс напрямую связан с процессом освобождения женщин, в силу чего призывы укреплять традиционные семейные ценности либо вообще вернуться к традиционной семье автоматически влекут за собой возврат к прежним представлениям о положении женщины. Во всяком случае, мое исследовательское «наложение» двух проблем — фено-

мена перемены пола и осмысление сущности семьи — позволяет развиваться размышлениям именно в этом направлении, что мне и хотелось бы показать в своей работе.

Итак, к настоящему моменту процедура перемены пола стала реальностью, получив юридически-правовой статус. Накопившийся опыт «половой коррекции», отраженный в СМИ, позволяет сделать следующий вывод: подавляющее большинство членов семей (родители, близкие родственники) оказываются не готовы принять испытания подобного рода [Плешакова 1996]. «Транссексуальность сделала меня сиротой, но я больше нуждалась в своем собственном Я, нежели в очаге родительского дома», — под этим признанием мог бы подписаться не один транссексуал [Гез 1991]. Таким образом, субъектам, совершившим половую трансформацию, приходится переживать так называемую социальную смерть, лишаясь очень многих связей, в том числе и семьи, разумеется, без каких-то гарантий создать свою собственную. Каким образом можно было бы объяснить подобные явления? Как можно интерпретировать «ячейку общества» в контексте описанной ситуации? На мой взгляд, проблему проясняет теория американского социолога Рэндала Коллинза.

Переосмысление брака как системы и идеологии [Градскова 1997], характерное для настоящего времени, происходило в различные эпохи. В своей «Неочевидной социологии» [Коллинз 2000] Р. Коллинз показывает, что оно было связано либо с трансформацией сферы производства (XIX век), либо с открытиями в области сексуальной жизни (например, создание противозачаточной «пилюли» во второй половине XX века), в результате чего женщины получили доступ к бизнесу и его управленческой сфере. Таким образом, Коллинз предлагает рассматривать семью с позиции товаризации сексуальности в условиях отношений собственности. Согласно его теории, именно отношения собственности являются основой семейного союза (право собственности на человеческое тело, или *сексуальная собственность*; право собственности на детей, или *поколенческая собственность*; право собственности на имущество, или *хозяйственная собственность*; в современной семье возникает еще и *эмоциональная собственность* как право на привязанность супругов, детей и родителей друг к другу). Все эти формы собственности не относятся к естественным, раз и навсегда установленным, так как собственность — это социальное отношение между людьми, дающее право кому-то из них совершать определенные действия с какими-то вещами и удерживающее других от пользования этими веща-

ми, а также готовность общества с помощью своих институтов обеспечивать эти права. С этой точки зрения сексуальность может быть собственностью и была таковой на протяжении всей истории человечества. Суть брачного контракта, таким образом, можно рассматривать как соглашение об исключительном праве на сексуальные отношения между двумя партнерами, как договор об эксклюзивном сексуальном доступе. Кроме того, по мысли Коллинза, семья представляет собой социальную ячейку, отражающую определенные политические взгляды на то, что считается желаемым и «нормальным», а также встроенные в них санкции за их нарушения. Чувства любви, ревности, сексуального влечения оказываются не настолько произвольны, как это обычно считается, а предопределены культурой.

Таким образом, совершенно очевидно, что половая трансформация есть посягательство на собственность как фундаментальную составляющую этой ячейки, а потому лишаящую ее самой основы. Специфика подобного вида посягательства на практически все формы собственности заключается в отказе от половой идентичности, прочитываемой как отказ от существующего типа социального отношения. Отречение от «навязанной» идентичности и устремленность к идентичности «подлинной» в обществе, построенном на отношениях власти и господства, оказывается предприятием рискованным и, во всяком случае, разрушающим сам стержень образования, именуемого семьей. Так явление, как будто имеющее отношение к индивидуальной судьбе и индивидуальному выбору человека, именуемое «коррекцией пола», буквально взрывает гендерные нормы и стереотипы, разрушая тем самым и социальный организм семьи. Так лучше ли иметь живую дочь, чем погибшего сына? К сожалению, пока некоторые родители предпочитают «погибших сыновей» и лишь единицы отваживаются идти наперекор обществу, оставаясь до конца со своими странными детьми в безвоздушном пространстве современного общества, еще не умеющего быть толерантным.

Литература

Гез С. Женщина и еще «чуть-чуть» // Эхо планеты. 1991. № 49.

Градскова Ю. А. Новая идеология семьи и ее особенности в России // ОНС. 1997. № 2.

Коллинз Р. Введение в неочевидную социологию // Антология гендерной теории. Минск: Прополис, 2000.

Плешакова А. Игра природы // Она — он. 1996. № 1.

О. Ю. Балеевских

«Семейные моды» российской молодежи:
от конфликта поколений
к толерантным практикам
семейной жизни

Многие современные явления в сфере семейных отношений: рост разводов, новые формы семейной жизни, однополые браки — являются следствием процессов распада традиционного типа семьи, расщепления прежнего единства «супружество — родительство — родство» на независимые части. Почему исчезают мотивы, побуждавшие вступать в брак и заводить детей? С чем связано изменение в понимании семьи? На каких ценностях основаны современные формы брака, насколько они отличаются от советских моделей семейных отношений? Какой образ жизни, виды труда и досуга, образцы поведения мужчин и женщин характерны для новой семьи?

Сопоставив значение семьи, отношение к ней и отношения в ней в СССР и в постсоветской России, проанализируем одну из наиболее распространенных моделей современных семейных союзов — гражданский брак.

Семья отражает ситуацию в обществе: изменение государственного строя, кризис советской системы ценностей привели к переменам и в общественной жизни в целом, и в личной жизни каждого. То есть в современных российских условиях семья не может сохранить прежние формы и прежнее содержание. Что же изменилось?

Ключевые категории сознания советского человека — родина, труд, семья. Более того, в системе советской идеологии семья рассматривалась как явление, подчиненное задачам, которые неиз-

меримо превосходили по своему значению задачи семейной жизни. Об этом свидетельствовало выдвижение официальной идеологией известного тезиса о семье как ячейке общества. Единственный реальный смысл этого тезиса — в подчинении семьи общественному целому, рассмотрение ее исключительно как средства для решения общественных задач, в контексте советской эпохи — задач партийно-государственных. То есть семья должна быть трудовой (труд вне и внутри дома) — служить на благо родине. В сознании советского человека родина и семья были соединены. Об этом говорят и известные словосочетания советского времени, например родина-мать, где родина отождествляется с одним из важнейших членов семьи.

Но постепенно, примерно с середины 1980-х годов, система координат (оси — любовь к родине, самоотверженный труд и крепкая семья), в которой закреплены жизнь и мышление советского общества, начинает расшатываться. И на протяжении 1990-х ценности меняются. Появляется множество жизненных стилей. Причем молодое поколение иначе расценивает значение семьи, брака, сексуальности, и об этом свидетельствует появление такой внеправовой формы совместного проживания, как гражданский брак.

В основном в гражданский брак вступают молодые люди в возрасте до 30 лет. Почему именно они склонны не регистрировать свои отношения? Как родители, воспитанные в строго определенной системе ценностей, предполагавшей полное неприятие подобной формы брака, могут допускать ее существование, и не где-нибудь, а у себя под боком — в биографии своего собственного ребенка? Что это — недостаток воспитания или «бесстыдство» [Падар 1999], а может быть, любовь или адаптация к современному социальному миру, столь не похожему на мир, в котором жили их 20–30-летние родители?

В глазах многих родителей неофициальный брак выглядит не иначе как «бесстыдством». Поэтому можно предположить, что, начиная строить семейную жизнь, молодые люди, прежде чем столкнуться с собственными семейными проблемами, встречают несогласие родителей — и вот уже разгорелся новый семейный конфликт (пока еще в семье родителей).

Это не просто семейный конфликт — это конфликт ценностей молодого и взрослого поколений, который является результатом процесса трансформации феномена «советского человека» в многоликий образ «россиянина».

В. Т. Лисовский утверждает, что кризис в российском обществе породил особый, нетрадиционный конфликт поколений. «В России он всегда касался философских, мировоззренческих, духовных основ развития общества и человека, базисных взглядов на экономику и производство, материальную жизнь общества. А сегодня поколение “отцов” оказалось в положении, когда передача материального и духовного наследия преемникам практически отсутствует... В российском обществе налицо разрыв поколений, отражающий разрыв исторического развития» [Гаврилюк, Трикоз 2002: 63].

Если выделять поколения «детей», «отцов» и «дедов», то, действительно, между ценностями молодого (дети) и старшего (деды) поколений — пропасть, так как биографиям старшего поколения свойственна поглощенность личной судьбы судьбой страны. А родительское поколение (35–45 лет), в отличие от своих «отцов», в целом неоднородно, оно разделяется на социальные группы именно по критерию ценностных установок. Некорректно характеризовать родительское поколение как традиционное, с устаревшей системой ценностей, ориентированное на коллективное, общинное сознание, ведь большинство родителей согласны с утверждением, что «быть яркой индивидуальностью лучше, чем быть как все». Многие родители поддерживают установки на инициативность, предприимчивость, новаторство в сознании и поведении, на выявление особенностей личности [Там же: 65]. Но не надо забывать, что вторая половина «отцов» придерживается противоположного мнения. Именно в семьях с такими родителями чаще всего и возникают конфликты.

Скорее всего, их основной аргумент против — общественное осуждение [Падар 1999] (поскольку в советском обществе гражданские браки не одобрялись). Причем осуждать будут не только молодых людей, но и самих родителей. И если для первых мнения соседей и родственников не важны (ведь их ровесники одобряют такой поступок), то для последних они очень значимы, так как их с детства учили, что личная жизнь не может быть счастливой, если ее осуждают в обществе. Кроме того, штамп в паспорте, по мнению родителей, — гарантия стабильности брака. Логическая цепочка следующая: брак, зарегистрированный в загсе, является законным, т. е. признанным государством и, соответственно, обществом, следовательно, и отношения, скрепленные подписью, будут устойчивыми (ведь государство для человека, выросшего в

СССР, — символ стабильности и прочности). Здесь работает и подсознательная вера в написанное, убежденность в его соединяющей силе. Но молодое поколение, осознавая сложившуюся в стране ситуацию (несформированность законодательной базы, нестабильность государства в целом), понимает, что любовь, доверие, ответственность за любимого человека, взаимопонимание и взаимоуважение важнее, чем показательная пышная свадьба.

Отметим также, что родители юношей легче соглашаются на гражданский брак, чем родители девушек. Это объясняется традиционным представлением о женской участи, зафиксированным в языке: девушка выходит замуж, т. е. за мужа, муж становится защитником и кормильцем ее и их будущих детей. Современные же девушки не согласны с таким положением дел. Они не стремятся выходить замуж, так как способны обеспечить себя сами, но хотят жить с любимым человеком на условиях полноценного партнерства. Получается, что родители, не разрешая дочери жить в гражданском браке, таким образом хотят уберечь ее от реалий самостоятельной жизни (ведь она же девочка, т. е. существо заведомо беспомощное). А родители юноши меньше противятся незарегистрированным союзам, так как считают, что, во-первых, он — будущий мужчина, значит, должен набираться опыта в организации семейной жизни, во-вторых, гражданский брак предполагает постоянную половую партнершу, что гарантирует минимум венерических заболеваний, столь распространенных среди современной молодежи.

Итак, неприятие детьми аргументов родителей говорит о том, что в целом молодое поколение не может адаптироваться к современным российским и мировым реалиям, основываясь на системе убеждений своих родителей. Изменения в сфере политики и экономики, происшедшие в последние годы, «подтолкнули» молодежь к выработке новых ценностей. Молодые люди сегодня опираются на свои силы и не полагаются лишь на обстоятельства, т. е. осознают, что осуществление жизненных целей в первую очередь зависит не от общества и везения, а от личных способностей, знаний и целеустремленности [Свиридов 2002]. Приоритет подобных ценностей означает, что человек будет думать сначала о себе, а потом уже о других (семье, друзьях, родственниках, стране). Поэтому гражданский брак как модель семьи определяется прежде всего индивидуалистическими ценностями.

Кроме того, при формировании собственной системы ценнос-

тей молодые люди ориентируются и на выбранные ими самими образцы для подражания, которые сегодня в большом количестве транслируются массовой культурой.

Обратимся к данным недавно проведенного исследования [Медкова 2002], которое было посвящено имиджу семьи, создаваемому СМИ через описание семей известных, популярных людей — так называемых «звезд». Модели семейного поведения, демонстрируемые «звездами», для многих (не только для молодежи) становятся образцами построения собственных семейных отношений.

Во-первых, все больше знаменитостей не регистрируют свой брак. Данная ситуация не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее — скорее наоборот, становится нормой. «Зачем нам штамп в паспорте, когда мы и так знаем, что любим друг друга?» — весьма распространенная в этой среде формулировка. Многие не отрицают возможности регистрации свободного союза, «когда проверят чувства». Нередко «супруги», долгое время живущие в гражданском браке, оформляют свои отношения спустя некоторое время после рождения первенца. Незарегистрированный брак избавляет знаменитостей от длительных бракоразводных процессов, всегда связанных с нежелательным для них разделом огромных состояний.

Во-вторых, распространены разводы. Причем карьера — причина распада большинства «звездных» семей.

В-третьих, увеличивается возраст, в котором обычно становятся родителями. Жизнь как бы делится на два условных периода — первый полностью посвящен карьере, а второй — у женщин он начинается обычно в 40 лет, у мужчин еще позже — отдыху от работы, семье и детям. Таким образом, рождение ребенка постоянно откладывается — беременность и роды «испортят фигуру», «сломают карьеру», из-за них можно упустить выгодный контракт или новый сценарий.

Итак, для большинства кумиров семья не является воплощением счастья. На первом месте — карьера, которой брак и дети (сегодня одно не подразумевает другое) могут помешать. Семья перестает быть символом стабильности: брак можно не регистрировать, если боишься громкого бракоразводного процесса и потери значительной части своего состояния (это больше свойственно зарубежным звездам), а если отношения оформлены, то можно и развестись. «Женщины-звезды» категорически отвергают мнение о том, что назначение женщины — воспитывать детей, утвер-

ждая, что дети мешают карьере, и предпочитают становиться матерями чем позже, тем лучше.

Но представления о семейном поведении можно найти не только в реальной жизни звезд, но и в современных русских песнях [Лебедь и др. 2002]. Речь в них обычно идет об остаточных или альтернативных формах полной семьи. Брак остается прежним — официальным (хотя его популярность в настоящее время невелика), но различные роли внутри семьи, отказавшейся от пожизненного союза (роли мужа, жены, матери, отца), находятся в конфликте друг с другом, что говорит об отсутствии гармонии в отношениях, девальвации семейного образа жизни. В песенном творчестве часто встречаются ситуации насилия, эгоцентристского поведения в семье, разобщенности родителей и детей (разрушается традиционная для семьи общность поколений, что выражается в ссорах между родителями и детьми и стремлении детей поскорее вырваться из дома: «В нашей семье каждый делает что-то, но никто не знает, что же делают рядом»). А современная семья часто изображается как нестабильная, неполная, малодетная, с «третьим лишним», неофициальная (с незарегистрированными отношениями), иногда нетрадиционной ориентации (гомосексуальные связи), при этом значимость родительства сильно потеснила значимость интимной сферы, сексуальности вообще и социальных форм ее проявления (супруги часто интерпретируются только как сексуальные партнеры).

Действительно, сегодня, когда говорят о назначении брака [Всемирная энциклопедия 2001: 130], то прежде всего выделяют обеспечение супружеского счастья посредством эмоционально-сексуальной и нравственной взаимной удовлетворенности, а потом уже вспоминают чадолюбие, материальное благополучие, постоянный духовный рост. Если же мы заглянем в Большую Советскую Энциклопедию [БСЭ 1975], то обнаружим, что в определении брака на первом месте стоят нравственно-психологические, но никак не сексуальные отношения. Это связано со своеобразной сексуальной революцией 1990-х, которая отрицала прежние формы сексуальных отношений, протестовала против традиционных советских запретов и предлагала взамен новые идеалы (упрощенно они были выражены в словах популярной в начале 1990-х поп-группы: «Секс, секс — как это мило, секс, секс без перерыва!»). В результате в молодежной среде сексуальные отношения до брака стали нормой (80 % — как среди юношей, так и среди девушек), а

половая жизнь начинается в 17–18 лет (т. е. секс «помолодел», и это касается прежде всего девушек — вот где, действительно, сексуальная революция!), но все-таки первым половым партнером чаще является любимый человек. Кроме того, молодежь терпимо относится к внебрачным половым отношениям (какая уж тут ценность семьи), случайному сексу, гомосексуальным связям. При этом и юноши, и девушки одобряют совместную жизнь без регистрации брака (гражданский брак отрицательно оценивают всего лишь 1,8 % юношей и 4,2 % девушек) [Иванов 2001: 85].

Сексуальная революция в современной России провозгласила свободы, которые учредила сексуальная революция в Америке еще в первые десятилетия XX века, а именно «свободу нарушать формальные кодексы, свободу избирать формы сексуального поведения, отличные от общепринятых, свободу полного самовыражения в интимной сфере как необходимое условия счастья» [Там же: 150].

Появилась свобода. Но для кого? Прежде всего для мужчин, так как российские женщины только-только стали узнавать и использовать средства контрацепции. В результате — множество молодых матерей-одиночек и аборт в раннем возрасте. Но к концу 1990-х ситуация постепенно меняется. В 1999 году 43 % студентов применяют современные средства контрацепции во время первой половой связи, а постоянные партнеры (21 % в России, 70 % — на Западе) отдают предпочтение гормональным таблеткам [Там же: 87].

Можно сделать вывод о том, что на трансформацию семьи повлияли, во-первых, структурные изменения в политике и экономике страны, давшие начало новым ценностям, воспринятым молодежью, во-вторых, массовая культура, транслирующая нетрадиционные отношения в семье и к семье.

Но возникает вопрос: как же сочетаются тенденция индивидуализации личной жизни каждого и стремление создать семью, пусть и нетрадиционного типа? Дело в том, что индивидуализация предполагает самореализацию в самых разных сферах, и это касается как юношей, так и девушек. Причем девушки категорически отказываются самовыражаться через выполнение рутинной работы по дому, доказывая на деле, что и они могут творить и работать наравне с мужчинами. Таким образом, мужчины и женщины в поисках «собственной жизни» (для российских женщин это особенно актуально, так как они привыкли «жить ради других»; другой вопрос — актуально ли это для российских девушек)

высвобождаются из традиционных форм и ролевых распределений, с одной стороны. С другой стороны, истончившиеся социальные связи толкают людей к поискам партнера, к поискам счастья вдвоем. Потребность в разделенной задушевности, заявленная идеалом брака и партнерства, вовсе не изначально. Она растет вместе с утратами, которые приносит индивидуализация, ибо утраты суть обратная сторона возможностей. В итоге прямой путь из брака и семьи — большей частью рано, а не поздно — ведет опять туда же, и наоборот. Можно сказать, что в системе современных ценностей семейная жизнь, основанная на доверии, выходит на первый план.

Мы видим, что у российской молодежи палитра контактов расширяется, становится многообразнее. Но многочисленность делает их менее прочными, более поверхностными. Такие связи способны поддерживать динамизм и открывать «возможности», но не могут заменить достоинства стабильных первичных взаимоотношений. Получается, что необходимо и то и другое: и многочисленность многообразных связей, и прочная близость.

Молодые люди, создавая семью, но не регистрируя ее в загсе, с одной стороны, гарантируют друг другу взаимную поддержку, понимание, душевный покой и эмоциональную стабильность, а с другой стороны, дают возможность выбора (например, в профессиональной мобильности, распределении домашнего труда, способе контрацепции, сексуальности), который и является поводом для осознания вероятных противоречий.

Заметим, что многие из возникающих конфликтов девушки разрешают проще, чем их матери, так как они освобождаются от «рока материнства», следовательно, во-первых, женская сексуальность может быть осознанно раскрыта и развита вопреки мужским нормам, во-вторых, девушка может уверенно строить свою профессиональную карьеру, не беспокоясь о том, что ее планы будут нарушены внезапной беременностью. Конфликт, основанный на распределении работы по дому, решается за счет использования полуфабрикатов и бытовой техники.

Подводя итог, следует сказать, что изменения в российском обществе с 1991 года сильно повлияли на отношения в семье и к семье в ее традиционном советском виде. Молодое поколение, быстро схватывая тенденции западного мира, транслируемые массовой культурой, адаптируясь к современной российской действительности, создает новые ценностные ориентации, основанные

прежде всего на стремлении к самовыражению, опоре только на свои силы. Такая позиция часто не совпадает с родительской, что приводит к внутрисемейным конфликтам. Не находя поддержки родителей, а тем более государства, юноши и девушки обретаю ее в лице своих сверстников. Но поверхностных контактов и только сексуальных отношений оказывается недостаточно, поэтому молодые люди, даже ставя под сомнение существующие образцы брака и семьи как таковые, в большинстве не стремятся к жизни, свободной от прочных уз. Высоко ценится стабильное партнерство, и «практическая верность зачастую представляется совершенно естественной — только без официальной легитимации и принуждений государственного права» [Бек 2001: 160]. То есть основой незарегистрированных браков являются взаимная психологическая поддержка, доверие, сексуальная и эмоциональная удовлетворенность друг другом, ответственность за другого и перед другим.

Таким образом, на протяжении 1990-х годов меняются и форма семьи, и ее содержание. Все больше родителей перестают конфликтовать с повзрослевшими детьми и начинают спокойно относиться к незарегистрированным союзам, понимая, что неофициальный брак, являясь толерантной практикой семейной жизни, необходим современному российскому обществу как альтернатива традиционной советской семье.

Литература

- Бек У. Общество риска. М., 2001.
БСЭ. М., 1975. Т. 2. С. 328.
Всемирная энциклопедия. Философия. М., 2001. С. 130.
Гаврилюк В. В., Трикоз Н. А. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации (поколенный подход) // Социс. 2002. № 1. С. 63.
Иванов А. Б. Трансформация секса у молодежи // Социс. 2001. № 2. С. 85.
Лебедь О. Л., Дудина Ю. В., Куликова Е. Н. Имидж семьи в современных русских песнях // Социс. 2002. № 1. С. 92.
Медкова М. В. Семьи «звезд» шоу-бизнеса. (На примере прессы) // Социс. 2002. № 3. С. 71.
Падар Э. Гражданский брак — «за» и «против». Это бесстыдство // АиФ. 1999. № 8.
Свиридов Н. А. Адаптационные процессы в среде молодежи // Социс. 2002. № 3. С. 27.

М. Ю. Гудова, И. Д. Ракипова
**Пространство жизни семьи:
внутренняя драматургия дома**

Пространство дома является частью непосредственно окружающей человека архитектурной среды, именно здесь воплощается инобытие духа каждого из домочадцев и то, что получается из этой гремучей смеси. Неточность такого поименования состоит в том, что нашим домом очень часто является квартира, комната, коммуналка, койко-место в общежитии или какая-либо другая специфическая социально-конституированная эрзац-форма того, что каждая семья называет / считает своим домом, тем архитектурно оформленным местом жизни, которое у нее есть.

Особенность домашнего пространства состоит в том, что несмотря на его сугубую интимность — близость к телу человека, оно по отношению к человеку, в нем живущему, как правило, является внешне навязанным пространством: выданным по распределению государством («в соответствии с социальной нормой и обстоятельствами»), доставшимся по наследству («уж какое есть»), приобретенным на скупые сбережения («на что хватило средств») и т. д., т. е. социально-экономически обусловленным и запечатлевающим ценности не только жильцов, но и того времени, в котором они живут.

Воздействие пространства дома, как и всей архитектурной среды, на человека и его семью двояко: с одной стороны, оно является постоянным и повседневным фактом, а с другой стороны, в нем нередко возникают новые элементы воздействия: вещи, люди, до-

машинные животные. С одной стороны, архитектура дома, с ее геометрической правильностью и устойчивостью, утверждает «вечные ценности» семейной жизни, противопоставленные сиюминутным переживаниям отдельного человека. С другой стороны, чистые смысловые формы, которые являет архитектура жилья, сами утверждаются только в процессе повседневной жизни в этом пространстве определенной семьи из абсолютно конкретных людей: маленьких и взрослых, молодых и старых, в процессе их индивидуального или коллективного жизне- и / или смыслопроживания.

После того как многие годы наши дома = квартиры проектировались исключительно как «машины для жилья», в современных исследованиях по архитектуре очень модным стал вопрос: искусство архитектура дома или нет? Мерой искусства в архитектуре, по мнению известного финского архитектора Алвара Аалто, является то, «человечна она или нет» [Аалто 1978]. Архитектура дома становится адекватной человеку не тогда, когда создает сооружение на основе всеобщей системы мер, а когда в планировке дома учитываются простые ценности жизни, такие как ценность движения с его ритмичностью, устойчивостью и регулярностью. («Движение есть жизнь». Ф. Энгельс.)

Вместе с человеком и его семьей дом проходит процессы развития: обустройства и реконструкции, ремонта и смены обстановки, обрастает новостройками и с окраины, вместе с ростом городского архитектурного пространства, смещается к центру города. Дом переживает вместе с населяющими его людьми и процессы старения, ветшания, сноса. И те и другие процессы всякий раз оказываются для жильцов смыслопереживательными, ценностнообразующими.

Такое глубокое эмоциональное воздействие архитектурной среды объясняется тем, что архитектурные выразительные средства программируют не только внешнее движение человека в пространстве — жест, действенно-моторное проявление человека, но и внутреннее душевное движение, сопровождающее жест, — эмоциональный тон, так как чувство пространства коренится в ощущении человеком своего тела. Отсюда совершенно разное самочувствие человека в просторных залах или тесных коридорах, под высокими сводами или низкими потолками, в бесконечной анфиладе комнат или перед тупиком, в старом, обжитом и привычном или новом, ценностно неосмысленном жилье.

Дуализм архитектурной формы сказывается и в тяготении рас­судка к статичному пространству деятельности, а духовной инту­иции — к свободному, открытому пространству полета мысли, мечты, воображения. Следовательно, архитектурный образ дома пред­стает и как вселенная жизни духа, и как определенное место жизни тела — жилище, обиталище конкретного ограниченного, частичного человека и / или его семьи. В результате борьбы про­тиворечивых тенденций духовного и телесного, обновления и по­стоянства возникает особая архитектоничность домашнего про­странства каждой отдельной семьи, не выразимая эксплицитно, по­добно эксплицитной невыразимости переживаний человека, но с имплицитной выраженностью борьбы мужского и женского начал.

Специалисты в области психологии архитектуры [Степанов и др. 1993; Бархин 1991; Архитектура и эмоциональный мир чело­века 1985] утверждают, что закономерное стремление человека со­отнести свое архитектурное пространство с самим собой, пропу­ская его через призму своего мироощущения и ценностных устано­вок, порождает «внутреннюю драматургию» насыщенного чело­веческими страстями пространства жилого дома.

Внутренняя драматургия дома определяется, по словам Ильи Утехина [2001], несколькими парами оппозиций: свое и чужое, пустое и заполненное, чистое и грязное, публичное и приватное, частное и общественное, существующими независимо от количе­ства жителей дома. Попробуем именно через эти пары оппозиций проследить борьбу женского и мужского в архитектурном про­странстве семьи.

Советский тип организации семейного пространства предпо­лагал выделение для каждого жильца своего особого замкнутого мира в стесненных коммунальных условиях, где не всегда на каж­дого жителя приходилось по отдельной комнате. Отсюда стрем­ление отгородиться от остальных домочадцев если не капиталь­ной стеной или дощатой / фанерной временной перегородкой, то стенкой плательного шкафа, этажеркой или стеллажом с книга­ми, реже ширмой или пальмой, другим декоративным комнатным цветком. В условиях неизбежной коммуналности необходимо было организовать пространство приватного общения, скрытый от чужого взгляда, слуха, обоняния, мнения мир, не допускающий никакого вмешательства чужого. Чаще и тщательнее отгоражи­вался либо приватный детский мир, либо женский как наиболее интимный и сакральный — «иной» для мужчин.

Современная идеология дизайна интерьера, артикулируемая популярными специализированными изданиями, такими как «Интерьер-дизайн» [2002], «Идеи для дома», «Salon» [2002], предлагает в условиях меньшей скученности населения создать простор для общения, сделать единое внутрисемейное пространство как можно более объемным, светлым, прозрачным, легким. Новые: стекло, стекло- и металлопластик, металл, пластмассы в стиле хай-тек или традиционные восточные материалы: бумага, циновки, дерево, текстиль, соломка, необожженная керамика, сухоцветы, по мнению архитекторов-дизайнеров, облегчают не только конструктивно-композиционные решения, но и атмосферу общения. Прозрачность пространства общения, по мнению дизайнеров, исключает в нем оппозицию своего и чужого: чужое не портится и не оскверняется, не используется без авторитетного мнения владельца («спроса», «наблюдения» и т. д.), все становится легко обозримым, всякое действие в пространстве — публичным.

Однако такое обобществление пространства приводит к его бисексуальности; если в традиционном доме пространство обязательно было специализированным — «бабий кут», «красный угол», то в современном жилище оно однородно: диваны и кресла, телевизор и холодильник, микроволновая печь и компьютер не имеют определенной гендерной маркировки. Такая однородность амбивалентна: она приятна возможностью обжить любой угол каждому из членов семьи, и травматична тем, что лишает человека приватного пространства, провоцирует его на борьбу за уединенность и закрытость, т. е. создает пространство внутрисемейных столкновений.

Однако, по утверждению И. Утехина, жизнь в недифференцированном прозрачном пространстве отнюдь не становится более публичной, так как коммунальная информация о содержании и качестве частной жизни редко передается вербально, чаще черпается из неизъяснимых источников: стуков, шорохов, запахов, noises или, наоборот, знакомых вещей.

Советский дизайн интерьера активно вытеснял из жизни пустое, открытое пространство. Оно противостояло человеку как необжитое и непригодное для жилья. Страх незаполненного пространства — исчезнувшего из жизни человека — легко возникающий в советской коммунальной системе, — восполнялся стремлением максимально заставить жилую площадь мебелью и вещами, занавесить драпировками и порттьерами, застелить скатертями, на-

кидками, пледами, салфетками и т. д. Вещи и фотографии должны были заменять собою временно отсутствующих людей. Сакральное место среди домашней утвари получал комод, или буфет, или сервант, или — позже — «стенка», где наряду с наиболее ценными вещами, посудой и зеркалами находились семейные фотографии, замещающие вытесненные из «красного угла» иконы [Утехин 2001].

В современном дизайне, как и в общественной и частной жизни, ценится свобода. Пустое место теперь рассматривается как символ бесконечной потенциальности, не требующей непременно воплощения. Свободное пространство общения — это пространство общения, не предзаданного вещами и проблемами, функциональной внутрисемейной деятельностью членов семьи: швейной машинкой, домашней библиотекой, обеденным столом. Отсюда стремление традиционной для домашнего интерьера вещи исчезнуть, но не насовсем, а превратиться в тень, намек, «невидимку», «другое». Стол или этажерка могут быть выполнены из прозрачного, дымчатого или цветного стекла или пластика, зеркало — иметь форму «торса Афродиты», комод — быть подставкой под аудио- или видеоаппаратуру, осветительные приборы — имитировать декоративные растения и т. д. Борьба за свободное = беспроблемное пространство комфорта порождает, однако, отсутствие пространства самоидентификации и самореализации, где супруги могли бы предметно-пространственным образом организовать свой специализированный и специфический для мужчин и женщин досуг или домашний труд.

Оппозиция «чистое — грязное» традиционно решалась в двух аспектах — «свое и чужое» и «свободное и занятое». В стремлении к коммунальному изоляционизму сказывалось отождествление «грязного» с чужим, чистого со своим. Отсюда следствие: как «грязные» каждым обитателем дома рассматривались чужие комнаты, вещи, предметы туалета, гости — «тащат в дом грязь и заразу» и т. д. Вся жизнь, проходившая в стремлении супругов к чистоте, превращалась в борьбу с чужим. К чужому, темному, грязному по мере развития конфликта сначала относится территория, затем вещь, а потом и сам человек, чаще всего супруг, являющийся носителем чужого.

Современные идеологи дизайна предлагают сделать просторным и насыщенным природными жизнеутверждающими мотивами пространство «общего пользования», с тем чтобы оно не вос-

принималось как чужое и враждебное, темное и грязное. Мотивы цветущего сада, подводного царства, лесной поляны, солнечного света, оформляющие это пространство, являются психотерапией невроза чистоты у супругов.

Важную роль в рамках оппозиции «грязное — чистое» играет свободное пространство — очищенное от грязи, хлама, мусора, т. е. чистое пространство. Чистым оно является также и потому, что не принадлежит никому, не занято ничьими вещами. Свободное пространство не тождественно общему или публичному, оно просто не занято никем, не принадлежит никому из супругов или других домочадцев. Тем самым количество свободного пространства определяет уровень упорядоченности, чистоты, свободы и здоровья в семье. Уже дореволюционная российская статистика давала недвусмысленные цифры, показывающие, что разница в уровне смертности между теми семьями, где на одного члена семьи приходится 1,5 комнаты, и теми, где на одну комнату приходится 4,5 жильца, составляет 8 раз [Человек 2002].

Общественное пространство — иное, оно не «мое» и не «наше», не приватное и не публичное. Это то место, где все ответственные за соблюдение чистоты и порядка в равной мере, т. е. в порядке очереди или долевого участия, иными словами, это пространство, окружающее наш дом, — коридор в коммуналке, подъезд для квартиры, улица для коттеджей. Это пространство предсобственности, т. е. предчистоты, предпорядка, но полной свободы деструкции. Это приводит к тому, что в подъезде respectable дома в центре города (но без портье) лампочки вывернуты, выключатели сломаны, замок не работает, лифт дурно пахнет — все точно так же, как и на пролетарской окраине. Это общее, т. е. ничье, там будет чисто, по словам И. Утехина, «к окончанию дежурства следующей из квартир».

Что предлагают дизайнеры для превращения общего если не в приватное, то хотя бы в публичное пространство? Кабина лифта преобразается сегодня чаще всего зеркалами, и вместо чужих, обшарпанных — «грязных» — стен теперь на человека смотрит его любимое отражение. Парадная лестница застилается хозяйскими дорожками и заставляется вазами с цветами, которые тоже являются чьими-то, частной собственностью, т. е. не подлежат порче или краже.

В свете последнего интересна также и оппозиция «свое — чужое», имеющая специфические нюансы в семейной жизни [Терен-

тьев 1991]. Казалось бы, все пространство является общим, но «своя» территория — это область принадлежащих человеку вещей [Бодрийар 1995]: свой шкаф, цветок, кресло, полка, комната и т. д. При этом исчезновение вещи с привычного места расценивается супругом-владельцем как покушение на приватность. Психологи утверждают, что считать такое событие кражей значит пережить «бред ревности», когда в исчезновении вещи мерещится призрак исчезновения человека / супруга («сегодня избавились от вещи, а завтра избавятся от ее владельца» или «если кто-то посмел присвоить вещь, то присвоят и супруга»). Именно домашняя внутрисемейная ревность к людям и их вещам приводит к особенно серьезным конфликтам по поводу их временного перемещения или исчезновения из поля зрения владельца, и причина этой серьезности — в боязни потерять супруга, семью, определенным образом организованный, обжитый дом.

Тем и ценна в мире искусств архитектурная форма, что благодаря свойствам постоянства и статичности способна внести в жизнь семьи успокоение, нейтрализовать страсти, вернуть душевное равновесие, чувство порядка, строя и гармонии, в этом суть и уникальность архитектуры как искусства организации жилого пространства семьи. Живя и развиваясь вместе с населяющей архитектурную среду семьей, архитектура дома по-своему сохраняет и предметный, и эмоциональный смысл жизненных ситуаций: место первого свидания или первой жизненной драмы, место жизни поэта или учителя. Чем более точно это происходит, тем более архитектурное пространство дома обживается, очеловечивается, наполняется внутренним драматизмом, т. е. становится произведением искусства, тем более явно проявляется внутренняя глубинная интонационность архитектуры: архитектурные средства, предназначенные для проектирования внешнего окружения предметно-пространственных ситуаций семейной жизни, становятся фактором эмоционального воздействия, формируют внутридушевную ситуацию семейного быта и бытия.

Литература

- Аалто А.* Архитектура и гуманизм / Пер. с англ., фин., фр., нем. М.: Прогресс, 1978. С.45.
- Архитектура и эмоциональный мир человека.* М.: Стройиздат, 1985.
- Бархин М. Г.* Динамизм архитектуры. М.: Наука, 1991.

- Бодрийар Ж.* Система вещей. М.: Рудомино, 1995.
- Интерьер-дизайн. 2002. № 1–3.
- Степанов А. В., Иванова Г. И., Нечаев Н. Н.* Архитектура и психология: Учеб. пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1993.
- Терентьев Е. И.* Бред ревности. М., 1991.
- Утехин И.* Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2001.
- Человек. 2002. № 2.
- Salon. 2002. № 1–3.

Раздел 4

Репрезентация семейных конфликтов и пути их преодоления в отечественной истории

Е. К. Созина

«Брак, когда от него отлетит дух...»,
или Ситуация «Жака» в русской
литературе и жизни 1840—1850-х годов¹

Сороковые годы XIX века значимы в истории России слишком многим, чтобы говорить об этом вскользь. Укажем лишь, что в этот период происходит отчетливая и наглядная смена парадигм литературного и общественного сознания. И дело не только в том, что в 1840-е годы формируется новое литературное направление, тогда называвшее себя «натуральной школой», а позднее, в эпоху советского литературоведения, получившее определение «критического реализма». Агрессивно и настойчиво педалированная романтизмом степень личной свободы человека, осознавать которую и обладать которой позволялось отнюдь не каждому, а только лишь особому, избранному представителю человеческого рода, теперь обсуждается как всеобщее и законное право *любой* личности. Из принадлежности «уединенного» романтического сознания идеи свободы и выбора путей жизни проецируются в массу, в «обыкновенное большинство», к которому призывал обратить внимание литературы В. Г. Белинский.

В силу невозможности в России открытой борьбы за политические права центр тяжести в обсуждении гражданских свобод личности смещался к вопросам частной, семейной жизни. Сама постановка проблемы освобождения женщины и дискуссия о свободе чувств были равнозначны призывам к разрушению основ буржуазного брака и демократизации общественной жизни страны, более того, семейное рабство женщины и крепостное положение

ние русского крестьянина рассматривались апологетами радикальной журналистики той поры как две стороны одной медали, т. е. как вещи принципиально взаимосвязанные. В течение всего XIX столетия русская литература открывала для себя «мужика» и разные лики народного «царства», но эти открытия, по крайней мере, признавались всеми и были, так сказать, легитимны. Не менее тайным для писателей-мужчин был мир женщины, в чем они, однако, не спешили признаться. В 1842 году о знаковой для русской жизни того времени неизведанности женщины писал А. И. Герцен: «Странное дело! Девятнадцать столетий христианства не могли научить людей понимать в женщине человека. Кажется, гораздо мудренее понять, что земля вертится около солнца, однако поспорили да и согласились, а что женщина — человек — и в голову не помещается!» (II: 69)². В 1845 году ему вторил В. Г. Белинский: «...У нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают ее и не ищут ее, словом ... у нас нет женщины»³.

«Открытие» женщины, которое литература совершала почти параллельно с «открытием человека» (объявленным Белинским в 1835 году), публичное признание ее достоинства и суверенных прав — все это процессы крайне длительные и для патриархальной России особенно острые. Допустимая для мужчин вольность поведения в семейном быту и в свете не была официально позволенной женщинам. Однако существовал вопрос, в котором права мужчин и женщин были одинаково (хотя в разной степени) ущемляемы, — вопрос о расторжении брака. Безболезненно решить его в тогдашних социальных условиях практически не представлялось возможным⁴. Это порождало массу разнообразных проблем, драм и трагедий и вело к утверждению нелегитимных, неофициальных форм выхода женщины из-под гнета семьи, крайне жестко оценивавшихся обществом в применении к самой женщине.

Однако именно в 1840-е годы в русской культуре создается ситуация не только проблематизации и открытого обсуждения темы сохранения брака при отсутствии любви («Брак, когда от него отлетит дух, — позорнейшая и нелепейшая цепь», — в 1842 году записывал в «Дневнике» А. И. Герцен (II: 228), но и публичного признания литературой и критикой устарелости прежней этики, согласно которой разрушению брака, ставшего ложным, препятствует нравственное чувство жены или мужа. В этой связи стоит напомнить авторитетное мнение Белинского: в заключительных ста-

тях о романе Пушкина «Евгений Онегин» критик высказывал очевидное сомнение в правоте конечного выбора Татьяны, в справедливости мотива нравственного долга ее перед мужем. «Вечная верность — кому и в чем? — вопрошал Белинский. — Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в высшей степени безнравственны...»⁵.

Вывод Белинского диктовался необходимостью переориентации общественного сознания в рамках складывавшегося нового дискурса литературы, выведением на первый план антропологической доминанты человеческого характера («...человек рождается не на зло, а на добро... Зло скрывается не в человеке, а в обществе...»⁶), подчиняемого законам вполне земным, природным и социальным, а не божественному предопределению, неподвластному нашей воле и разуму. Он отвечал активному внедрению в русское общество идей послегегелевской философии и французской социальной и литературной мысли. Но если труды Л. Фейербаха могли одолеть немногие, то произведения Ж. Санд читались и обсуждались всеми, кто причислял себя к мыслящим элементам общества.

Литература в России на протяжении всего XIX века имела первенствующее, формообразующее влияние на жизнь. Прогрессистские романы Жорж Санд будировали общественное сознание и воспринимались как непосредственный призыв к действию. По словам А. П. Скафтымова, «сороковые годы — время Ж. Санд»⁷. Анализируя эволюцию популярности творчества Ж. Санд в русской литературе и журналистике, Е. Н. Строганова выделила четыре стадии ее «канонизации», также указав на 40-е годы как на пик приятия и распространения идей и произведений французской писательницы в России⁸. В отношении к семейной проблеме — не становлению новых форм семьи, а разрешению внутрисемейного конфликта в имеющемся браке, центральное значение для русских писателей и читателей имел роман Ж. Санд «Жак» (1834), сокращенный вариант которого в 1844 году был опубликован в «Отечественных записках».

Известно, что при создании своих произведений на этот роман ориентировались А. В. Дружинин — в повести «Полинька Сакс» (1847), Л. Н. Толстой — в «Семейном счастье» (1859), Н. Г. Чернышевский — в романе «Что делать?» и некоторых других, менее известных произведениях; отдаленная связь с ним обнаруживается, на наш взгляд, в более поздней повести Ф. М. Достоевского

«Кроткая», в повестях и пьесах И. С. Тургенева. Популярность романа Санд в России, очевидно, определялась тем, что в нем подвергалась рефлексии крайне распространенная в некрестьянской (дворянской, купеческой) среде схема семейных отношений, где между мужчиной и женщиной пролегалась значительная разница в возрасте, жизненном и душевном опыте и где даже при наличии таких идеальных условий, как любовь, ум, душевный такт и безмерная терпимость со стороны мужчины к своей молоденькой супруге, сохранить эту любовь и взаимное доверие партнеров оказывалось чрезвычайно трудно, а порой практически невозможно. В сущности, Сандов «Жак» сформировал новую культурную модель анализа семьи подобного рода, отвечающую на запросы времени — на расширение прав и свобод личности и вытекающую отсюда потребность в изменении традиционных форм семейного союза, узаконенных государством и церковью. Как известно, все романы Санд в той или иной мере этой потребности удовлетворяли и делали ее зримой для общественного сознания Европы и России. Можно предположить, что роман «Жак» занял в литературно-культурном осмыслении семейной проблематики то же место, которое когда-то, на заре Нового времени, заняла имевшая многочисленные продолжения и подражания комедия Шекспира «Укрощение строптивой». В произведении французской писательницы, однако, «укрощения строптивой» не произошло, да и надобности в таковом, собственно, не было.

Попробуем прежде всего выявить ряд типологических черт семейной модели, представленной в романе Ж. Санд. Со стороны более старшего мужа это снисходительное, всепрощающее отношение к жене-ребенку и надежда на то, что своим умелым воспитанием и руководством он ликвидирует естественные для ее возраста недостатки, доведет жену до состояния зрелой женщины, осмысленно выполняющей свои разнообразные обязанности. Со стороны Фернанды это любовь скорее по обязанности и незнанию, чем по истинной привязанности, и полное непонимание личности мужа, о чем он особенно не думает и что принимает почти как должное. Если Фернанда для Жака — невинное и неразумное дитя, то Жак для Фернанды — образец совершенства, бог на пьедестале, до высоты которого ей никогда не добраться. Таким образом, в основе их семейных отношений просматривается архетипическая модель «Бог-Отец — неразумный человек-ребенок», которая, как показывает Санд, является малопродуктивной для су-

губо человеческой семьи и, в силу своей неравновесности, неустойчивости, подвержена дезэволюции и распаду.

Несмотря на все старания Жака, стена непонимания между ним и Фернандой растет и укрепляется, порождая его педагогическое разочарование: он приходит к выводу о «необучаемости» жены, о слишком большой разнице в возрасте и жизненном, душевном опыте, о прочности тех ее недостатков, которые, по-видимому, идут из родительской семьи и перед которыми он ощущает свое бессилие: «Ее упадок духа, ее изумление достаточно ясно доказывают, что она не предвидела самых простых неприятностей обыденной жизни» (112)⁹. Хотя надо сказать, что чувства и побуждения Жака обрисованы в романе Санд эмблематично и с наименьшей психологической убедительностью — он яркий романтик, безусловно страстная и живая натура, скрывающая свою экспрессию под маской холодности и рассудка.

Свое разочарование переживает и Фернанда — мы назовем его герменевтическим, ибо она приходит к мысли, что ей никогда не понять мужа и что, следовательно, она обречена на непонимание с его стороны, на вечное и раздражающее преклонение перед его превосходством: «Жак слишком совершенное существо, меня это пугает...» (107), «Я считала себя равной ему, а этого нет» (116). Соответственно, сама ее любовь к чужому и безусловно превосходящему ее своими достоинствами мужу, на фоне интуитивного осознания своей слабости, ограниченности и детскости, в чем Фернанда следует общепринятому, поощряемому также и мужем стандарту («Ведь я еще ребенок, меня нужно вести за руку, поднимать, если я упаду» (107)), постепенно и неизбежно уступает место страху: «Нынче утром я открыла, что боюсь Жака так же сильно, как люблю его» (87), страданиям: «...я начинаю думать, что любовь не сплошь радость, есть в ней и слезы...» (91), оскорбленному достоинству: «Не слишком ли много тут гордости?» (107), а затем, когда у Фернанды появляется поклонник, затаенному чувству вины, в котором она не желает признаться даже себе и изображению которого автор романа избегает.

Итак, логика брачной любви «ребенка» и «взрослого» неизбежно приводит героев Санд к катастрофе. Будучи не удовлетворена союзом с собственным мужем — Чужим и Другим, Фернанда вступает в отношения с оказавшимся рядом Октавом, в прошлом — любовником Сильвии, духовной подруги Жака, живущей их доме. Октав и Фернанда — ровня по возрасту, воспита-

нию, сердечным наклонностям, и невинная их дружба довольно скоро перерастает в любовь. «Мы с вами братья по несчастью, у каждого из нас судьба смешала в одной чаше слезы и желчь; мы оба обижены и не поняты» (156), — признается женщина в письме к Октаву (ее романтический слог, не согласующийся с обликом женщины-дитяти, — коннотат авторской позиции). Замечая эту симпатию, Жак стремится гармонизировать ситуацию — он сохраняет позицию старшинства теперь уже по отношению и к жене, и к ее другу: «Это двое детей» (169). Более того, он проявляет долгое и мучительное для него терпение, защищает честь Фернанды перед жителями соседнего городка, некоторое время надеется на возрождение ее любви к нему. Но этого не происходит, а именно любовь, в согласии с его романтической натурой, и была для него последним «якорем» в жизни. Наконец, не отказываясь от роли Бога-Отца, он принимает на себя ответственность за счастье жены и жертвенно уходит из жизни, разрешая возникшую между ними всеми «апорию» — неразрешимую ситуацию. Но влюбленные не в состоянии оценить его благородства, всей глубины которого Жак перед ними не раскрывает, — о нем знает только Сильвия. Иначе говоря, ни «Богоотцовство», ни «Богосыновство» не оправдывают себя в применении к семье, ибо единственным основанием супружеской любви и счастья могут быть отношения равноправия и взаимопонимания сторон, рожающие взаимное доверие и не вымученную, но органичную терпимость и приязнь.

Роман Ж. Санд содержит в себе целый ряд сюжетных ситуаций, многократно использованных впоследствии не только литературой, но и «живой жизнью». Во-первых, как мы сказали выше, в центр общественного внимания была выдвинута ситуация своего рода «неравного брака», с точки зрения патриархальной морали рассматривавшаяся как вполне терпимая и даже оптимальная для девушек, обычно не имеющих опыта публичной жизни, находящихся в полной экономической и социальной зависимости сначала от родительской семьи, а затем от мужа¹⁰. Традиционный стереотип восприятия такого рода браков очевиден — лишь бы «он» не был слишком стар, слишком скуп, слишком ревнив. Ж. Санд показала, что даже при стечении самых благоприятных обстоятельств исход этих браков далек от нормы и приводит к несчастью обе стороны¹¹.

Во-вторых, Чернышевскому, а позднее Л. Толстому (пьеса «Живой труп») роман «Жак» подсказал способ прекращения брака, пе-

реставшего удовлетворять женщину, полюбившую другого, но по-прежнему любимую или уважаемую мужем, — это имитация смерти супруга, который таким образом отходит в сторону и освобождает свое место для нового претендента без того неизбежного позора и тех долгих мытарств, которые сопровождали бы (не гарантируя успеха!) расторжение брака, совершаемое официальным путем. Поскольку с 1840-х годов романтизм в русской культуре был уже не релевантен, абсолютистский и бескомпромиссно-жертвенный вариант самоустранения сандовского Жака русскими авторами был отвергнут: произошло своеобразное травестирирование высокоромантического образа героя и его способа решения проблемы.

В-третьих, в произведении Санд была заложена, хотя полностью не реализована, ситуация «жизни втроем»: к Жаку и Фернанде переезжает Сильвия, между ней и Жаком гораздо больше общего, чем между супругами, и, если бы не тайна рождения Сильвии и не братско-сестринские отношения ее с Жаком, их любовь была бы возможна и увенчалась бы действительным счастьем. Пока Сильвия живет в усадьбе Жака, обыватели выдвигают самые разнообразные версии по поводу этой неприличной «дружбы втроем». Кстати выскажем предположение, что сам стиль отношений мнимых брата и сестры, вызывающий непонимание со стороны окружающих, «естественность», т. е. несоциализованность поведения Сильвии, до определенного возраста воспитывавшейся в крестьянской среде, а затем — Жаком, — все это было воспринято и творчески пересоздано И. Тургеневым в повести «Ася» (имеется в виду семья Гагина и Аси).

Затем подобного рода треугольник в романе Санд намечается между Сильвией, Фернандой и Октавом, между Жаком, Октавом и Фернандой: Октав также поселяется в усадьбе, и теперь уже в перспективе мерцает союз четверых — «любовный квартет», по оценке все тех же обывателей (226), осуществиться которому не дано из-за наложений треугольников друг на друга и разного рода условностей, разделяющих тех, кто мог бы составить гармоничную пару. Любовные треугольники, как известно, — постоянная тема литературы, но «жизнь втроем» становится легально обсуждаемой в России темой лишь после романа Чернышевского «Что делать?», тогда же, в конце 1850-х — 1860-е годы, «тройчатки» возникают повсеместно в среде радикально настроенной русской интеллигенции¹². Их предтечей и предвестьем следует считать недолговечный союз эмигрантов Герценов — Гервегов: отношения между этими

парами словно нарочно воспроизводили те потенциальные связи, что обрисованы в романе Ж. Санд.

Рассмотрим вначале некоторые литературные модели, создававшиеся в России с оглядкой на произведение Санд, однако и определенным образом модифицировавшие элементы его сюжетной структуры. По-видимому, самое раннее развитие и разрешение сюжетики «Жака» было дано в «экспериментальной» для тех лет повести А. В. Дружинина «Полинька Сакс» (1847). Ее близость к роману Жорж Санд отметили еще современники, ее не скрывал и автор: его герой пытается воспитать жену с помощью романов Жорж Санд, а в один из моментов жизни иронизирует над собой: «...пламенные юноши почтут меня новым Жаком»¹³. Однако романтическая экзальтация страсти, характерная для французской писательницы, ее идеализация женских образов (в основном образа Сильвии), статическое описание персонажей при доминанте некоторых ведущих черт характера для русской прозы 1840-х годов были уже устаревшими. «Женщины Жорж Занда даже часто смешны идеальным своим взглядом на жизнь и исключительностью своих чувств в пользу одной страсти» (7–8), — писал Дружинин на раннем этапе работы над драмой, лишь затем переросшей в повесть. Поэтому его произведение интересно прежде всего сознательной переработкой русским беллетристом оригинальной литературной модели, предложенной модным в ту пору автором-женщиной, причем в направлении этой переработки отразились не столько даже личные вкусы Дружинина, сколько требования новой эпохи.

Стремясь приблизить произведение к жизни, Дружинин практически убирает мотив страсти из поведения своих персонажей. Константин Сакс¹⁴ страстно любит свою жену, но тем более он требователен к ней, в его этическом кодексе на первом месте стоит уважение к ее правам как человека и уж потом — женщины (иное дело, что своими последующими действиями он фактически игнорирует самостоятельность Полиньки). Полинька, подобно Фернанде у Санд, — еще слишком ребенок, не способный отвечать за свои поступки; она беспрдельно уважает мужа и совершает акт измены ему с молодым Галицким скорее из жалости к мукам «бедного Саши», нежели из любви. Князь Галицкий страстно влюбляется в Полиньку, но и он через призму взгляда Сакса воспринимается как ребенок, не ведающий, что творит, непоследовательный, способный на подлость (которая, однако, не считается за таковую в свете), но нравственно преображающийся бла-

годаря своему чувству. Литературными прототипами этих взрослых «детей», очевидно, и были герои «Жака».

К. Сакс — единственный взрослый в повести Дружинина. В романе Санд к таковым может быть отнесена также Сильвия, но этой идеальной женской партии по вполне понятным причинам в произведении русского «ученика» места не нашлось (адресатом писем Сакса стал его приятель, функции которого в действии минимальны), хотя роль подруги Фернанды, Клеманс, у Дружинина сохранилась и стала еще более неблагоприятной, чем в романе-источнике. По нормам новой эпохи Сакс сделан чиновником, честным служакой, отстаивающим закон. Он безусловно сильный человек, берущий на себя бремя ответственности за счастье двоих «детей», разрушающее его собственное счастье. Его следовало бы признать идеальным героем — настолько он мудр, благороден и щедр в одаривании Полиньки и молодого князя. Он избавлен от целого ряда чисто романтических черт Жака, но при этом, как и у Санд, характер Сакса более всего романтизирован и не прояснен до конца.

Беспримерно идеален вариант разрешения Константином Саксом образовавшегося между его семьей и князем любовного треугольника: узнав об измене жены, он давит в себе эгоистические, мстительные чувства и в кратчайшие сроки, тайно, осуществляет бракоразводный процесс. По-видимому, желание автора дать гармонический вариант разрешения мучительной проблемы семейной жизни было так велико, что он пошел на нарушение правдоподобия, что, впрочем, вполне соответствовало канонам массовой литературы, «беллетристики», складывающейся в ту пору в России и всячески поощряемой В. Г. Белинским. Можно предположить, что своим изменением финала сандовского «Жака» Дружинин отвечал на вопросы, которые возникли в его душе после прочтения ряда романов писательницы. В «Дневнике» за 1848 год, в связи с «Письмами путешественника» Санд, он записывал: «Я допускаю, что возвышенные души всегда почти страдают, что общество перед ними виновато, терзая их или представляя им себя как зрелище жалкое... Но вопрос таков: позволительно ли страдать и не выискивать средств к облегчению *своего*, не чужого страдания? Позволяется ли ставить свой эгоизм в такое несчастное положение, что из него ровно ничего извлечь невозможно? *Исполняет ли свое назначение та душа, которая вся отдается на чужую пользу, которая принимает как должное себе и борьбу, и ожесточение, и тоску, и мрачное отчаяние?* (курсив наш. — Е. С.)» (124). Отсюда недалеко до теории

«разумного эгоизма» Н. Г. Чернышевского, а свой личный ответ на поставленную проблему о непозволительности излишних страданий возвышенной и не ценимой обществом души (заметим, что и вопрос, и ответ Дружинина, хотя и вытекали из романтической литературы, уже не соответствовали канонам романтизма) писатель дал в системе действий Константина Сакса.

Однако нарушение жизнеподобия и уступка романтизму «воли и разума» — вместо сандовского «чувства» — обернулись не только ходульностью образа Сакса и излишним педалированием детскости Полинки, но и нравственной несостоятельностью действий героя, которая, впрочем, осталась незамеченной тогдашней критикой¹⁵. Характер Полинки выдерживается на протяжении всего повествования — по отношению к ее линии это «роман воспитания», также воспринятый русской литературой от Ж. Санд¹⁶, — ибо от бездумного и беззаботного существования женщины-ребенка через перенесенные страдания и осознание невозвратимой потери она обращается в зрелую женщину, способную глубоко и преданно любить (в последнем письме подруге Полинька признается в любви к утраченному Саксу). И в этом плане Дружинин значительно развил представление о женщине-ребенке, стандартное для европейской и русской культуры и в подробностях изображенное Санд: у нее характер Фернанды, да, впрочем, и других девушек и женщин (Сильвии, Индианы, Валентины) практически не меняется по ходу жизненных испытаний, так что поневоле по прочтении «Жака» у читателя складывается впечатление, что жена благородного мученика не стоит той жертвы, которую он принес ради нее и ее счастья.

Однако «идеальный» Сакс в повести Дружинина не только не подозревает об изменениях, происходящих в душе и сознании его Полинки, но и не желает их знать — она до самого конца остается для него всего лишь ребенком, не доросшим до зрелой жизни, до права самостоятельно решать свою судьбу. «Ты оправдываешь жену мою, хочешь весь гнев мой обратить на Галицкого. Друг мой, жена моя не нуждается в оправдании, скажу тебе более: и Галицкий прав» (71), — пишет Сакс другу. Эта истина оборачивается ложью в применении к конкретной ситуации: нравственные терзания и чувство вины перед мужем доводят-таки Полинку до чахотки. Выражаясь абстрактно (на условии деформации художественной формы), скандал, который мог бы закатить Сакс жене и который сохранил бы их брак, повредил бы чистоте их отношений, но, возможно, уберег бы женщину от смерти.

В повести объединяются черты романтизма с реалистическим письмом, востребованным жизнью. То, какой предстает Полинька в восприятии героев-мужчин, согласуется с известной критикой Белинским женского воспитания и положения женщины в России. Ср.: «И еще родители не так виноваты, как общество, которое требованиями своими заставляло обращать женщин в ребятишек. <...> И глупая молодежь шептала: “Чудный ребенок! Что за ангел!”», не думая того, что нам нужны женщины, а не ангелы», — говорит К. Сакс о Полинке (28); «нравственным феноменом», в котором на пребывании в пансионе остановилось «развитие ее нравственных способностей» (56), называет героиню князь Галицкий. У В. Г. Белинского читаем: «Но “дражайшие родители” учили свою дочь только искусству во что бы то ни стало выйти замуж; подготовить же ее к состоянию замужества, объяснить ей обязанность жены, матери, сделать ее способною к выполнению этой обязанности, — они не подумали. <...> И как винить их в том, что вместо живых существ из них выходят нравственные уроды? Окружающая их положительная действительность в самом деле очень пошла, и ими невольно овладевает неотразимое убеждение, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой действительности»¹⁷.

Однако из «нравственного феномена», «идеальной девы» (по Белинскому), из романтического *ангела* (как часто именует ее Галицкий) героиня Дружинина дорастает до женщины — в этом, пожалуй, и состояло основное, поистине реалистическое, значение повести «Полинька Сакс», указанное, в частности, Белинским. Для автора же, судя по всему, был важен «урок», который получала героиня из всего происходящего и который подчеркивался мелодрамматизмом финала: счастливых нет, жертва Сакса была принесена напрасно. В тогдашней социокультурной ситуации России смысл повести сдвигался: с утопического проекта мудрого решения проблемы «неравного брака» и семейного адюльтера — на проблему женского воспитания жизнью, на взаимодействие женщины и мужчины в семье и обществе, на вопрос о границах и пределах внутренней, не только внешней, самостоятельности и независимости женщины-девушки от мужчины и от среды, короче говоря, на весь тот круг проблем, который чрезвычайно остро стоял перед Россией XIX века и который по-разному пытались решить в литературе и жизни современники Белинского и Дружинина.

С «Полинкой Сакс» тесно связана повесть Л. Н. Толстого «Се-

мейное счастье» (1859)¹⁸. У Дружинина точка зрения повествователя чередуется с точками зрения разных героев, сторон любовного треугольника, — они пишут письма, ибо эпистолярная форма повести или романа была одной из промежуточных на пути становления русской прозы классического «объективного» типа. У Толстого рассказчицей выступает сама героиня, описывающая историю своего постепенного превращения из юной девушки в зрелую женщину, свой путь по этапам «семейного счастья». Степени мастерства Дружинина и Толстого несопоставимы, и мы не будем говорить об этом. Для нас важно, что вначале опекун, затем жених и, наконец, муж толстовской героини, Маши, предстает для нее тем же непонятым, взрослым, подчас внушающим не только уважение, но и страх феноменом «в себе», что и Константин Сакс для Полиньки. Душевные состояния героини обладают своей протяженностью, рассказчица подробно описывает их смену во время ссор с мужем, последовавших вскоре за этапом семейной гармонии. Но муж всегда остается для нее закрытой книгой, проникнуть в которую ей не дано: «Опять проницательность, мудрость и покровительственное спокойствие выразились в его взгляде. Он не хотел, чтоб я видела его простым человеком; ему нужно было полубогом на пьедестале всегда стоять передо мной» (III: 127)¹⁹.

Этот мотив *дружести* и *чужести* мужчины для той, кого он делает спутницей всей своей жизни, заявленный, как мы помним, еще в сандовском «Жаке», был проницательно воспринят и продолжен Толстым. Он оказался психологически достоверным, а кроме того, в нем скрывался важный для России социальный смысл: само время вызвало к тому, чтобы авторы 40–50-х годов снова и снова ставили проблему человеческой, духовной, гендерной, социальной пропасти между мужчиной и женщиной, — пропасти, без ликвидации которой невозможно было дальнейшее продуктивное развитие русской жизни и культуры.

В повести Толстого муж проявляет большую мудрость и тонкость, чем недостижимо благородный Сакс: он более человечен, обладает некоторыми слабостями, да и толстовская героиня не столь ребячлива и беспредельно наивна, как Полинька, тем более она умнее, тоньше и душевнее, чем Фернанда в «Жаке»; не случайно в ее видении подчас ощутима точка зрения автора. Но и Сергей Михайлыч Толстого оказывается совершенно беспомощен перед молодостью и бурлением сил своей жены-девочки, которой некуда деть себя в деревенском захолустье и которая очень часто

неспособна понять его и разделить его интересы. В этих условиях взаимного непонимания опыт жизни женщина-девушка может набрать только сама — путем проб и ошибок, печального отдаления от мужа и потери той родственной связи с ним, которая существовала на первых порах.

Более опошленным и приземленным становится у Толстого «третий», вторгающийся в семью; согласимся с О. В. Смирновой: итальянский маркиз Д., «своеобразный “двойник”» мужа Маши, «как будто воплощает то чувственное начало, которое сознательно подавляет в себе главный герой»²⁰, и лишь счастливая случайность, позволившая Маше заранее услышать о его гнусных намерениях, помогает ей избежать непоправимого и вовремя вернуться к мужу. По Толстому, само время устраивает и разрушает жизнь людей так, как должно. Возвращения прежней силы и полноты любви у героев не происходит, но вот итог, к которому приходит Маша после финального разговора с мужем в деревне, куда они вновь приезжают из-за границы: «Я вдруг ясно и спокойно поняла, что чувство того времени невосвратимо прошло, как и самое время, и что возвратить его теперь не только невозможно, но тяжело и стеснительно было. Да полно, так ли хорошо было это время, которое казалось мне таким счастливым?» (III: 149).

Как известно, семейная гармония составляла мучительно недостижимый идеал для самого Л. Н. Толстого, и никто иной, как он, сумел показать неповторимое разнообразие счастливых и несчастных русских семей. Развязки неровных браков, данные Ж. Санд и Дружинины, его в ту пору не устроили: он показал, что самым мудрым будет ждать решения от самой жизни, нужно лишь запастись терпением, слушать свое сердце и подчиняться велению времени, размывающему самые сложные заторы людских отношений — или намывающему на них новые пороги, что описал Толстой в более поздних произведениях. Симптоматична акцентуация линии развития женского характера — здесь Толстой значительно опережает Дружинина, развернувшего ситуацию сандовского «Жака» лицом к героине, хотя, надо сказать, эта тема стала ведущей уже в русской литературе 1840-х годов (образы Любови Александровны Круциферской в «Кто виноват?» Герцена, Лизаветы Александровны Адуевой в «Обыкновенной истории» Гончарова и др.). Оба автора словно компенсируют статичность характеров Ж. Санд, идя, однако, за ней в самой направленности авторского интереса на личность и психологию женщины.

Возвращение Толстого к злободневной для 1940-х — начала 1950-х годов ситуации «Жака», содержавшей способ разрешения-разрушения наболевшего и утратившего истину брака, — тот способ, что, несмотря на его радикализм, сохранял авторитет порядочности и доброе имя супругов, произошло в 1900 году в пьесе «Живой труп». Нельзя сказать, что, представляя первоначально мнимого самоубийцу Федю Протасова, автор ориентировался строго на роман Ж. Санд. Напротив, в пьесе дается отсылка к тексту-посреднику — роману Чернышевского «Что делать?». Связь этого романа с ситуацией «Жака» мы не рассматриваем — она детально проанализирована А. П. Скафтымовым²¹. Напомним лишь, что у Чернышевского «новый человек» Лопухов, дабы освободить жену, устраивает сцену своей ложной гибели, а сам уезжает за границу, откуда спустя некоторое время возвращается с новой спутницей жизни, так что в финале обе пары организуют совместное существование к вящему удовольствию друг друга.

Характер Феи Протасова в пьесе Толстого исполнен противоречий и нимало не напоминает ни сандовского Жака, ни, тем более, новых людей Чернышевского — он несет в себе все грехи «старого мира» (Федя слаб, беспутен, безответствен и т. д.), который, однако, герой обличает и от которого, по мысли автора, несмотря на всю свою «негодящность», выгодно отличается честностью, сердечностью и прямодушием. Недаром Федя пользуется безусловной любовью женщин — от жены Лизы до цыганской девушки Маши — и ведет себя с ними истинно по-джентльменски. Будучи не в силах пройти через процедуру официального расторжения брака и понимая, что должен освободить жену, ибо у той есть старинный друг детства, человек вполне приличный, хотя для Феи и «скучный», герой Толстого неоднократно пытается уйти из жизни. Обратим внимание не на внешнее, а на внутреннее, психологическое сходство ситуаций романа «Жак» и пьесы «Живой труп».

Жак безусловно лучше и выше того, кто заменил его рядом с Фернандой, — и потому, в силу своей нравственной развитости, он принимает на себя ответственность за разрубание сложившегося гордиева узла. Этому принципу изображения морального превосходства мужа над любовником следовал и Дружинин. В романе Чернышевского расстановка партий была иной, ибо все участники ситуации относились к числу людей, выскочивших за пределы дряхлого мира и вынужденных формально следовать его правилам. Иначе говоря, тема «потерявшего дух» брака и его раз-

решения в произведении Чернышевского подвергалась ироническому снижению, позиционировалась несерьезность этой проблемы — когда есть масса других, гораздо более важных вещей²², оттого и сцена мнимой смерти Лопухова описывалась с множеством иронических экивоков, ухмылок и гримас автора.

Для Толстого право мужа всегда было священо, а адюльтер, супружеская неверность всегда и однозначно, несмотря на всю его симпатию к конкретной женщине (ср., например, Анну Каренину), оценивались как преступление, требующее юридического наказания, и падение до «унизительного для человека животного состояния» (XII: 199). Поэтому, вероятно, и Федя Протасов нравственно лучше и чище того, кому он освобождает место. Характерно его исполненное горького анализизма признание Саше, сестре жены: «Правда, что я муж, отец ее ребенка, но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода»; «...Если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, — ты бы наверное сделала то, что я, т. е. ушла бы, перестала бы мешать чужой жизни...» (XI: 293, 292). Таким образом, Толстой соблюдает некоторые базовые условия прототипической ситуации «Жака»: скорее субъективно-психологическое, нежели объективно заданное неравенство брака (его, как упомянули мы выше, «неровность» — более, чем неравенство), когда разница супругов в возрасте и жизненном опыте стала нерелевантной сразу после повести Дружинина; далее, это нравственное превосходство «старого» мужа над «новым» и его же активная роль в решении сложившейся ситуации, когда «жить втроем» невозможно; это второстепенная роль жены в повествовании — она (еще) слишком молода и неразумна, чтобы понять, что теряет. Последний элемент сандовской ситуации был нарушен поздним прозрением Полиньки уже у Дружинина, но вновь восстановлен — с определенными изменениями — в пьесе Толстого: фигура Лизы Протасовой, не говоря о Каренине, перед образом ее непутевого мужа блекнет, но и Лиза довольно долго пыталась сберечь свой первый брак, хранила верность Феде.

Однако покончить с собой, согласно первоначальным намерениям, Протасов не может: препятствует его «слабость», которая, на языке Толстого, и есть внутренняя, самая главная сила жизни в человеке. И тогда на помощь приходит цыганка Маша — несколько несообразно своему культурному уровню она напоминает Феде о романе Чернышевского: «Читал ты “Что делать?” *Федя*. Читал,

кажется. *Маша*. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?» (XI: 311). В итоге «апория» разрешается к удобству обеих сторон — до поры до времени. Ибо все те же слабость и искренность Феди становятся причиной его разоблачения, а во время суда над незадачливым «самоубийцей» и «двоеженкой» Лизой герой довершает начатое и пускает себе пулю в сердце.

Концептуальное значение имел монолог Феди перед судебским чиновником, выражающий заветные мысли автора о лживости и преступности существующего строя, вмешивающегося в личные и семейные отношения людей: «Живут три человека: я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы — любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я, негодный, ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хорошо. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая двадцатого числа по двугривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады...» (XI: 329–330). Толстовская интерпретация способа разрубания «гордиева узла» ложного брака по «Санд / Чернышевскому» показывает, что сама эта модель, созданная, подчеркнем, леворадикальной, социалистической литературой, продержалась в русской культуре более чем полвека и была-таки признана хотя и крайним, но достойным выходом людей из сложной семейной ситуации, которую вмешательство государства усложняет еще более и делает совсем невыносимой.

Завершая сюжет функционирования сандовского «Жака» в отечественной литературе, укажем, что в усеченном и трансформированном виде эта ситуация намечена в финале романа И. С. Тургенева «Новь», где Нежданов, окончательно убедившись в своей непригодности к делу и «лишности» в жизни, стреляется, оставляя Марианну положительному со всех сторон «третьему» — фабриканту и постепеновцу Соломину. Ее элементы, или, скорее, абрис можно усмотреть и в других произведениях Тургенева — в пьесе «Месяц в деревне», в повестях «Пунин и Бабурин» и «Песнь

торжествующей любви»; сниженная инверсия ситуации «Жака» просматривается даже в «Дворянском гнезде». Некоторые ее отголоски налицо в драматургии Островского: в его поздней комедии «Красавец-мужчина» (1882) представлен тип измельчавшего романтического злодея и ловеласа Окаимова, при живой жене предлагающего брак богатым и одиноким женщинам в надежде обобрать их, а затем инсценировать свое исчезновение²³.

Пунктиром прослеженные отклики русских писателей на роман Ж. Санд теряют даже относительную полноту без упоминания еще одной, уже не столько литературной, сколько жизненной вариации на тему «Жака». Речь идет о Герцене — хотя его жоржсандовский сюжет подвергался анализу и ранее²⁴. В 1840-е годы он, рядом с Белинским, — один из первых в России пропагандистов освобождения женщины и раскрепощения ее из пут буржуазного брака. Вопросам частной жизни посвящены многие статьи Герцена этого периода, а также размышления в «Дневнике» и художественные произведения — в первую очередь роман «Кто виноват?». Гармония семьи, по его мысли, возможна лишь при соединении интересов частных, индивидуальных, с общечеловеческими — со «всеобщим», и здесь наибольшую трудность представляет воспитание женщины. В 1844 году, в связи с прочтением сочинений Ш. Фурье, он замечает: «...При совершенной свободе отношений вся ответственность падет на самого человека. Брака не будет — любовь останется, наследства не будет — дети будут» (II: 346). В «общинной жизни» Герцен видит спасение от грозной власти случайности, столкновение с которой потрясло в тот период его самого: «...В общинной жизни, развитой на широких основаниях, женщина будет более причастна общим интересам, ее нравственно укрепит воспитание, она не будет так односторонне прикреплена к семейству, и тогда удары [случая] будут выносимее» (II: 347).

Намеченную программу строительства новой семейной жизни писатель стремится реализовать в своей собственной семье, в дружеском кругу. Его идеи падают на питательную почву и быстро проникают в сознание жены, будучи поощряемы чтением романов Ж. Санд и поддерживаемы ближайшим окружением — в первую очередь Н. П. Огаревым, который в ту пору расстался с женой, еще долго не дававшей ему развода, и начал активно посещать дом А. А. Тучкова, почти сразу влюбившись в его младшую дочь — Наталию Алексеевну²⁵. Как показывают дальнейшие события, Наталия Александровна Герцен, однажды проникшись

ультрасовременными настроениями, остается верна им до конца, — и в этом состояло ее колоссальное отличие от мужа, для которого перенос теории в практику личных чувств и отношений оказался крайне тяжел и в конечном итоге невозможен.

Характерно, что тема любовного треугольника была лейтмотивной в творчестве Герцена; наиболее ярко она отражена в его первом романе — и в нем же, как позднее в жизни, этот сторонник раскрепощения женщины не смог «повторить» ситуацию «Жака».

В 1847 году Герцен с семьей уезжает на Запад, где происходит их знакомство, а затем и довольно тесное сближение с семейством немецкого поэта и революционера Георга Гервега. Историю ложной и краткосрочной (как полагал Герцен) любви его жены к Гервегу и последовавшей затем катастрофы уже после смерти Наталии Александровны писатель рассказал в своем «надгробном памятнике» жене — пятой части «Былого и дум» (т. е. в вошедшем затем в эту пятую часть «Рассказе о семейной драме»). Гервега он однозначно оценивал как мерзавца и пошлого буржуазного эгоиста, воспользовавшегося слабостью женщины, и поначалу призывал мировую социал-демократическую общественность к публичному суду над ним. Но для западной общественности, на рубеже 40–50-х годов наблюдавшей историю отношений двух семей, акценты были расставлены иначе, и первоначально сочувствующих Гервегу было значительно больше, чем солидарных с Герценом: многие полагали, что это Герцен не позволяет жене уйти к любимому человеку, что он проявляет преступный семейный деспотизм. Е. Н. Дрыжакова указывает, что для европейских демократических кругов середины XIX века это была важная экспериментальная попытка людей ««нового мира» противостоять старым предрассудкам и собственным примером начать «новую жизнь»»²⁶ — увы, увенчавшаяся поражением. Но, несмотря на трагический финал, показательно то недолгое равновесие, в котором прожили две семьи период острого разочарования в идеях и возможностях европейской революции 1848–1849 годов, их временное сплочение и даже паллиатив Герцена и Гервега, когда последний лето 1849 года жил в доме Герцена и когда их любовь с Н. А. Г. миновала свою высшую точку, символически закреплённую в их письмах в виде определенного знака: ^.

Тогда же, в напряженном желании сохранить и семью, и любовь, Наталия Александровна строит утопический план совместного существования их семей, а фактически сосуществования тро-

их — ее самой, Герцена и Гервега, ибо Эмма Гервег готова была на время самоустраниться и, зная, что рано или поздно муж вернется к ней, сама поощряла развитие чувства. Первое время, не будучи осведомлен о происходящем, эту идею поддерживал и Герцен — ведь они с Гервегом в дружеском кругу считались «близнецами»²⁷. Затем, когда появилась надежда на скорый приезд Огарева и Тучковой, уже живших в гражданском браке²⁸, они также включаются в семейную «общину» (Наталия Александровна Герцен искренне любила Н. А. Тучкову, звала ее «своей Консуэло» — по имени героини романа Ж. Санд). Так воскресает утопия «Царствия Божия на земле», созданная Герценом в переписке с невестой в 30-е годы²⁹ и теперь обретшая коллективистский характер. «Я смотрю на наше пребывание здесь как на *необходимое* (здесь и далее курсив автора. — Е. С.) зло и верую *непоколебимо*, что мы соединимся в обетованной земле, по которой у меня Heimweh, я ищу ее везде — в картине, в звуке, в луче солнца...» — пишет Н. А. Герцен Гервегу в марте 1850 года³⁰. Религиозно-патетические идеи о предназначенности встречи, о заповеданности союза двух душ, вынесенные женой Герцена из эпохи романтической юности 30-х годов, сочетаются в ее сознании с социальным протестантизмом, в котором она идет куда дальше мужа: «Если вы не смотрите на брак как на пожизненный абонемент на ваше тело, душу и т. п., почему хотите вы абонироваться на дружбу? Все это вздор, пустяки! Сошлись, разошлись, опять сошлись, опять разошлись, опять сошлись, и это *опять* уходит в бесконечность...»³¹.

Проект семейной утопии Герценов разрушился, не успев осуществиться. Как пишет Дрыжакова, «ситуация жорж-сандовского “Жака” была налицо. Однако Герцен не повел себя по этой модели»³²: не проявил «великодушного смирения» Жака — дело едва не дошло до дуэли и закончилось изгнанием Гервега из семьи. К практической радикализации интимных отношений оказались не готовы в первую очередь мужчины. Эгоизм мужа, не пожелавшего делить ее с Гервегом, Н. А. Герцен признавала естественным и даже не считала таковым: семья и дети для нее составляли нечто «священное», сам же Герцен ни в те годы, ни позже не был склонен устраивать «семейные бордели» в духе Чернышевского³³. Эгоизм Гервега, начавшего предъявлять Наталии Александровне серьезные права (он требовал от нее то разрыва с мужем, то самоубийства, грозил обнародованием их отношений и своей смертью), явился для нее страшным открытием («...Мой идеал был низверг-

нут, смешан с грязью»³⁴), с которым она до конца не хотела согласиться и, даже умирая, писала в последней записке Гервегу: «...Мои благословения будут следовать за тобою всюду, всегда...»³⁵. В самой же скорой смерти жены Герцен — по всей видимости, не без оснований — винил и Гервега, и себя.

Характерно, что позже в жизни Герцена составляется новый пра-сандовский треугольник: уже после смерти Н. А. Герцен за границу приезжают Огаревы, отношения которых между собой в ту пору были далеки от идиллии. Наталии Алексеевне Тучковой-Огаревой Наталия Александровна Герцен перед смертью поручила детей — и именно эта женщина стала последней подругой А. И. Герцена. Огарев довольно спокойно, хотя не без горечи воспринял случившееся, он не собирался разрешать ситуацию по модели литературы — ведь они в Англии, не в России, и их эмигрантский статус и уединенность жизни давали им право на многое. Совместное существование троих в одном доме («гинекей и общинное житье» (XXIX: 182), как позднее иронизировал Герцен) продолжалось еще долго — пока не участились размолвки Герцена и Тучковой и пока, уже в середине 60-х годов, Огарев не ушел к своей подруге, англичанке и «падшей женщине» Мэри Сетерленд. Любопытно, что в его отношения с Мэри неоднократно вмешивалась Тучкова, стремясь «образумить» Огарева и вырвать его из под тлетворного влияния своей фактической соперницы: даже расставаясь друг с другом, эта троица ощущала сильное взаимное притяжение и несла взаимную ответственность. Сама Тучкова в своей позднейшей исповеди сделала признание вполне в духе ушедшего романтизма или еще только долженствующего прийти неоромантизма символистов: «Что влекло Александра так сильно ко мне? именно то, что должно было сделать нашу близость немислимой: безграничная любовь Огарева ко мне. Это был магнит, который невольно, но неудержимо притягивал его ко мне — и любовь его жены к своей “Consuelo”»³⁶. Впрочем, ее отношения с Герценом так и не сложились, и этой женщине довелось пережить многое — смерть обоих «своих» мужчин и троих детей.

Таким образом, реальная жизнь и семейные отношения русских перешли границы самых смелых фантазий французской писательницы периода «бури и натиска» и воплотили на практике целый ряд иных сюжетов, казавшихся сугубо литературными и надуманными. Тройственные «семейные» союзы будут иметь разнообразное продолжение в литературе и жизни писательской сре-

ды России XX века, особенно в период символизма³⁷; они и далее сохраняли свое значение как форма радикального протеста против традиционной этики и сложившихся канонов буржуазного, или попросту «мещанского» (как будет принято говорить), брака. Однако ситуация сандовского «Жака», по-видимому, ушла в прошлое, поскольку изменились создавшие ее социально-психологические и экономические условия жизни, хотя для окончательных выводов по этой теме требуются дополнительные исследования.

¹ Эта статья представляет собой развитие и дополнение (хотя в определенном смысле и сужение) проблематики совместной работы: *Литовская М. А., Созина Е. К.* От «семейного ковчега» к «красному треугольнику»: адюльтер в русской литературе // Семейные узы: Модели для сборки: В 2 кн. М., 2004. Кн. 1. С. 248–291.

² Здесь и далее сочинения Герцена цитируются нами по следующему изданию: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1965. В тексте в круглых скобках указываются номера тома и страницы.

³ *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 400.

⁴ См., например, обзор литературы по этому вопросу: *Егоров Б. Ф.* Русские утопии // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. V (XIX век). С. 266–273.

⁵ *Белинский В. Г.* Указ. соч. С. 424.

⁶ Там же. С. 393.

⁷ *Скафтымов А.* Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 226.

⁸ *Строганова Е.* «Заветный вензель» Ж да З. Жорж Санд в русском литературном каноне // Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования / Сост. и общая ред. Э. Шоре, К. Хайдер. М., 2000. Вып. 2. С. 155–170.

⁹ Роман Ж. Санд «Жак» цитируется нами по следующему изданию: *Санд Ж.* Собр. соч.: В 9 т. Л., 1971. Т. 3. В тексте в круглых скобках указывается номер страницы.

¹⁰ Обычно под неравным браком понимается «семейный союз пожилого мужчины и молодой женщины, визуальным воплощением которого может служить известная картина В. В. Пукирева “Неравный брак”...» (*Голубева М. Ю.* Эволюция темы неравного брака в литературе первой половины XIX века // Русская литература XIX века в гендерном измерении: Опыт коллективного исследования. Тверь, 2004. С. 22–30). Динамику этой темы в русской литературе и рассматривает автор указанной статьи. Брак Жака и Фернанды можно отнести к «неравному» лишь условно, но так его оценивают, причем сразу, оба супруга, и причина здесь скорее духовная, субъективная, чем заданная возрастом Жака (ему 35 лет). Однако и Клеманс, подруга Фернанды, твердит о неразумности этого союза: «...вы с г-ном Жаком обречены всегда чувствовать и вести себя по-разному, даже если вы оба правы» (21), и Сильвия выражает свои дурные предчувствия в адрес их будущей семьи. Таким образом, Ж. Санд представила несколько утопичный, возвышенный, но вполне отвечающий духу того времени, а также воззрениям самой писательницы и ее круга вариант распространенной в патриархатном обществе семейной модели, которую мы вслед устоявшейся номинации называем «неравным браком».

¹¹ Как известно, классический вариант неравного брака изображен в первом романе писательницы «Индиана».

¹² См., например, сведения, приведенные в статье Б. Ф. Егорова (Указ. соч.), а также: *Паперно И.* Семiotика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996. С. 117–128.

¹³ *Дружинин А. В.* Полинья Сакс. Дневник. М., 1989. С. 72. Далее текст повести и дневника Дружинина, а также вступительной статьи Б. Ф. Егорова цитируется по этому изданию с указанием номера страницы в круглых скобках.

¹⁴ Мы можем предположить, что такая фамилия главному герою повести была дана Дружининым недаром: слишком очевидна звуковая переключка фамилии «Сакс» с псевдонимом «Санд», хотя и произносившимся в ту пору с озвончением — как «Занд». В ином ключе, что отмечает и Егоров, фамилия имеет отчетливую немецкую форму, что согласуется с характером героя.

¹⁵ По замечанию Б. Ф. Егорова, образ Сакса оказался крайне злободневным для русской литературы и нашел массу параллелей и подражаний — от гончаровского Штольца и Калиновича в романе Писемского — до персонажей М. В. Авдеева и др. (см. вступительную статью в издании: *Дружинин А. В.* Указ. соч. С. 11–12). Добавим, что скорее всего образ обеспеченного чиновника Сакса сложился у Дружинина не без влияния героя первого романа Гончарова «Обыкновенная история» Петра Ивановича Адуева (1846). Исключительно положительно повесть Дружинина была оценена Белинским, хотя он и пенял автору на идеализацию характера Сакса.

¹⁶ Характеризуя романы Ж. Санд, Э. Шоре пишет: «По своей структуре ... они могут быть прочитаны как воспитательные романы в смысле *education sentimentale* — воспитания чувств в душе героинь. Они могут считаться «женской формой воспитательного романа», как это сформулировала Гизела Шлинтц. У Санд это воспитание героинь является всеобъемлющим воспитанием в исходном значении этого слова и, тем самым, — самовоспитанием, преследующим как цель духовную и нравственную эмансипацию» (*Шоре Э.* Елена Ган — русская Жорж Санд? // Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования. М., 2000. Вып. 2. С. 17).

¹⁷ *Белинский В. Г.* Указ. соч. С. 402, 405.

¹⁸ Анализ повести Толстого с гендерных позиций см.: *Смирнова О. В.* Роман «Семейное счастье» в контексте позднего творчества Л. Н. Толстого // *Русская литература XIX века в гендерном измерении: Опыт коллективного исследования.* Тверь, 2004. С. 60–70. Здесь же проводится сопоставительный анализ «Семейного счастья» с «Крейцеровой сонатой», вследствие чего мы не останавливаемся далее на данной параллели.

¹⁹ Здесь и далее произведения Л. Н. Толстого цитируются по изданию: *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. М., 1979–1985. В тексте в круглых скобках указываются номера тома и страницы.

²⁰ *Смирнова О. В.* Указ. соч. С. 61.

²¹ См.: *Скафтымов А. П.* Чернышевский и Жорж Санд // *Скафтымов А. П.* Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 218–249.

²² Утешая Веру Павловну, Рахметов говорит: «Сколько расстройств для всех троих, особенно для вас, Вера Павловна! Между тем как очень спокойно могли вы все трое жить по-прежнему, как жили за год, или как-нибудь переместиться всем на одну квартиру, или иначе переместиться ... и по-прежнему пить чай вторым, и по-прежнему ездить в оперу вторым. К чему эти мучения? К чему эти катастрофы?» (*Чернышевский Н. Г.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1974. Т. 1. С. 300).

²³ Согласно исследованию О. Н. Купцовой, тип Окамова, как и Кисельникова

в пьесе «Пучина», представляет собой парафраз Островского на тему французской мелодрамы периода «неистового романтизма» — пьесы Виктора-Анри Дюканжа «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827). Окаемов — это, конечно, предельно сниженный, травестированный образ-пародия на романтического героя, падающего все ниже в борьбе со своими страстями. Более серьезная связь с дюканжевым Жоржем де Жермани намечается в отношении толстовского Федя Протасова. Однако использование Островским, в новых культурных и социальных условиях, типажей и ситуаций французского романтического театра, от которого недалеко до Ж. Санд, само по себе показательно. (см.: *Купцова О. Н.* «Пучина»: «Семнадцать лет, или жизнь семейного человека» (мелодрама в IV действиях) // *Щельковские чтения* 2003: А. Н. Островский в современном мире: Сб. ст. Кострома, 2004. С. 214–235.

²⁴ См., например: *Дрыжакова Е. Н.* Герцен и Жорж Санд // *Дрыжакова Е. Н.* Герцен на Западе: В лабиринте надежд, славы и отречений. СПб., 1999. С. 253–265.

²⁵ См. об этом подробное исследование: *Фреде В.* История коллективного разочарования: Дружба, нравственность и религиозность в дружеском кругу А. И. Герцена — Н. П. Огарева 1830–1840-х гг. // *Новое литературное обозрение*. 2001. № 49 (3). С. 159–190. Роман с Огаревым подробно описывает сама Н. А. Тучкова-Огарева в своих «Воспоминаниях» (см.: *Тучкова-Огарева Н. А.* Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1959. С. 39–96).

²⁶ *Дрыжакова Е. Н.* Указ. соч. С. 79.

²⁷ Е. Н. Дрыжакова указывает на источник этого наименования — повесть Ж. Санд «Маленькая Фадетта». См.: *Дрыжакова Е. Н.* Указ. соч. С. 261.

²⁸ Законная жена Огарева, М. Л. Огарева, умерла в 1853 году, и лишь после этого, в конце того же года, Н. А. Тучкова и Н. П. Огарев смогли вступить в брак официально, ранее Мария Львовна упорно не давала мужу развода, хотя сама проживала в Париже отнюдь не в одиночестве. Недаром М. Гершензон считал, что ее «литературная копия» — жена Лаврецкого из романа Тургенева «Отцы и дети» (см.: *Гершензон М.* Материалы по истории русской литературы и культуры: Русская женщина 30-х годов (Письма Е. А. Ган) // *Русская мысль*. 1911. № 2. С. 55). На отношения семьи Тучковых с Огаревым с большим подозрением смотрели власти. В начале 1850 года в доме Тучковых был произведен обыск, а самого А. А. Тучкова, мужа его старшей дочери Н. М. Сатина и Н. П. Огарева арестовали за «вольнодумие» и «безнравственность». Н. А. Тучкова производила на окружающих впечатление девицы «бойкой», «с мужскими замашками»; очевидно, что первое время именно она играла ведущую роль в их с Огаревым союзе. См. об этом: *Тучкова-Огарева Н. А.* Воспоминания. Гл. 6 с примеч.

²⁹ См. об этом: *Созина Е. К.* Сознание и письмо в русской литературе. Екатеринбург, 2001. С. 52–55.

³⁰ Письма Н. А. Герцен к Гервегам. Обзор Л. Р. Ланского // *Литературное наследство*. М., 1958. Т. 64. С. 277.

³¹ Там же. С. 273.

³² *Дрыжакова Е. Н.* Указ. соч. С. 261.

³³ Ср. отзыв Герцена о романе Чернышевского: «Он оканчивает фаланстером, борделью — смело» (XXIX, 167).

³⁴ Письма Н. А. Герцен к Гервегам. С. 312.

³⁵ Там же. С. 314.

³⁶ Архив Н. А. и Н. П. Огаревых / Собрал и подготовил к печати М. Гершензон. М.; Л., 1930. С. 264.

³⁷ См. об этом уже упоминавшуюся статью: *Литовская М. А., Созина Е. К.* От «семейного ковчега» к «красному треугольнику».

Б. Оляшек

Идея сестринства

в чеховской и постчеховской драме

«Новая драма», основоположником которой в России является Антон Чехов, а продолжителями — молодые драматурги-новаторы рубежа XIX–XX веков, отражает интерес к личности человека, к определению его положения в окружающем мире. Ее ядром является ситуация «я-в-мире», т. е. внутреннее присутствие «я» во внешней реальности. Представители «новой драмы» сосредоточены на экзистенциальной ситуации героев, определении внутренних причин их «не-действий». Это особенно отчетливо демонстрируют пьесы Антона Чехова «Три сестры» (1900), Людмилы Петрушевской «Три девушки в голубом» (1980) и Николая Коляды «Мурлин Мурло» (1989). Драматурги, в центре внимания которых находится личность человека, изображают переходное время, эпоху «промежутка». Отражая одиночество и трагизм человека в ситуации, когда мир пребывает в состоянии хаоса, авторы вышеназванных пьес ищут новые идеи, способные объединить людей.

Выявление причин драматического мироощущения человека в промежуточной ситуации и определение спасительных начал требуют рассмотрения тех связей, которые раньше скрепляли, а со временем потеряли свою привлекательную силу, т. е. требуют сравнения экзистенциального опыта поколений начала и конца XX века. На фоне экзистенциальной ситуации «я-в-мире» и «я в отношении к миру» выявляется особая роль сестринской связи,

которая, как нам кажется, является резонансом процессов, происходящих в культуре XX века. Нас интересуют ситуация зарождения и осознанности этой связи личностью (ситуация испытывающего) и условия, вызывающие эту осознанность (роль сестринской связи на фоне других форм связи: отношений сестер с миром-средой (социальные связи), отношений с членами семьи: родителями, детьми, супругами (личные связи), отношений с трансцендентными силами).

Мотив сестер и сестринской связи является одним из древнейших в русской культуре (фольклор) и классической литературе (сестры Ларины, Щербацкие, Епанчины, Тумановы¹). Его серьезная разработка началась с появления пьесы «Три сестры» А. Чехова.

«Отсутствие любого соревнования, бескорыстная доброжелательность, фетишизация страдания, подчеркнуто амбивалентное отношение к мужчинам, взаимообожание и убежденность в том, что, несмотря на все, “надо жить” — это не много, но и достаточно, чтобы сестры Прозоровы могли стать образцом сестринства для литературы XX века»², — считают польские исследователи.

Чехов, озаглавив пьесу «Три сестры», тем самым отметил значение «сестринства» как особой формы человеческой связи, которая больше других способов способна противостоять влиянию внешних обстоятельств. По мнению современного чеховеда, «пьеса Чехова не о любви и не о семье, хотя то и другое занимает в ней большое место. Любовь, брак, семья – частные проявления более широкого явления – ориентирования в мире. В пьесе Чехова изучается ориентирование и поведение современного человека в этих сферах, в жизни в целом, и везде обнаруживается то же: отсутствие общих решений и рецептов, истощенность известных форм, иллюзии и догмы, от которых не могут отказаться герои»³.

Нам кажется, что в ситуации межчеловеческого отчуждения и отсутствия четких нравственных ориентиров пьеса Чехова обнаружила спасительную для личности силу сестринской связи. Сестры Прозоровы не могут рассчитывать на помощь со стороны брата. Опору могло бы дать им замужество, но они, как и многие русские девушки, не смогли найти достойного себе мужчину (Кулигин как муж Маши смешон). В этой ситуации сестры ищут опору только друг в друге. Их сестринство, по словам И. Анненского, — «прибежище»: «Три сестры – какая это красивая группа! Как от нее веет чем-то благородным и трогательным. Сколько здесь бес-

помощности и вместе с тем чего-то греющего, неизменного. Какое-то прибежище»⁴. Далее И. Анненский подчеркивает, что источник силы сестринства заключается в духовном единстве: «Три сестры так похожи одна на другую, что кажутся одной душою, только принявшей три формы. Они любят одно и то же и в одно и то же верят»⁵.

По мнению критика, основой этого единства является любовь к прошлому, которое, добавим от себя, противопоставляется настоящему. Прошлое сестер – это культурный мир дворянской семьи, который вербализован в слове-знаке «Москва». Настоящее – это чувство дискомфорта, связанного с неудовлетворенностью бескультурьем провинциального города и давлением мещанских нравов невестки в доме. При индивидуальных представлениях о жизни у сестер Прозоровых один и тот же экзистенциальный опыт: потеря родного московского дома и мечта о его восстановлении, связанная с желанием возвращения под московскую кровлю.

Сестер Прозоровых объединяет код интеллигентной семьи: образованность, любознательность, уважение к другому человеку, любовь к отдельным членам семьи и к слугам. Сестры с любовью и пониманием относятся друг к другу. В межличностном общении преобладает форма взаимообращения, выраженная в эпитете «милые сестры». Межличностные конфликты имеют в пьесе «Три сестры» второстепенное значение, потому что, как пишет В. Катаев, сталкивая героев, Чехов настаивает на их скрытой общности⁶.

Сестры бездейтельны. Они не предпринимают конкретных действий для улучшения своего положения. Они не ссорятся с невесткой по поводу постепенного ограничения их прав в доме, не отчитывают брата за его легкомыслие, не обращаются в суд, чтобы заявить свои права на наследство (дом). «Точно спят все», – такими словами Вершинин определяет общее впечатление от их поведения.

Источник трагизма в пьесе Чехова не в отношении «я» к миру, но в положении «я-в-мире». Драматург делает акцент не на внешней, но на внутренней мотивировке действий, на чисто психологической обоснованности драматизма положения.

Автор следит за сохранением связи между нравственным обликом личности и его внешними проявлениями. Они заключаются в плохо скрываемом недовольстве героинь окружающими (Наташей, грубо относящейся к няне, пьющим Чебутыкиным, Машей,

открыто признающей в любви к женатому мужчине), а также в тоске. Свою неудовлетворенность жизнью сестры выражают в монологах, адресованных собеседникам. Однако их речи не находят ожидаемого отклика у слушателей. И реакция сестер на слова собеседников в большинстве случаев неадекватна сказанному. Такое положение запрограммировано драматургом в ремарках. Характер сестер обнаруживается не в событиях, а в ситуациях, представляющих собой межличностные конфликты, вызванные поведением или недомолвками других лиц (Наташи, Соленого, Вершинина). Недоразумения не разрешаются вербальным способом, но наполнены драматическим молчанием или монологами о незначительном. Молчание же, как известно, наряду с диалогом, жестом, мимикой является формой поведения персонажа⁷. Молчание сестер направлено на окружающий мир, который они не одобряют, но не решаются об этом говорить вслух. Исключение в употреблении приема молчания как формы поведения составляет импульсивная Маша, которая, когда говорит, становится грубой, а если сдерживает себя, изъясняется литературными цитатами и музыкальными напевами.

Современные теоретики драмы считают, что антропологическая трактовка персонажа требует изображения его в развитии⁸. Чехов-драматург придерживается этого требования. Его героини изменяются на протяжении времени действия. Вместе с их становлением растет сила сестринской общности.

Ольга за ночь, в которую случился пожар, постарела на десять лет. В четвертом действии она утешается тем, что своими страданиями она и сестры окупают счастье будущих поколений, и одновременно называет причину страданий. Страдания являются следствием нарушения правил этического кодекса поведения, заложенного в воспитании. «Все делается не по-нашему» (XII, 184) — оценивает Ольга все происходящее в доме.

Меняется и Маша, которая жила жизнью литературной героини, но, полюбив Вершинина, созрела, убедившись, что «каждый должен решать сам за себя...» (XII, 169), а также расплачиваться за свои решения. В результате любовных переживаний она испытала горечь страдания: «Неудачная жизнь... Ничего мне теперь не нужно...» (XII, 185).

Жизненное становление Ирины происходило под влиянием внешних обстоятельств: опыта труда, решения о замужестве без любви, смерти жениха. От уверенности в том, что она знает, как

жить, героиня приходит к убеждению, что она неспособна влиять на ход событий, что она орудие в руках неумолимой судьбы.

В ситуации разочарования в осуществлении светлых надежд на счастье единственной опорой для героинь становится сестринство как проявление родственной связи. Сестры на протяжении всего действия ищут и находят одна у другой защиту перед ударами судьбы и оказывают друг другу поддержку. Для утверждения своей мысли о том, что родственная связь является для человека единственным средством спасения от тоски, драматург дополняет литературную характеристику героинь средствами театрального языка. Он использует семантику жестов. В ремарках говорится: «Три сестры стоят, прижавшись друг к другу», Ирина «кладет голову на грудь Ольги», Ольга «обнимает обеих сестер». И. Анненский оценивает эти жесты сестринской солидарности в ситуации разрушения надежд на разрешение жизненных проблем как проявление слабости: «У каждой стало в душе не то что меньше силы, а как-то меньше доверия к себе, меньше возможности жить одной. И это их еще больше сблизило»⁹.

Нам кажется, что финальный пуант: «О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить!» (XII, 188) должен вызвать эффект ободрения и убедить реципиента в обнадеживающей силе сестринства. Она, заметим, актуализируется в ситуациях, характеризующихся отсутствием мужчин, способных стать им опорой.

Сестринство представлено источником нравственной силы в пьесе «Девочки» (1945) Веры Пановой. В пьесе изображены две сестры-подростка в ситуации первых дней войны. У них нет опоры в семье (мать умерла, отец на фронте). В этих условиях старшая из них, Инна, проявляет к младшей, Томке, глубокие нежные сестринские чувства, зарабатывает деньги на ее содержание, заставляет учиться. Младшая сестра отвечает ей не менее глубокой привязанностью (заботится о ее здоровье, старается не беспокоить ее своими проблемами). Основой отношений обеих сестер является эмоциональная родственная связь. Сестринская связь оказывается сильнее дружеских, товарищеских и личных (отношения Инны с поклонниками) связей. Сестринская любовь позволила героиням прожить трудное время: от символической зимы (начало войны) до весны (торжество победы).

Л. Петрушевская в драме «Три девушки в голубом» аллюзийным заглавием («три девушки») отсылает читателя к чеховским героиням, проецируя тем самым интертекстуальное прочтение

пьесы. В экспозиции намекается на родство трех девушек с чеховскими сестрами: «У нас была одна прабабушка и один прадедушка». От хозяйки дачи героини узнают, что являются внуками некоей Софьи. На этом основании Е. Петухова полагает, что «три девушки в голубом» — литературные правнучки Прозоровых¹⁰, т. е. Андрея с Наташей. Они — троюродные сестры, биологические родственницы.

Центральные персонажи пьесы — Ирина, Татьяна и Светлана — в автопрезентации выясняют родственные связи и ищут общих предков. Их волнуют поиски личной идентичности. Сильнее биологического родства оказывается экзистенциальный опыт. Они все одиноки, у каждой свое горе. Две из них без мужей, третья не может рассчитывать на мужа, потому что он пьяница и лентяй. Все они воспитаны без отцов и во взрослой жизни сами не заботятся по-настоящему о родителях. Не надеются также на помощь в старости от своих детей.

«Что касается человеческих взаимоотношений, — замечает современная исследовательница, — то здесь Петрушевская отдает предпочтение родовым, коренным или извечным конфликтам внутри семьи или рода и, прежде всего, между разными поколениями, то есть традиционным противоречиям между “отцами и детьми”»¹¹.

В своем одиночестве «девушки в голубом» — «чеховские» персонажи, но только изображены в другом хронотопе. В бытовом плане их нельзя считать наследницами сестер, потому что у них другой культурный код: они ссорятся из-за детей, из-за жалкого наследства, которым является дачный дом с развалившейся крышей. Поэтому справедливой кажется реплика мужа одной из героинь по поводу семейной генеалогии: «Фальшивые вы внуки, вот что я скажу»¹².

Самое большое участие в действии принадлежит Ире. Остальные сестры — Татьяна и Светлана — являются фоном, на котором еще выразительнее оттеняется личность главной героини. Не случайно волей автора героиня названа именем Ирины, несущим чеховскую семантику. Ира — образованная женщина, почти кандидат наук. Она, подобно чеховской Ирине, знает три иностранных языка, редких и непопулярных и, так же как у Чехова, невосребованных. Она — самая активная среди сестер (ухаживает за больным ребенком, заводит роман с женатым мужчиной, ссорится с матерью, ездит с любовником в Крым). Ее характер обнаруживается в отношениях с ребенком, матерью, мужчиной, сестра-

ми и в характеристиках окружающих лиц: дачной хозяйки Федоровны, матери, сестер, которые «по-женски» сплетничают за ее спиной. Она относительно самостоятельна (не разделяет принятого дачниками способа поведения, не садится за бутылочку, не сплетничает, не ленится). Ирина не сдается перед бытовыми трудностями, но ищет выход из сложных жизненных ситуаций. «Ты цепкая» — говорит о ней Татьяна, и Ирина согласна с такой оценкой: «Цепкая, что и говорить. Цепляюсь за жизнь» (24). Жизнь у Петрушевской — иначе, чем у Чехова, — категория не философская, но бытовая. Героини Петрушевской, как замечает современная исследовательница, «не мечтают и не говорят о будущем, тем более далеком, не задаются философскими вопросами, их волнует не глобальный вопрос “зачем жить?”, а вполне конкретный “как выжить?”»¹³. Борьбой за существование можно объяснить напряжения между персонажами Петрушевской и способ их разрядки. Чеховская «воспитанность» заменяется в пьесе Петрушевской «законом джунглей», молчание — эмоционально окрашенным словесным потоком разговорно-бытового, просторечного языка (драматург лингвистическими средствами определяет культурное поле обитания персонажей). В сложившейся жизненной неурядице, после очередного провала попытки налаживания нормальных отношений с мужчиной, героиня обнаруживает спасительную ценность сестринской связи. Она ищет поддержку у сестер, и не только ищет, но и сама предлагает им помощь во имя сестринской солидарности. На замечание Федоровны, что «все люди братья», Ира радостно отвечает: «Не все, некоторые — сестры!» (65). На фундаменте сестринства она строит дальнейшие планы. Осознание существования родственной «сестринской» связи в межперсональных отношениях играет дополнительную роль своеобразного антикатализатора, снижающего напряжение, возникшее из-за жизненной неудачи. Если в начале пьесы существование сестринского родства вызывало сомнения, то в финале оно стало не формальным, а подлинным, эмоциональным типом межчеловеческой связи. Идея сестринства здесь — не простой феминистский акцент, а отражение ситуации человека в переходный момент исторических изменений (горбачевской перестройки).

К кругу пьес, затронувших проблему сестринства и использовавших персонажную структуру чеховских «Трех сестер», принадлежит экзистенциально-абсурдистская драма «Мурлин Мурло» Николая Коляды¹⁴. В пьесе «Мурлин Мурло» только две сестры —

Ольга и Инна. Они поставлены автором в типично чеховскую ситуацию: «все мы несчастные», требующую определения своего «я-в-мире». Мир сестер у Н. Коляды — провинциальный советский городок, в котором почти все жители работают на «Коксохиме», в котором один кинотеатр и Дом культуры. Жизнь в этом городке стала до такой степени абсурдной, что должна кончиться уничтожением. В этом убеждены обе сестры. Их местоположение в городской общественности определено их незамужеством (от Инны бежал муж, Ольга живет с соседом). Ни у матери, ни у сестер не складывались отношения с мужчинами. Отношения отличались примитивным эротизмом и насилием. Обе сестры оказались неспособными к материнству. Обе они не любят свою мать за ее строгость и физическое насилие над ними. В такой ущербной модели личной жизни резонируют доминантные дискурсы культуры, в которых секс вытеснил любовь, культуры, которую отличает борьба за обладание мужчиной.

Каждая из сестер ищет свой выход из тупика жизненного абсурда и одиночества. Ольга находит счастье в общении с Богом. Оно началось в детстве с появления над домом инопланетного корабля — «летающей тарелки». Героиня убеждена, что к ней являются мультики, а в них Бог. Она особо отмечена посещением Бога. Ольга видит себя медиум-посредником между Богом и людьми. С этих позиций она относится к Инне. В осознании своей духовной миссии помог ей мистический опыт — составная «ситуации испытывающего субъекта»¹⁵. Испытав божью благодать, она ко всем относится с любовью и сочувствием. Ольга стремится к духовному спасению близких, прежде всего сестры, погруженной в мир советской коммунальности. Хотя она не одобряет образ жизни Инны и в ее адрес бросает гневные замечания и обидные определения, но ей по-человечески жалко сестру.

Инна, в отличие от смиренной Ольги, — озорная. Героиня создана по зощенковским моделям «советской женщины». Из-под маски «веселой бабенки» проступает серьезное, а порой трагическое лицо. Инна способна к пониманию сути окружающей жизни. Эта суть у нее концептуализирована в топосе леса: «только лес, лес, лес. Без конца лес, лес...»¹⁶ (13). Инна поднимает философский вопрос о смысле жизни: «Везде, говорят, страшные просто дела творятся. А жить охота. Вот охота мне жить — ну до смерти охота!» (13). В другой раз, устав от безнадежной жизни, Инна выражает противоположное желание: «Господи, как мне все надоело...

Как мне уже жить не хочется» (17). В этой ситуации она желает всеобщего уничтожения, апокалипсической катастрофы, которая положит конец всему. В роковые минуты, например в начале действия, в душе героини обнаруживается ранее не осознаваемое ею чувство сестринской связи. Инна, жившая отдельно от семьи, в час приближающейся катастрофы появляется в доме, чтобы просить у сестры прощения и попрощаться с ней. «Милая моя, прости, что я тебя обижала!» (11). Чувство личной вины тут же превращается в чувство вины всеобщей. Виновата, собственно, не она, а проклятая шипиловская жизнь. Героиня начинает искать выход из тупикового положения. Она надеется на помощь пришельца извне – квартиранта Алексея, которого просит взять ее с собой в Ленинград и направить на новый путь: «Ты меня только подтолкнешь, дорогу покажешь» (22).

Из советского Шипиловска хотят вырваться обе сестры. Мечты о новой, лучшей жизни они связывают с европейским Ленинградом. Их планы не могут осуществиться без внешней помощи мужчины-спасителя. Обе сестры влюбляются в него, что осложняет их сестринские отношения. Собираясь уехать с Алексеем, Инна, однако же, не забывает о сестре и обещает взять ее с собой: «Ты не бойся, Оля! Мы тебя тоже спасем. <...> Мы только обустроимся на новом месте, мы тебя сразу же вызовем! Телеграммой, Оля! Молнией, срочной, Оля! Ты не волнуйся! Мы тебя отсюда вытащим!» (23).

После неожиданного отъезда Алексея она становится несправедливой и обвиняет в своей неудаче сестру. Ее гнев направлен и на мужчин.

Вопреки примеру чеховских сестер, сестры в пьесе Н. Коляды в минуту разрушения надежд не сближаются, не ищут поддержки друг у друга. Инна упрекает Ольгу, что та из ревности помешала ей уехать с Алексеем. Это обвинение – кульминация разрушения межличностных отношений. После этого может наступить только апокалипсис. Финал содержит гротескную картину землетрясения, которое должно положить конец всему. Бог, покинувший шипиловскую землю, больше не является на призыв Ольги. Вместе с Богом исчезло чувство светлой любви и восторжествовала темнота. Темнота и хаос, отсутствие элементарных человеческих чувств — это черты модели мира, характерного для постмодернистской культуры. В таких условиях сестринские чувства не способны устоять.

На основании анализа узкого и довольно специфического аспекта чеховской и постчеховской драмы, каковым является идея сестринства, заметим, что присутствие этой идеи оказывается не только результатом подражания Чехову, но и художественным закреплением изменений в русской культуре XX века, которая все сильнее ориентируется на женское начало. Эти изменения интенсифицируются в промежуточные моменты истории (во время войны, в период перестройки и на послеперестроечном этапе). Процесс поступательной феминизации можно объяснить факторами историческими (истребление мужчин на войне), биологическими (деградацией, вызванной алкоголизмом), социальными (беспринципной борьбой за существование). Его катализатором является дегуманизация личностных отношений. Все чаще сфера межполовых взаимодействий строится с опорой исключительно на сексуальные связи; они рожают потребность эмоциональной компенсации, формой которой является родственная сестринская связь. Особую важность приобретает тема борьбы за обладание мужчиной и разочарование в нем. Эти процессы нашли отражение в современной «новой драме» и выразились в росте значения гендерного аспекта в моделировании персонажа. Его частное проявление — это сестринская связь.

Оказывается, что спустя почти сто лет после «Трех сестер» в ситуации межчеловеческого отчуждения сестринство остается одним из самых сильных видов межчеловеческих связей. В «новой драме», возникшей в русле чеховской традиции, идея сестринства выступает скрепляющим началом человеческого существования в экстремальных условиях смены жизненных укладов.

¹ Сестры Ольга, Софья, Зинаида Тумановы — это героини повести «Три сестры» (1891) И. Ясинского — члена чеховской артели.

² *Duniec K., Krakowska-Naroiński J.* Siostra, siostry, siostrzeczstwo // *Dialog*. 1999. № 10. S. 117. (Перевод мой. — Б. О.)

³ *Катаев Б. В.* Литературные связи Чехова. М., 1989. С. 218.

⁴ *Анненский И.* Драма настроения. «Три сестры» // *Избранное*. М., 1987. С. 281.

⁵ Там же. С. 284.

⁶ Там же. С. 211.

⁷ *Krajewska A.* Milczenie w dramacie // *Problemy teorii dramatu i teatru* / Pod red. J. Deglera. Wrocław, 2003. Т. 1. S. 140.

⁸ См.: *Baluch W., Sugiera M., Zajac J.* Dyskurs, postać i pieśń w dramacie. Kraków, 2002. S. 210.

⁹ *Анненский И.* Драма настроения. «Три сестры». С. 287.

¹⁰ См.: *Петухова Е. Н.* «...Счастье — это удел наших далеких потомков»: от

«Трех сестер» Чехова к «Трем девушкам в голубом» Петрушевской // Чеховиана. «Три сестры». 100 лет. М., 2002. С.143.

¹¹ *Королькова Г. Л.* Чеховская драматургическая система и драматургическое творчество Л. С. Петрушевской: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Чебоксары, 2004.

¹² *Петрушевская Л.* Три девушки в голубом // Петрушевская Л. Песни XX века. М., 1988. С. 20. Далее номера страниц по этому изданию указаны в тексте в круглых скобках.

¹³ *Петухова У. Н.* «Счастье — это удел наших далеких потомков»: от «Трех сестер» Чехова к «Трем девушкам в голубом» Петрушевской. С. 143.

¹⁴ *Стрельцова Е.* Мистический нигилизм // Современная драматургия. 1998. № 1. С. 196.

¹⁵ *Dupré L.* Doświadczenie mistyczne jaźni jego znaczenie filozoficzne // Psychologia wierzeń religijnych / red. K. Jankowski. Warszawa, 1990. S. 185–212.

¹⁶ *Коляда Н.* Мурлин Мурло [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.koliada.uralinfo.ru>. В дальнейшем цитаты приводятся по этому сайту, в круглых скобках указан номер страницы.

Ю. В. Клочкова

Родительские комитеты как место
ликвидации конфликтов между семьей
и школой (по материалам
екатеринбургской прессы начала
XX века)

В 1910-е годы в екатеринбургских газетах постоянно появляются сообщения об организации родительских комитетов — деле новом и поэтому необычном. В 1905 году выходит циркуляр министра народного образования о создании родительских комитетов при учебных заведениях. В Екатеринбурге такие комитеты возникают при женской и мужской гимназиях. Это начинание привлекло многих родителей, стремящихся проникнуть в достаточно закрытую сферу школы и «объединить семью и школу для совместного со школою преследования задач образования и воспитания детей школы» [Екатеринбургская газета 1912]. Газеты Екатеринбурга весьма подробно освещают заседания родительских комитетов, тем более что сделать это было нетрудно — к тому времени в Екатеринбурге существовали две гимназии и Алексеевское реальное училище (при начальных, четырехклассном и трехклассном училищах, а тем более при школах духовного ведомства родительские комитеты, по всей видимости, не создавались).

Весьма показательна информация о заседании родительского комитета мужской гимназии (нынешняя гимназия № 9) от 3 февраля 1906 года, появившаяся в № 13 «Екатеринбургской газеты». На этом заседании встал вопрос о необходимости строительства «обширной рекреационной залы при гимназии». Председатель родительского комитета отметил несколько причин этой потребно-

сти, среди которых важнейшей была забота о здоровье гимназистов и их преподавателей: «Воспитанники зимой во время перемен, не имея в своем распоряжении свободного теплого помещения, должны оставаться в классах, чем устраняется возможность освежать классы притоком свежего воздуха, почему воспитанники во время своих занятий в гимназии принуждены дышать воздухом испорченным, что несомненно разрушительно действует на их детский несложившийся организм, но не в лучшем положении находятся и преподаватели, проводя в этой атмосфере целые часы в напряженной деятельности». Второй причиной для постройки зала было желание родителей видеть своих детей физически развитыми, поэтому в зале предполагалась поместить «гимнастические приспособления для занятий гимнастикой, столь необходимой для физического развития детей». И наконец, как следовало из доклада, если устроить в зале переносную сцену, она послужит «воспитанникам прекрасным помещением для их публичных упражнений в чтении, в игре на музыкальных инструментах в присутствии их родителей и преподавателей».

Как видим, это заседание действительно демонстрировало заботу родителей о «столь желанном сближении и единении школы и семьи», когда родители высказывались в пользу пристроя к гимназии и проявили готовность открыть подписку на сбор денежных средств для строительства зала. Но ждать этого сближения и единения гимназистам, их родителям и преподавателям пришлось, как обычно, долго. Построена рекреационная зала была в 1912 году, на следующий после 50-летнего юбилея гимназии год, поэтому празднование было перенесено на год. И тут уж действительно воплотилась мечта шестилетней давности: в зале звучали публичные выступления, декламация, пение: праздновался юбилей. (К слову, в гимназии был еще один большой зал — на втором этаже, и автор данного материала, выпускница школа № 9, именно там вместе с одноклассниками, учителями и родителями отмечала радостные праздники школы. В начале XX века этот зал имел совсем другое назначение — там находилась домовая церковь «во имя иконы Покрова Божьей Матери» [Ворошилин 1995]. Но в 1919 году, когда страна жила по другим циркулярам (декретам), один из них запретил домовые церкви, поэтому вопрос с актовым залом решился сам собой. А в построенной «рекреационной зале» утвердился спортивный зал. Впрочем, школьные балы, а проще дискотеки, именно там и проводились.)

Но вернемся в 1912 год. Этот год принес гимназистам и их родителям не только радостные юбилейные хлопоты. Из публикаций местных газет мы узнаем, что, по всей видимости, интерес к единению школы и семьи у родителей резко уменьшился. В местных хрониках екатеринбургских газет то и дело появляются сообщения о несостоявшихся выборах родительских комитетов из-за «неприбытия законного числа живущих в городе родителей на первое собрание» [Голос Урала 1912]. Законное число, по новому циркуляру министра народного образования, составляло 2/3 родителей учеников, живущих в городе, причем, как сообщается в одной из газетных публикаций, по циркуляру 1911 года все того же министра «родительские комитеты могли образовываться только в нескольких, очень немногих городах России» [Там же]. Екатеринбург, очевидно, входил в это число, причем количество учебных заведений в нем увеличилось — к уже имеющимся гимназиям и реальному училищу прибавилась 2-я женская и Румянцевская женская гимназии.

Леность и равнодушие большинства вызвали возмущение не только у родителей, продолжавших болеть за школьную жизнь своих детей («Голос Урала» периодически печатает их призывы одуматься и прийти на собрания), но и у екатеринбургского журналиста Вячеслава Чекина, печатавшего в этой и других газетах свои стихотворные фельетоны под псевдонимом Никто-не. Один из таких фельетонов [Там же], в котором явно слышны героические ноты революционных песен, содержит открытый призыв к деятельности:

Вставай-поднимайся, родитель-лентяй!
Иди на собрание, негодный!
Свои комитеты губить не давай,
Карась и «Обломов» природный!
И звери, и птицы в защиту детей
Бросаются с дерзкой отвагой,
А ты безучастно «футлярных людей»,
Завесивших чувства бумагой,
Которых святая святых «циркуляр»,
Все прочее — только картонка,
Лишаешь контроля, приносишь им в дар
И душу, и разум ребенка.

Борьба разгорелась нешуточная. Дважды созывались родительские собрания в мужской и трех женских гимназиях, в реальном

училище, но кворума собрать не удавалось. Положение осложнялось тем, что в сентябре в Екатеринбурге в течение трех сентябрьских недель произошло три самоубийства молодых людей. В № 156 «Голоса Урала» публикуется открытое письмо родителям, подписанное «Мать», в котором звучит серьезная обеспокоенность ситуацией, и в этом же номере Никто-не вновь обличает родителей в фельетоне, одно название которого должно немедленно отправить нерадивых на собрание — «Гроб вчера и гроб сегодня»:

Нет причин, нет оправдания
Общей глухоте.
Пусть очнутся, пусть услышат,
Пусть скорей поймут...
Пусть, одумавшись, признают:
«Дети не враги»!

А в это время «инициативная группа родителей» развернула активнейшую работу по «созданию кворума» на родительском собрании. Особенно ярко в этом плане проявили себя родители мужской гимназии. После очередного несостоявшегося собрания группа родителей «обратилась с просьбой к директору гимназии А. Яненцу предоставить им списки всех учеников и их адреса» [Голос Урала 1912], тут же в гимназии распределила их между родителями, и те принялись оповещать остальных самыми разнообразными способами — от телефонных звонков и телеграмм до личного посещения.

Совместные усилия неуспокоенного журналиста и неуспокоенных родителей не пропали даром. Родительский комитет в мужской гимназии был избран. Вошли в него такие известные в городе люди, как врач И. Г. Упоров, юрист А. А. Ардашев, предприниматель И. Е. Ошурков.

Наученные горьким опытом, в следующем, 1913 году родители сразу же после первого, естественно не состоявшегося по той же причине (отсутствие кворума), собрания «развернули агитацию». Результат не заставил себя ждать: сразу в трех учебных заведениях (мужская, 1-я женская гимназии и реальное училище) были созданы родительские комитеты.

Однако посвященный в проблему Никто-не на страницах газеты «Зауральский край» не преминул опубликовать очередной фельетон, теперь в прозе, «Через тысячу лет». События, происходящие в фельетоне, действительно отделяет от реальности этот ог-

ромный промежуток времени. «Урал обеднел и облысел», Екатеринбург разрушен землетрясением. По развалинам чудом сохранившиеся проводники «водят туристов, прибывших сюда на гигантских аэро-моторах»: «А на этом вот месте в начале первой половины чреватого событиями XX века стояла мужская гимназия, дальше реальное училище, еще дальше женская гимназия, одна из которых по удобству и красоте здания, созданного упорным трудом просвещеннейших граждан, была лучшей гимназией Урала. В этих стенах ... было избрано три, вы слышите, три родительских комитета... До этого достопримечательного события Екатеринбург славился только золотом, железом, драгоценными камнями, хорошим городским театром и отсутствием порядка в управе. С сентября же 1913 года он стал славиться своим, единственным тогда в России, тройным родительским комитетом, избранным в одном уездном городе» [Зауральский край 1913].

Прекрасно понимая, что избрание комитетов состоялось только благодаря уральскому характеру группы родителей, Никто-не увековечил в своем произведении и память о них: «Это были родители с железным упорством и нечеловеческой энергией, леди и джентльмены. В екатеринбургском музее долго потом хранились реликвии этой упорной борьбы “железной родительской группы” с вялым безразличным большинством: трубки гимназических телефонов с лопнувшими от бесконечных переговоров пленками, изорванные в клочки шины велосипедов, скелеты загнанных извозчицких лошадей, на которых иные граждане... собирали родительские кворумы, надорванные веревки (на них приводили на избирательное собрание самых ленивых родителей...)» [Там же].

Так драматически складывалась история отношений школы и родителей в Екатеринбурге.

Литература

Екатеринбургская газета. 1912. № 112.

Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга. Екатеринбург, 1995. С. 59.

Голос Урала. 1912. № 155, 156.

Зауральский край. 1913. № 194.

С. А. Ушакин
Рухлядь быта:
семья, наследственность, природа

Люди советской науки хорошо знают, что развитие предполагает появление нового из старого, одних форм из других. А все теории наследственности, построенные по принципу «плоть от плоти», или «хромосома от хромосомы», или «ген от гена», приводят к выводу, что нового на свете ничего не появляется, что все на свете дано изначально. Отсюда — бессилие таких знаний в управлении развития организмов, отсюда — вредность таких знаний для людей практики.

*Т. Лысенко. О путях управления
растительными организмами (1940)*

Каждый воспитанный нами человек — это продукт нашего педагогического производства. И мы, и общество должны рассматривать наш продукт очень пристально и подробно, до последнего винтика. Как и во всяком другом производстве, у нас возможен выпуск прекрасной продукции, только удовлетворительной, только терпимой, наконец, условного брака, полного брака.... Наш основной материал — дети — неизмеримо разнообразен. Спрашивается, сколько процентов этого материала годится для воспитания «человека, полного инициативы», — 90? 50? 10? 0, 05? А на что пойдет остальной материал?

*А. Макаренко. Опыт методики работы
детской трудовой колонии (1932)*

— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Вошев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь. Она для меня не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог сделать?

— Я бы мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вошев, а не от смысла... Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

<...>

— Все живет и терпит на свете, ничего не создавая, — сказал Вошев близ дороги и встал, чтобы идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. — Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.

А. Платонов. Котлован (1930)

В начале 1920-х годов, вскоре после Октябрьской революции, несколько русских этнографов опубликовали небольшую книгу очерков, объединенных заголовком «Старый и новый быт». Используя материалы экспедиций по деревням русского Севера, исследователи сделали попытку зафиксировать изменения повседневной жизни за пределами крупных городов. В одной из статей приводится следующая частушка:

Ничего я не боюсь
И ничем не дорожу,
Если голову отрежут,
Я другую привяжу [Тан 1924: 18].

Логика частушки причудливо, но вместе с тем и вполне предсказуемо обозначила параллелизм перемен данного периода. Отсутствие иерархии ценностей, их неразличаемость и взаимозаменяемость увязываются — по крайней мере, дискурсивно — с аналогичной неразличаемостью и взаимозаменяемостью личности, призванной эти ценности олицетворить. В данном случае — в буквальном смысле этого слова.

Разумеется, подобный взгляд на мир был свойствен не только

крестьянам русского севера. В 1931 году о сходном отсутствии установленного *порядка* вещей, об отсутствии быта, — т. е. той самой рутины, чья фундаментальная роль в структурировании индивидуальной жизни оказывается наиболее очевидной лишь в момент ее распада, — писал и Роман Якобсон. Именно отсутствие обустроенной *личной* жизни становится для Якобсона важнейшей чертой первого советского поколения. Как отмечал лингвист: «Мы слишком порывисто и жадно рванулись к будущему, чтобы у нас осталось прошлое. Порвалась связь времен. Мы слишком жили будущим, думали о нем, верили в него, и больше нет для нас самодовлеющей злобы дня, мы растеряли чувство настоящего. Мы — свидетели и участники великих социальных, научных и прочих катаклизмов. Быт отстал... Мы знаем, что уже помыслы наших отцов были в разладе с их бытом. Мы читали суровые строки о том, как брали отцы напрокат старый, непроветренный быт. Но у отцов еще были остатки веры в его уютность и общеобязательность. Детям осталась одна обнаженная ненависть к еще поизносившейся, еще более чуждой рухляди быта. И вот “попытки устроить личную жизнь напоминают опыты с разогреванием мороженого”» [Jakobson 1979: 381].

Используя в качестве отправной точки идею Якобсона о расстроенном «чувстве настоящего», сопровождаемом провалом опытов по обустройству «личной жизни», в данном тексте я останавлиюсь на том, как сходное ощущение отсутствия какого бы то ни было «порядка вещей» и «убежденного чувства», осознание «разлада с бытом» отразилось в публичной риторике 30-х годов в текстах писателя Максима Горького (1868–1936), агробиолога Трофима Лысенко (1898–1976) и педагога-литератора Антона Макаренко (1888–1939).

Бытие вовне: вненаходимость

Интерес к классическим текстам довоенного социализма обусловлен, разумеется, не только их собственной исторической и риторической спецификой. Скорее, он связан с попыткой прочтения этих работ в рамках более широкого контекста. На мой взгляд, «ускоренная модернизация» между двумя мировыми войнами, в ходе которой был сформирован и Советский Союз, и «советский человек», во многом обнажает те «двусмысленности, противоречия, использование силы, а также те трагедии и парадоксы», ко-

которые обычно остаются за пределами списка классических характеристик, традиционно связанных с понятием «современность» (см.: [Chakrabarty 1997: 228]).

В текстах, о которых пойдет речь ниже, «современность» возникает не только как серия «великих социальных, научных и прочих катаклизмов» [Jakobson 1979: 381], направленных на полную замену уже сложившихся порядков, привычек и форм жизнедеятельности и жизнеорганизации. Наряду с этим «ускоренная модернизация» российского общества реализуется в форме фундаментальной подмены, при которой принципиальная для современности «технология производства себя» (*technology of the self*), о которой не устал говорить Мишель Фуко, оказывается подменной просто *технологией*.

Советская риторика модернизации и современности, иначе говоря, может быть понята как совокупность определенных дискурсивных аппаратов, использованных для компенсации ограниченного (и контролируемого) круга практик, т. е. для компенсации того самого быта, который «отстал», того самого порядка вещей, который еще должен быть определен. В этой статье я попытаюсь показать, как неопределенность и нестабильность социальных норм в раннем советском обществе, как это ощущение «бессюжетной» жизни, разбитой вдребезги (см.: [Шкловский 2000; Шкловский 1923: 188]), были отождествлены с неопределенностью и нестабильностью окружения вообще и природы в частности.

В своем сравнительном исследовании процессов модернизации Маршал Берман справедливо заметил, что подобная — *компенсаторная* — модель производства современности является характерной чертой для обществ, которые, находясь в стороне от мирового рынка товаров и финансов, вместе с тем испытывают сильное стремление стать (или видеть себя) его частью. Разрешение конфликта между условиями и стремлениями, однако, проявляется не столько в «оптимизации» исходных условий, сколько в трансформации *смысла* «современности», который становится здесь «сложнее, неуловимее, парадоксальнее» [Berman 1982: 174]. Соответственно, и модернизация из процесса *обновления* сложившегося порядка превращается в процесс *управления рисками*. «Модернизация-как-рутина» (*modernization as routine*) подменяется «модернизацией-как-приключением» (*modernization as adventure*). Как пишет Берман: «Модернизм недоразвитости вынужден опираться на фантазии и мечты современности (modernity), подпиты-

ваясь близостью к миражам и химерам и — одновременно — борьбой с ними. Чтобы соответствовать жизни, которая его породила, такой модернизм вынужден оставаться резким, неуклюжим, рудиментарным (inchoate). Замыкаясь в себе, модернизм недоразвитости либо бичует себя за неспособность единолично вершить историю, либо поддается экстравагантному стремлению взвалить на себя всю тяжесть мировой истории... Западный модернизм, уютно расположившись в своем мире, вряд ли может составить конкуренцию модернизму недоразвитости, с его раскаленным добела отчаянием, вызванным и той странной действительностью, которая произвела его на свет, и тем невыносимым социальным, политическим, но также и духовным давлением, под гнетом которого модернизм недоразвитости живет» [Berman 1982: 243].

В отличие от Бермана, меня интересует не столько степень взаимной сочетаемости разных «современностей», сколько та специфическая субъектность, благодаря которой «модернизм недоразвитости» в советской России стал возможен. На примере журналистики Горького, агrobiологических работ Лысенко и педагогических текстов Макаренко я продемонстрирую, что общий акцент на *внешней* деятельности, проявившийся в стремлении нового строя «овеществить», материализовать себя в многочисленных «стройках века», во многом был связан с появлением «человека “без мозолей в мозге”» [Горький 1953: 227], с появлением «полых людей» [Элиот 2000], людей с аффектами, но без репрезентаций (см.: [Green 2001: 112]). Людей, о которых все тот же Горький говорил, обращаясь к писателям — ударникам труда: «Возьмите крестьянина, поставьте его на Магнитострой, на Сельмаш, на АМО, на Электросталь, — поставьте перед всеми этими процессами производства и догадайтесь, изучите, расскажите, что он должен переживать. Он не в состоянии это выразить словами, все это для него ново и загадочно, более загадочно, чем то, чем жили его предки» [Горький 1953: 76].

Как мне кажется, во многом субъектность «модернизма недоразвитости» определяется именно этой дискурсивной несостоятельностью, при которой невозможность в прямом смысле слова «выразить себя» подменяется подробным описанием бесчисленных магнитостроев, сельмашей и электросталей.

Подобная *поставленность* «перед процессами производства» оказывается одной из немногих доступных социальных позиций, способных придать «строителю нового мира» тот самый смысл и

«убежденное чувство», о которых писал А. Платонов. В то же время использование «производства» в качестве основного — если не единственного — объекта воображаемых и материальных инвестиций стало стратегией «репрезентационного выживания» [Ivy 1998: 97], при помощи которой «свежие люди, вышедшие на дорогу истории» [Козлова 1996: 190], преодолели своеобразный кризис норм и способов символизации в начале советского времени.

Непонимание того, что могут и должны представлять собой «новые советские люди», было вытеснено детализированной картиной социального контекста, в котором пустые означающие полых людей могли бы приобрести свое смысловое наполнение. Неспособность очертить конфигурации «семьи и школы», воплощающие суть новых социальных отношений, подменили подробные чертежи и планы тех зданий, в которых и семья, и школа могли бы со временем появиться.

Призывы Горького «объявить природе бой» и сформировать вторую — *рациональную* — природу-культуру, попытки Лысенко «расшатать» наследственность живых организмов в условиях контролируемой среды и, наконец, педагогические опыты Макаренко по «проектированию» соответствующего социального окружения для новой личности, — все это хорошо демонстрирует, как именно детально прописанный *контекст* существования становится синонимом самого существования. «Внешние условия» и субъектность оказываются слитыми, сплавленными, отождествленными.

Привлекая внимание к хорошо известным текстам советского периода, мне меньше всего хотелось бы еще раз продемонстрировать всесилие советского строя в процессе оформления, формирования или уничтожения советского субъекта. Скорее, я бы хотел видеть в фигуре «полого человека» закономерное проявление современности, естественное продолжение ряда социальных типажей, начатого «революционером» Маркса, «денди» Бодлера, «суперменом» Ницше, «ученым-обществоведом» Вебера, «чужим» Зиммеля, «человеком без свойств» Музиля и «фланером» Бенямина (см.: [Gaonkar 2001:3]). Полный человек советской современности, на мой взгляд, стал ярким примером стремления *современных* политических режимов опираться на то, что Джорджо Агамбен — вслед за Мишелем Фуко — называл «биополитическим телом», «голой жизнью» (*bare life*), при которой зависимость от защитного слоя «второй природы» особенно ощутима (см.: [Agamben 1998:117]).

Понятно, что полный человек раннего социализма стал «про-

дуктом» вполне конкретного исторического периода. Высокий уровень миграции, усиленный Первой мировой и гражданской войнами, физические потери среди населения, массовое перераспределение промышленной и индивидуальной собственности, стремительные темпы индустриализации, — все это за крайне короткое время радикально изменило состав и конфигурацию социальной ткани советского общества. В течение двух первых десятилетий советской власти ряд городов прошел путь от полного упадка до резкого роста. За 1917–1920 годы численность населения Петрограда, например, снизилась с 2,3 миллиона до 740 тысяч человек. Однако к 1939 году население города достигло 3,4 миллиона [Степанов 1976:9]. Большинство «новых горожан» составили «бывшие» крестьяне — 62 % от общего числа поселившихся в Ленинграде в 1926–1939 годах были выходцами из деревень [Изменения... 1979: 193]. Мощная волна урбанизации значительно изменила и возрастной состав социальных групп и институтов. Перепись, проведенная в 1926 году, зафиксировала, что почти половина всех рабочих и ровно половина всей правящей элиты страны («руководящие работники») были не старше 30 лет [Там же: 27, 169].

Понятно, что в данном случае важны не сами демографические характеристики, но культурные установки и ожидания этих «свежих людей». В своем исследовании дневников и писем 1920–1930-х годов антрополог Наталия Козлова отмечала, что одним из наиболее заметных последствий подобных демографических сдвигов стало практически всеобщее стремление к упрощению — от социальных норм и моделей поведения до грамматических конструкций. Например, один из авторов журнала «Молодая гвардия» писал в 1930 году: «Обучение орфографии, оставленной русскому пролетарию его классовыми противниками... обходится пролетарскому государству очень дорого, отнимает у трудящихся миллиарды часов на бессмысленную работу по правописанию...» (цит. по: [Козлова 1995]). Попытки организовать быт, образование, экономику и культуру на более эффективных основаниях нередко порождали структуры с минимальным, ограниченным числом внутренних элементов и связей. Подобно пролетариату из романов Андрея Платонова, «свежие люди» были обязаны «за всех все выдумать и сделать вручную вещь долгой жизни» [Платонов 1995:186].

Упрощающий характер этого производства «вручную вещь долгой жизни», однако, не стоит сводить к ограниченности «све-

жих людей». На мой взгляд, предпочтительнее рассматривать подобные процессы в качестве еще одного примера «тактик», о которых писал в свое время французский антрополог и социолог Мишель де Серто. В отсутствие понятной системы координат, ценностей и норм социальных отношений индивид вынужден полагаться на использование «возможностей», которые не только присутствуют в данное время и в данном месте, но — что важнее — которые являются *доступными* в незнакомом контексте [Certeau 1984: 36–37]. Если «ограниченность» есть проявление определенной *стратегии* отказа, следствие определенного *выбора* между разными возможностями («нам и так хорошо!»), то упрощение, скорее, свидетельствует о тактических попытках «приспособить», «перевести» неизвестные явления на язык уже знакомых образов и моделей поведения. Упрощение есть вынужденная тактика в условиях отсутствия культурной стратегии. Как справедливо подытоживала Наталья Козлова, со «свежих» людей «не содран культурный (или цивилизационный?) слой, как многим казалось, они его не нарастили» [Козлова 1996: 70]. Собственно, о наращивании этого культурного слоя и пойдет речь дальше.

Советская правозащитница Раиса Орлова, вспоминая о своей юности 30-х годов, писала в мемуарах «Хроника непрошедшего времени», опубликованных в 1961 году в Германии: «Неуемная жажда деятельности, прежде всего участвовать, участвовать во всем. Все наше, мое кровное, какие тут могут быть думы, какие сомнения? Я жадно училась, читала все, что требовалось по программе, занималась общественной работой в институте, почти всеми видами спорта. Но этого было мало: мы с друзьями собрались писать историю советской школы, ходили на прием к нарком просвещения Бубнову... к секретарю ЦК ВЛКСМ Косареву... в “Комсомольскую правду” и в “Литгазету”. Писали о взаимоотношениях профессоров и студентов; ездили в подшефный колхоз.

Надо было зарабатывать, и мы составляли сборник высказываний Марата; подбирали нужные цитаты для книги “Ленин и Сталин о технике”; писали внутренние рецензии на стихи графоманов.

Студенткой третьего курса я начала преподавать в школе в девятых классах.

И все казалось мало, надо было больше, надо было уехать из Москвы — здесь слишком обычное существование. А нам необходимо было необычное — перелет, полюс, Комсомольск. Бежать,

торопиться, не затеряться в тылу. Ни времени, ни сил не оставалось на вопросы, на жизнь духа. Да и нужна ли она?...»

И чуть дальше: «...Я была непоколебимо уверена: здесь, в этих старых стенах, лишь подготовка к жизни. А сама жизнь начнется в новом, сверкающем доме; там я буду по утрам делать зарядку, там будет идеальный порядок, там начнутся героические свершения.

Большинство моих сверстников — в палатках ли, в землянках, в коммуналках или в хороших по тем понятиям отдельных квартирах — все равно жили начерно, временно, наспех. Скорее, скорее к великой цели, а там все начнется по-настоящему.

Все должно и можно изменять: улицы, дома, города, социальный строй, человеческие души. И все это несложно: сначала бескорыстные энтузиасты на бумаге чертят план. Потом ломают старое... потом очищают землю от обломков и на расчищенной земле воздвигают фаланстер... В витринах на улице Горького каждый праздник выставляли планы новой Москвы. Планы эти превращались на наших глазах в новые дома» [Орлова 1993: 22, 36–38].

Воспоминания Орловой хорошо обозначают ту комбинацию одновременных процессов, благодаря которым формировался полый человек начала советской эпохи. Прежде всего, субъектность есть следствие «жажды деятельности», есть итог «участия», — «участия» в событиях и явлениях, происходящих *вовне*, за пределами «старых стен». Однако попытки найти для «жажды деятельности» приемлемую форму, т. е. попытки локализовать «себя» в том или ином процессе, заканчиваются лишь удлинением цепи навязчивых действий («надо было больше», «надо было уехать»). Действий, единственная цель которых, судя по всему, — отметить их *смену*, отметить *переход* от одного объекта к другому. И тем не менее: именно возможность целенаправленного скольжения от одного «катаклизма» к другому, — «перелет, полюс, Комсомольск», — именно возможность бесконечной замены старых «улиц, домов, городов, социального строя, человеческих душ» на «новые» позволяла избегать вопросов и о цели этой жизни «начерно, временно, наспех», и о целесообразности всеобщей изменчивости.

Мемуары Орловой привлекают внимание и еще к одному важному аспекту. Превращению ландшафта в *места памяти*, т. е. наделению этих мест идентификационной и повествовательной силой, предшествует процесс буквального строительства этих мест.

Мемориализация и идентичность становятся в данном случае (побочным) продуктом материального производства, становятся итогом «процесса самооборудования» [Макаренко 1989: 67].

Как объяснить эту «неуемную жажду деятельности», эту тягу «участвовать во всем»? Как понять это стремление найти «совершенные» пара-*метры*, способные и локализовать идентичность, и придать ей определенную степень измеряемости? Что может рассказать нам о советском субъекте в частности и субъекте современности в целом это страстное желание обнаружить во всем «кровное» родство, это страстное стремление найти / создать совершенный «объект», с которого можно было бы начать «новую, настоящую жизнь»?

Ранние работы Михаила Бахтина в определенной степени дают ответ на поставленные вопросы. В текстах 1920-х годов философ активно апеллирует к идее *внеаходимости* как неперемennomу условию понимания, отмечая, что «биографическая целостность образа никогда не может стать предметом собственного опыта» [Бахтин 1996: 362], что «подлинная наружность» человека может быть увидена и понята лишь другими — в силу их пространственной внеаходимости [Бахтин 2002: 457]. В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» Бахтин сформулировал суть проблемы следующим образом: «...не в ценностном контексте моей собственной жизни обретает свою значимость самое переживание мое — как душевная определенность, в моей жизни его нет для меня. Необходима существенная смысловая точка опоры вне моего жизненного контекста, живая и творческая... чтобы изъять переживание из единого и единственного события моей жизни... и воспринять его наличную определенность, как характеристику, как штрих душевного целого, как черту моего внутреннего лика...» [Бахтин 2003: 186].

Сходным образом проблема «подлинной наружности» и поиск «смысловой точки опоры» вне собственного жизненного контекста анализировались в 1930-х и в работах еще одного философа из России. Александр Кожевников (Кожев) в своих семинарах о Гегеле привлек внимание к важному аспекту навязчивого стремления субъекта современности испытать на себе символический эффект объективации. Как отмечал философ, в основе человеческой деятельности, прежде всего, лежит «антропогенетическое Желание» быть признанным другими, т. е. непреходящее стремление к поиску все новых доказательств «субъективной уверенно-

сти в своем человеческом существовании» [Kojève 1969: 11]. Чтобы не оказаться иллюзорной, «ценность, которую человек приписывает себе, должна продемонстрировать объективную реальность — т. е. бытие, которое имеет ценность и действительность не только для себя, но и для реалий вне себя... Человек должен трансформировать (естественный и социальный) мир, в котором он не признан, в мир, в котором это признание имеет место. Эта трансформация мира, враждебного человеческому проекту, в мир, существующий в гармонии с этим проектом, называется «действием», «деятельностью» [Там же: 11].

Сформулирую чуть иначе. Непрерывное производство предметов-заместителей, способных продемонстрировать «подлинность» наружности, — т. е. ценность индивидуального существования, — является попыткой обойти и / или преодолеть исходную нехватку признания, исходное отсутствие средств, с помощью которых это признание может быть зафиксировано / символизировано. Бытие «вне себя» становится и основным условием, и отправным пунктом человеческого существования [Там же: 13].

Другими словами, навязчивые фетишистские стратегии серийной идентификации, столь четко отраженные в описаниях Орловой, можно рассматривать как манифестацию молчаливого признания того факта, что «авторство личности (*self*) и идентичности» вряд ли может быть локализовано. А потому, как отмечает американский антрополог Джордж Маркус, бессознательная, существующая только здесь и сейчас, реакция на «социальные условия, которые определяют индивидуальную личность (*one's selfhood*)» [Marcus 1998: 171], может быть единственным способом существования, доступным современному человеку. И вряд ли случайным является то, что — в зависимости от контекста — бахтинская *вненаходимость* может означать и бытие за пределами находимости, и бытие, определенное извне. Посмотрим, как эта риторическая стратегия смещения от неопределяемой / неопределенной личности к идентифицируемым условиям и объектам используется в работах Горького.

«Объявим природе бой!»

Начиная с конца 1920-х годов и особенно после своего окончательного возврата в СССР в 1933 году, Максим Горький публикует в советской прессе ряд писем, коротких статей, заметок и ком-

ментариев «на злобу дня». Многие из этих текстов одновременно печатаются в «Правде» и «Известиях». Практически независимо от исходного повода большинство журналистских текстов Горького сводится к одной и той же идее: возможности и способности человека переустроить мир. В тексте с характерным названием «Предрассудки съедают миллионы пудов сена» (1932) Горький, например, писал: «Октябрьская революция — это “переворот жизни”, который можно сравнить с биогеологическим, с таким, после которого вся масса неплодотворной земли Союза Советов становится плодотворной, только тут нужно заменить землю человеческой трудовой массой. Она вся, все ее 162 миллиона единиц, призвана к работе полного и совершенного переустройства древних основ жизни» [Горький 1953, 26: 300].

Суть биогеологического переустройства основ жизни у основоположника социалистического реализма во многом отражает схему, которую сформулировала позднее Орлова: жизнь есть подготовка, «черновик», есть строительство «новых стен» будущего. Как писал сам Горький: «Нам нужно в кратчайшие сроки уничтожить всю старину и создать совершенно новые условия жизни, — условия, каких нет нигде. Мы должны вооружить наше многомиллионное крестьянство машинами, облегчить каторжный труд, сделать землю более плодородной, научиться бороться с засухами и другими капризами природы, которые уничтожают посевы на полях, создать миллионы километров хороших дорог, уничтожить тесные, грязные деревни, построить для работников полей хорошие города со школами, театрами, общественными банями ... больницами, клубами, хлебопекарнями, прачечными, — вообще со всем тем, чем богаты города...» [Там же: 128].

Очевидно, что подобное тавтологическое понимание «жизни» индивида как процесса по формированию *условий*, необходимых для этой жизни, закономерно требовало дополнительной мотивации, дополнительного контекста. Актуальность создания условий для жизни, которая не наступила, предполагала своеобразную переоценку жизни, имеющейся в наличии. Артикуляция этой мотивации в текстах Горького строится на определенной подмене: в фокусе оказывается не «строительство собственных норм поведения», в формулировке Бухарина, не рефлексии по поводу «убежденного чувства», способного осмыслить жизнь «человеческой трудовой массы», но перечень существующих *условий*, которые должны быть срочно изменены.

Такой акцент на *фоне* позволял избежать потенциально противоречивых дискуссий о сути изменений; бесконечные спискистроек и ударных кампаний давали возможность привлечь внимание к материальным следам трудовых подвигов, оставляя в тени вопросы об их мотивации. С помощью «новых стен» пустые означающие новой жизни не столько обретали новое содержание, сколько демонстрировали его отсутствие. И вряд ли случайным, например, является тот факт, что многочисленные книги о новом быте, опубликованные в это время, зачастую сопровождались рисунками и фотографиями помещений с идеально расставленными стульями и столами и полностью отсутствующими людьми.

На мой взгляд, Катарина Кларк абсолютно права, указывая в своем исследовании советского романа на то, что этот гипертрофированный акцент на *условиях* будущего во многом стал результатом сложившейся структурной несочетаемости «того, что есть» с «тем, что должно быть». «Модальная шизофрения» ранней советской риторики, о которой говорит Кларк [Clark 1985: 36–38], может быть понята как неспособность совместить «нормативное», «ценностное» и «идеальное», с одной стороны, и «деятельностное», «перформативное», присутствующее здесь и сейчас, с другой.

Для Горького выходом из подобной ситуации стала своеобразная трансформация базовой оппозиции «настоящее / будущее»: негативно окрашенный «природный хаос» реальности оказался противопоставленным планомерной «воли к действию», понятой как стремление к сознательному рациональному переустройству. Или, словами Горького: «В Союзе Советов научно организованный разум получил неограниченную свободу в его борьбе против стихийных сил природы. Побеждая эти силы, заставляя их покорно служить великому, всемирному делу создания бесклассового общества равных, разум все более дерзновенно, все более успешно и наглядно показывает свою мощь творца и организатора “второй природы”, т. е. культуры, на почве, на силах и сокровищах первой природы, древней, неорганизованной и даже враждебной интересам трудового человечества» [Горький 1953, 27: 42].

Разумеется, подобное противопоставление рационального человека и иррациональной природы вряд ли ново. Новым является стремление Горького не ограничиваться привычными метафорами и противопоставлениями, но предложить бесконечный практический список явлений, которые могут и должны быть измене-

ны, т. е. предложить своеобразный набор ритуалов и дисциплинирующих действий, способных породить новый порядок вещей.

Юлия Кристева, говоря о причинах такого привилегированного положения «*процессуального*» за счет уменьшения роли и значимости «*декларативного*», подчеркивала, что подобное стремление выражать действием то, что не поддается описанию, как правило, есть отражение общего «дефицита знаков» [Kristeva 1995: 46]. Символическая недостаточность оказывается преодоленной в активной деятельности; на смену знакам и символам приходят действия и объекты.

Горьковская «воля к действию» демонстрирует еще одну важную черту. Попытки дисциплинировать себя путем упорядочивания других (вещей, явлений и людей), как и любая проекция, основана на действии механизма, который Кристева определяет как «*от-вращение*», т. е. сознательное и бессознательное проведение границы, устанавливающей пределы собственного Я путем обозначения «запредельной» территории [Kristeva 1982: 2]. Картография внешней, *запредельной*, реальности и является в данном случае основным способом, с помощью которого «собственное Я» может быть определено и описано. Цель отвращения, иначе говоря, в акте дифференциации, в ходе которого обозначение места своего отсутствия не только создает контекст («условия») собственного существования, но и формирует конституирующую «зависимость от негативных категорий» [Anagnost 1994: 247]. Риторика «отвращения», таким образом, дает возможность определить начальную точку отсчета, от-толкнувшись от которой можно придать ускорение и направление собственному движению.

В текстах Горького стратегия формирования «Я» путем конструирования запредельной зоны, состоящей из объектов отвращения, выступает в виде двуединого процесса. Природа антропоморфизмуется и одновременно выступает персонифицированным носителем качеств и свойств, враждебных новому человеку. Приведу несколько примеров. В статье «О библиотеке поэта» Горький отмечает: «Поэты прошлых времен восхищались красотами и дарами природы как земледельцы и землевладельцы, как “дети природы”, в сущности же — как рабы ее. В отношении поэзии к природе наиболее часто и определенно звучали — и звучат — покорность, лесть. Хвала природе — хвала деспоту и тоном своим почти всегда напоминает молитвы... Пытаясь — не очень успешно — “глаголом жечь сердца людей” или — безуспешно — про-

буждать в людях “чувства добрые”, поэты никогда еще не звали человека на борьбу с природой, за власть над ней и, разрешая себе — не часто — гнев на двуногих деспотов, не гневались на слепого тирана...» [Горький 1953, 27: 180].

И чуть дальше: «...“Объявим природе бой”. Прекрасное, подлинно большевистское намерение, и нужно сделать все для того, чтобы оно немедленно превратилось в работу. ...Земля наша засорена бесчисленным количеством бесполезных и вредных растений — они паразитически истощают плодотворные соки земли. Их нужно уничтожить. Стихийная сила природы создает массы паразитов — наша разумная воля не должна мириться с этим, — крысы, мыши, суслики наносят хозяйству страны огромный вред и убытки, исчисляемые, вероятно, сотнями миллионов рублей. Недопустимо и смешно, когда люди тратят труд свой на крыс. Двуногие, человекоподобные паразиты уничтожены не для того, чтоб кровью рабочих питались клопы. Слепое стремление природы к размножению на земле всякой бесполезной или определенно вредной дряни, — это стремление должно быть остановлено, вычеркнуто из жизни» [Там же: 186, 197].

Показательно, что «организованная воля» человеческого интеллекта нацелена в данном случае не на гармонизацию («оптимизацию») существующей ситуации. Упорядочивание в условиях «модернизма недоразвитости», как правило, синонимично уничтожению, «вычеркиванию из жизни», освобождению места для строительства очередных «новых стен»: «“Комсомольская правда” призывает всесоюзную молодежь на войну против сорных трав. Это — серьезнейшее дело, и, начиная его, комсомол еще раз внушительно говорит о своем культурном росте, о своей политической зрелости. В стране, где объявлена и успешно развивается беспощадная борьба, — “борьба на истребление” против двуногих хищников и паразитов пролетариата — строительство нового мира вполне планомерно и естественно начать с трудного дела истребления вредителей растительного мира, истребления паразитов, которые засоряют, отравляют, пожирают огромное количество трудового хлеба. Наверное, вслед за всесоюзным походом против сорных трав будет объявлен такой же поход против крыс, мышей и прочих грызунов, уничтожающих огромное количество зерна и пищевых продуктов.

Есть у трудового человечества немало врагов в мире насекомых и в мире микроорганизмов — они, вредители здоровья, тоже

должны быть истреблены. Так, перед несокрушимой и все растущей энергией молодого класса, призванного историей очистить землю от паразитизма, встают все новые боевые задачи, воспитывая, расширяя, углубляя волю класса к созданию новых условий социальной жизни, новой культуры» [Горький 1953, 26: 427].

Учитывая милитаризм этой риторики, вряд ли способно удивить то, что «вторая природа», призванная заменить господство «слепого деспота», видится Горькому прежде всего как «непобедимая *крепость* пролетариата». При этом происходит не просто риторическая подмена «живой» природы, природой, так сказать, «рукотворной». Вновь созданный контекст метафорически призван выполнять аналогичные функции воспроизводства. В приветствии «Уралмашстрою» (1933) Горький, например, пишет: «Вот пролетариат-диктатор создал еще одну могучую крепость, возвел еще одно сооружение, которое явится отцом многих заводов и фабрик» [Там же: 53]. В еще одном тексте — статье, связанной с выходом в свет первого тома «Истории заводов», инициированной Горьким, писатель так характеризует рабочих-авторов сборника «Люди Сталинградского тракторного»: «Привязанность к заводу, влюбленность в него как в наглядную и мощную реализацию энергии молодежи, как в монумент, созданный ею себе самой, — эта влюбленность естественна для всех авторов и, наверное, для сотен их товарищей по работе» [Там же: 56].

Эти описания заводов-крепостей, выступающих одновременно и объектом эмоциональных воображаемых инвестиций индивида, и символом-монументом, адресованным другим, безусловно, напоминают логику зеркальной стадии, описанной Жаком Лаканом. Собственные отражения одновременно являются и моделью для собственной же идентификации, и овеществленным образом-репрезентацией для других. Доводя до предела общую логику формирования современной идентичности, этот пример ярко демонстрирует, что в рамках «репрезентативной экономики» индивидуальное «Я» есть лишь результат социально доступных форм и способов ассоциации и дис-ассоциации с существующими материальными объектами [Battaglia 1995: 2, 3]. Личность, индивидуальность, идентичность перестает быть некоей субстанцией, способной *проявлять себя* в тех или иных событиях, процессах или поступках. Логика приобретает обратную траекторию. Именно благодаря возможности ассоциировать себя с тем или иным событием, явлением или процессом, идентичность, а вернее

субъектность, обретает шанс на существование. Идентичность, иными словами, сменяется серией идентификаций. Невозможность символизации *сущности* «полых» людей преодолевается описанием их активной деятельности.

Показательно, что эта зависимость от материальных «объектов идентификации» в работах Горького редко увязывается с самими качествами «новой личности». Познание *условий* собственного существования — то, что Антон Макаренко чуть позже называл «способностью к ориентировке» [Макаренко 1989: 253], — важнее *само*-познания. Начиная кампанию по созданию «Историй фабрик и заводов», Горький, например, писал в 1931 году: «Мы должны неумолимо бороться против остатков древней глупости, против политического и всякого иного невежества, за нашу культуру социализма. Нам необходимо изучать нашу действительность во всем ее объеме, нам нужно знать в лицо все наши заводы и фабрики, все предприятия, все работы по строительству государства. Надо подробно, всесторонне знать все, что нами унаследовано от прошлого, и все, что создано за четырнадцать лет, создается в настоящем. Надобно знать роль каждого наиболее типичного завода, каждой области производства, — завода как двигателя промышленности, как школы техников и школы революционеров, завода как воспитателя классового, революционного самосознания рабочих и как организатора, участника гражданской войны. Надо знать завод в его современном значении как организатора социалистического сознания и социалистического производства» [Горький 1953, 26: 143].

Дело не только в том, что «наша действительность во всем объеме» становится здесь синонимичной «нашим заводам и фабрикам». Важно еще и то, что собственно промышленные функции завода оказываются в тени его социально-формирующей, воспитательной и организационной деятельности. Как свидетельствует заглавие сборника «Люди Сталинградского тракторного», заводская проходная, выполняя свою воспитательную (отцовскую?) функцию, не только, так сказать, «выводит в люди» новый класс, но и дает индивидуальной или коллективной идентичности собственное имя, отметку принадлежности, если не знак происхождения.

Расшатанное вещество наследственности

Горьковская риторика радикального социального конструктивизма с ее акцентом на создании безопасной и рационально организованной среды, способной заменить стихийность природы, разумеется, не являлась чем-либо исключительным. Как уже отмечалось, корни этой дискурсивной стратегии можно видеть, прежде всего, в стремлении компенсировать недостаток нормативных понятий и ценностных иерархий, которые могли бы символизировать не только процессуальную сторону происходящих перемен, но и их смысловое наполнение. Еще одним ярким примером сходной дискурсивной стратегии стали дебаты о наследственности, связанные с именем Трофима Денисовича Лысенко, агробиолога, президента Академии сельхознаук, директора Института генетики Академии наук СССР, заместителя председателя Верховного Совета СССР. Не вдаваясь в подробное рассмотрение лысенковщины как явления советской науки, я лишь кратко остановлюсь на наиболее важных для моего анализа положениях.

Напомню, что в центре споров в 1930-х и 1940-х годах находилась проблемы соотношения «организма и среды» и способности человека влиять на изменения свойств живых организмов. Собственно, вопрос о причинах устойчивости и изменчивости организмов и был тем основным пунктом, по которому Лысенко резко расходился с генетиками. Для меня в данном случае важно не то, насколько прав или не прав был Лысенко в этих спорах; интересным и существенным мне представляется сам способ аргументации, выбранный агробиологом, способ, имеющий немало общего с логикой символизации Горького и Макаренко.

Выводы генетиков о «закономерностях наследования признаков» на основе «соединения и разъединения зачатков признаков» (т. е. генов) для Лысенко стали ярким проявлением оторванности генетики от «биологически-дарвинистического изучения наследственных “факторов”». Уход генетики в статистический анализ «*общих* закономерностей онтогенеза», ее исключительное внимание к *внутренним* характеристикам организмов за счет полного игнорирования *внешних* условий развития этих организмов, — все это привело к тому, что, по мнению Лысенко, генетика «стала формальной в своих основных построениях и не могла в достаточной степени служить для селекции тем, чем она *обязана* быть, — теоретической базой для руководства к действию» [Лысенко 1948: 72–73] (далее в круглых скобках указан номер страницы).

Практическая бесполезность «формальной генетики» во многом увязывалась Лысенко с ее общим положением о том, что живой организм есть комбинация двух элементов — изменяемого *тела* организма («сомы») и некоей неизменяемой субстанции — *вещества наследственности*», которое состоит из «крупинок (генов)» (304). Согласно лысенковской версии генетики, «вещество наследственности» — в отличие от «тела» — не подвержено «никаким изменениям, никаким превращениям в процессе жизни организма» (356).

В рамках опытов Лысенко понимание организма отвергало какую бы то ни было телеологическую («генетическую») предопределенность развития. Как утверждал агробиолог, организм «состоит только из обычного всем известного тела. Никакого особого вещества, отдельного от обычного тела, в организме нет» (484). В противовес «метафизическому направлению в биологической науке» (312) Лысенко выдвинул «теорию развития», в которой наследственность понималась как результат исторической приспособляемости к внешним условиям. Структуралистское деление на означающее тело и означаемые гены в данной версии было полностью отвергнуто. Формообразующую роль стали играть не внутренние — *данные* — характеристики организма, а внешняя среда. Тезис о передаче наследственных признаков был вытеснен идеей о приспособляемости к господствующим условиям. Как писал Лысенко: «Под наследственностью мы понимаем свойство живого тела требовать определенных условий для своей жизни, своего развития и определенно реагировать на те или иные условия. Под термином “наследственность” мы понимаем природу живого тела... Знание природных требований и отношения организма к условиям внешней среды дает возможность управлять жизнью и развитием этого организма. Больше того, на основе такого знания можно направленно изменять наследственность организмов. Понимать же под наследственностью, как до сих пор в генетике принято, только воспроизведение себе подобных, без изучения путей и материала (условий), из которых тело само себя воспроизводит, — это значит закрыть себе дорогу для овладения этим важным и интересным явлением живой природы» (456).

Логика, таким образом, приобретает уже знакомую (замкнутую) конфигурацию — жизнь есть реакция на внешние условия, точнее — способность организма *требовать* определенные условия. В свою очередь, природа организма определяется контекстом

его местонахождения: «Озимость, яровость, зимостойкость, большая или малая кустистость, остистость и т. д. не заданы в наследственном основании, а являются результатом *развития* наследственного основания в тех или иных условиях внешней среды, участвующих в самом формировании конкретных признаков организма» (7). Контроль над условиями «внешней среды» — этой своеобразной версией горьковской «второй природы» — призван гарантировать наличие необходимых свойств-признаков у организма. Решение проблемы сочетания «тела» и «идентичности», таким образом, было найдено не в наследственности, т. е. в *прошлом*, а вовне — в тщательно организованном и контролируемом окружении. В итоге «изменение природы организма (его породы) можно направлять адекватно, соответственно изменению самого организма под действием внешних условий... Понятно, что раз изменение природы организмов адекватно изменению самого организма, то на семенных участках любых культур необходимо создавать путем агротехники такие условия, которые способствуют получению с растений наибольшего и наилучшего урожая в нужный нам срок. Ведь именно эти условия изменяют, склоняют и природу организма в этом же направлении, т. е. окультуривают породу семян» (319).

Естественно, что при всей своей привлекательности тезис о контролируемом «склонении природы организма в нужном направлении» не мог не считаться с тем очевидным фактом, что подобное «склонение» работает не всегда и не везде. В чем причина устойчивой реакции живых организмов на условия, которых *уже* нет? Ответом на подобные вопросы для Лысенко стал тезис об исторически сформированном «консерватизме наследственности», который и обеспечивает относительно устойчивое воспроизводство органических форм. Благодаря такому консерватизму отсутствие условий, «требуемых природой организма», может вести к тому, что организм «не принимает, не ассимилирует иных условий, не соответствующих его генотипу», и гибнет (361). Отсюда, соответственно, и практическая постановка проблемы: если наследственность есть не что иное, как сложившаяся «привычка», подкрепляемая соответствующими природно-климатическими условиями, то «нельзя ли сломать консерватизм наследственности?» (364) Что произойдет с организмом, если вместо традиционного (и медленного) «угождения организму для развития нужных... органов» *перестать* создавать для него требуемые условия? Как отмечает в своих работах

агробиолог, именно «противодействие» природе растений может способствовать выработке «новых потребностей». (365).

Таким образом, теория генетических мутаций как способ формирования новых органических форм, передающихся по наследству, оказалась вытесненной новым методом: «Чтобы получить резкие сдвиги в наследственности, необходимо резкое вмешательство в развитие растения. Для этих целей необходимо применить “насилие”, но “насилие”, как говорят, с умом, которое полностью укладывается в “воспитание растений”...» (346). В чем заключается это «умелое воспитание растительных организмов» (356)? Как отмечал агробиолог, «...нам стали известны способы более быстрого изменения породы путем воспитания. Когда знаешь, в какой момент развития организма надо ему не угодить, а наоборот, подставить иные, несвойственные условия, то старые наследственные свойства могут быть сломаны. Иногда они ликвидируются нацело. Организм уже не будет обладать такими наследственными свойствами, которые были у него раньше; установившаяся в предыдущих поколениях наследственность будет разрушена. В дальнейшем задача заключается в том, чтобы, подбирая условия воспитания, все больше уклонять растение в задуманном направлении, выработать тем самым в ряде поколений новые потребности, новую наследственность» (428, 429).

Как на практике вырабатывалась новая наследственность? Точнее — каким образом подбирались и внедрялись необходимые «условия воспитания»?

Уже в самом начале своей деятельности Лысенко активно подчеркивал стадиальный и необратимый характер развития организмов. Являясь «необходимыми этапами в развитии растения, на базе которых и происходит развитие всех частных форм — органов и признаков растений», стадии развития отличаются своими требованиями к внешним условиям (34). Как предполагалось, активное вмешательство на стадии формирования признака или органа может в значительной степени повлиять на саму структуру и, следовательно, свойства этого признака или органа. Диахронические изменения организма и синхронные изменения контекста этого развития, таким образом, совпали. Развитие во времени и развитие в пространстве оказались слитыми. Как и в работах Горького, конфликт реальности (*то, что есть*) и планов (*то, что должно быть*) разрешился благодаря установлению контроля над материальными условиями существования.

Следуя подобной логике активного вмешательства, Лысенко изменял световые, температурные и другие подобные условия в критические моменты развития организмов, чтобы добиться желаемых признаков — метод, вошедший в историю под названием «яровизация». Изначально целью подобных опытов было вполне естественное стремление понять, почему разные сорта пшеницы имеют разный период созревания. В отличие от раннеспелых («яровых») сортов, позднеспелые («озимые») сорта пшеницы, посеянные весной, не в состоянии плодоносить. Это «требование» более длительного периода развития отразилось в том, что озимые сорта высеиваются осенью, «в зиму». Проблема, однако, заключалась в том, что отсутствие снега и / или слишком сильные морозы могут полностью уничтожить посевы. Переделка «озимых» в «яровые» и стала основным проектом Лысенко. В ходе своих экспериментов с предпосевной обработкой семян Лысенко стал утверждать, что растения, «которые по своей природе... всегда были озимыми... по поведению стали яровыми» (12). Чем сильнее подвергалось растение «переделке в стадии яровизации, тем сильнее расстраивалась согласованность дальнейшего развития организма» (208). Любопытно, что финальным, желаемым продуктом подобного воспитательного процесса у Лысенко становится «пластичный организм», организм с «расшатанной наследственностью». Аграрная привлекательность такого организма заключалась, прежде всего, в отсутствии «выработанной устойчивости», в отсутствии того самого «консерватизма наследственности», который и предопределяет характер реакции на внешние условия. Как суммировал агробиолог, если внешняя среда не в состоянии предоставить «требуемые условия», «то организм с расшатанной наследственностью недолго сопротивляется, не упорствует, несвойственные для ассимиляции этим организмом условия как бы “сами лезут” в него. Организм с расшатанной наследственностью ассимилирует условия, его окружающие, как говорят, с меньшим разбором, с большим аппетитом. Из такого организма умелый экспериментатор может буквально лепить, как из глины, новую, хорошую, нужную ему породу» (404).

Традиционная дарвиновская парадигма «борьбы за выживание», таким образом, претерпела существенные изменения в «школе советского творческого дарвинизма» [О положении в биологической науке... 1948: 65]. На смену «*сильнейшим*» пришли «*пластичные*». Борьба между организмами оказалась менее важной, чем

способность организмов своевременно и «адекватно» реагировать на постоянно изменяющиеся условия внешней среды: «Человек, не знающий, из чего и как строится наследственность, не может иметь дело с организмом, обладающим нестойкой наследственностью. А для людей знающих... организм с шаткой, неустановившейся наследственностью — клад, золото. Мы будем ставить эти организмы из поколения в поколение во все более жесткие условия, в условия сильного холода (но только... так, чтобы не убить растения), и тогда, через два-три года воспитанная таким образом пшеница ничем не будет отличаться по стойкости от местных растительных форм» (376).

Пожалуй, наиболее ярким примером подобного примата ассимиляции как способа формирования новых признаков стал предложенный Лысенко «метод ментора». Сформулированный впервые Иваном Мичуриным в 1916 году, благодаря Лысенко метод ментора обрел новую жизнь в 1930-х. Изначально в своих работах Мичурин резко выступал против практики прививок молодых сеянцев в крону старых плодовых деревьев («привой»), поскольку еще не сформированные организмы сеянцев могут быть подвержены негативному влиянию корней дичка («подвой»), на которые в свое время и были привиты плодовые деревья.

Упрощая мичуринские идеи, Лысенко использовал метод ментора для ответа на базовый вопрос: «Почему семена из хороших культурных плодов яблонь или груш, полученные при естественном опылении цветов или при искусственной гибридизации, чаще всего дают при посеве чрезвычайно большой процент деревьев с плохими, дикими свойствами плодов?» (270). Вопрос, иными словами, затрагивал суть опытов Лысенко — демонстрация «дикий» наследственности нового организма в данном случае не могла быть напрямую выведена из непосредственных «культурных» условий существования этого организма. Объяснение, как и у Мичурина, искалось в «диких» корнях: «пластические вещества подвоя, будучи внешним элементом — пищей — по отношению к привою, войдя путем ассимиляции составной частью тела привоя, изменяют его наследственные свойства» (492).

Следуя Мичурину, Лысенко предложил использовать это «влияние» подвоя и привоя в положительных целях. Основой стал своего рода «полый субъект» — молодые саженцы, качества которых еще не вполне сформировались. В свою очередь, привоем выступили черенки (ветки) со старых плодовых деревьев. Недоста-

ющие, но желаемые свойства молодых деревьев, таким образом, «приобретались, передавались из привитых веток» (484). Возраст «ментора» и «молодого организма» в данном случае существен: «Чем моложе будет то растение, признаки которого хотят изменить, тем успешнее будет опыт». Соответственно, «растения, от которых хотят получить то или иное свойство или признак, должны быть постарше; лучше, если они будут в среднем возрасте» (487). Жизненные условия, таким образом, превратились в среду обучения, в которой и формировалась наследственность молодого организма под контролем более опытного «ментора».

Сопоставляя призывы Горького к строительству «второй природы», способной объективировать суть «полых людей», с социобиологическими практиками расшатывания наследственности, предпринятыми Лысенко, я прежде всего хотел продемонстрировать сходство дискурсивных приемов, использованных разными авторами в разных областях советской жизни. В обоих случаях «природа» оформлена не только как нечто бесконечно изменчивое и изменяемое, но и как нечто заменимое и заменяемое. В обоих случаях попытки «объявить природе бой» структурируются вокруг одной и той же негативной зависимости от прошлого: и созданию новой — рациональной — «второй природы», и формированию новых свойств и признаков у организмов предшествует «расшатывание» исходной, полученной наследственности.

Оба дискурса обязаны своим происхождением одному и тому же модернистскому стремлению поставить под сомнение «исторически сложившийся строй приспособленности» [Лысенко 1948: 353] с целью создания нового порядка вещей и новых организмов. В условиях советской модернизации подобное стремление усилилось и общим нормативным вакуумом, отсутствием повседневной рутины, способной «смягчить» радикализм социальных преобразований. На этом фоне тезис Лысенко о «пластических веществах», способных легко адаптироваться и — что важнее — воспроизводить усвоенные характеристики в своем потомстве, может восприниматься как пример действенной риторики, в которой «самооборудование» оказывается синонимичным выбору желаемой наследственности. Или, иными словами, — формированию свойств и навыков, способных обеспечить выживание в постоянно меняющихся условиях.

Воспитание методом взрыва

Посмотрим, как «новая, хорошая, нужная порода» «лепилась» в педагогической практике. Важно, на мой взгляд, при этом иметь в виду, что в работах Лысенко и, как мы увидим ниже, в работах Макаренко, акцент на *внешних*, формообразующих, условиях — «новых стенах» — приобрел несколько иное звучание, чем у Горького. Проблему несовместимости диахронического развития строящегося общества с синхронным развитием его строителей удалось решить, во-первых, путем установления строгого контроля над условиями существования, а во-вторых, при помощи вынесения «экспериментатора» за скобки процесса «строительства». Вторая «природа» обрела не только своего строителя, но и своего хозяина. Соответственно, изменились и приоритеты — важным стал, так сказать, не столько сам «новый дом», о котором говорила Орлова, сколько его соответствие генеральному плану. Или, чуть иначе, важным оказался не столько сам «носитель наследственности», сколько способность расшатать эту самую наследственность в нужном направлении.

В этом отношении Антон Семенович Макаренко является, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров практики и технологии социального конструктивизма, в котором риторика природного и риторика социального нашли относительно гармоничное соединение. Как известно, в 1920–1932 годах Макаренко являлся руководителем сначала Трудовой колонии им. М. Горького в Полтаве, а позднее — Трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского в Харькове. Несмотря на изначальную критику и сопротивление методам Макаренко со стороны официальных педагогических властей, его деятельность пользовалась широкой поддержкой со стороны государства. Максим Горький несколько раз посещал колонию Макаренко, отмечая «всемирно-историческое значение» работы педагога [Makarenko s. a.].

Популярность Макаренко особенно возросла после выхода в свет романов «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях», основанных на «колониальном» опыте педагога. В одном из своих наиболее популярных текстов — «Книга для родителей» — Макаренко (собственных детей не имевший) писал в 1937 году: «...В наше время было сказано, что дети — “цветы жизни”. Это хорошо. Но... “цветы жизни” надлежит представлять не в виде “роскошного” букета в китайской вазе на вашем столе. Сколько

бы вы ни восторгались такими цветами, сколько бы ни ахали, эти цветы уже умирают, уже обречены, и они бесплодны. Завтра вы прикажете их просто выбросить. В лучшем случае, если вы неисправимо сентиментальны, вы засушите их в толстой книге, и после этого ваша радость станет еще более сомнительной: сколько угодно предавайтесь воспоминаниям, сколько угодно смотрите на них, перед вами будет только сено, просто сено!

Нет, наши дети вовсе не такие цветы! Наши дети цветут на живом стволе нашей жизни, это не букет, это прекрасный яблоневый сад. И этот сад — наш, здесь право собственности звучит, честное слово, очаровательно! Трудно, конечно, не любоваться этим садом, трудно ему не радоваться, но еще труднее не работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом: вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие веточки... Не только аромат, не только “гаммы красок”, — плоды, вот что должно вас волновать в особенной степени. И поэтому не набрасывайтесь на цветы с одними вздохами и поцелуями, возьмите в руки лопату, ножницы, лейку, достаньте лестницу...» [Макаренко 1971, 4: 16, 21].

Важным в данном случае являются не только буквальные текстуальные совпадения пассажей Макаренко и пассажей Лысенко, демонстрирующих легкость взаимоперехода метафорического и реалистического описания среды. Существенным, на мой взгляд, является общий подход к пониманию «природы» организма. Подход, который, — следуя все той же концепции вневходимости — позволял, становясь «активным в форме», занимать «позицию вне содержания» [Бахтин 1975: 33, 59, 58, 64]. Однако эта «формальная», внешняя, материализующая, процессуальная активность «полных людей» во многом являлась не столько формой познавательно-эстетической остроты, акцентированной у Бахтина, сколько следствием неспособности занять позицию в еще формирующемся содержательном контексте. В итоге система «педагогического производства», способная «проектировать личность» [Макаренко 1989: 43], была основана на уже знакомых принципах. Идею трансформации *организма* подменили практики изменения *контекста* существования этого организма. Внешние условия вновь оказались не только формирующими, но и определяющими.

В романе «Флаги на башнях» Захаров — прототип Макаренко — размышляет об итогах своей работы в колонии: «Со всех сторон, от всех событий в стране, от каждой печатной строки, от всего чудесного советского роста, от каждого живого советского

человека — приходили в колонию идеи, требования, нормы и измерители. Да, все пришлось иначе назвать и определить, новой мерой измерить. Десятки и сотни мальчиков и девочек вовсе не были дикими зверенышами, не были они и биологическими индивидами. Захаров теперь знал их силы и поэтому мог без страха стоять перед ними с большим политическим требованием: Будьте настоящими людьми!» [Макаренко 1971, 3: 140].

Абсолютно уверенный в силе своей методики коллективного воспитания, Захаров решается провести «опыт, в успехе которого он не сомневался». В течение двух дней в колонию поступило 50 новеньких беспризорников, подобранных на вокзалах и снятых с поездов. Вот как описывает Макаренко-Захаров превращение этих «диких зверенышей» и «биологических индивидов» в «настоящих людей»: «...Это были классические фигуры в клифтах (куртках), все они казались брюнетами, и пахло от них всеми запахами “социальной запущенности”... То, что произошло дальше, Захаров называл “методом взрыва”, а колонисты определяли проще: “пой с нами, крошка”.

Колония встретила новеньких на вокзальной площади, окруженная тысячами зрителей, встретила блестящим парадом, строгими линиями развернутого строя, шелестом знамен и громом салюта “новым товарищам”. Польщенные и застенчивые, придерживая руками беспомощные полы клифтов, новенькие заняли назначенное для них место между третьим и четвертым взводами. Колония прошла через город. На привычном фоне первомайцев новенькие и на себя и на других производили сильное впечатление. На тротуарах роняли слезы женщины и корреспонденты газет.

Дома, после бани и стрижки, одетые в форменное платье, румяные, смущенные до глубины своей юной души и общим вниманием и увлекательной придирчивостью дисциплины, новенькие подверглись еще одному взрыву. На асфальтовой площадке, среди цветников, были сложены в большой куче их “костюмы для путешествий”. Политое из бутылки керосином, “барахло” это горело буйным, дымным костром, а потом пришел Миша Гонтарь с веником и ведром и начисто смел жирный, мохнатый пепел, подмаргивая хитро ближайшему новенькому: — Вся твоя биография сгорела!» [Макаренко 1971, 3: 140].

Несколько моментов важны в описании этого «смещенного местонахождения» (dislocating localization), по определению Джорд-

жио Агабмена [Agamben 1998:175]. Прежде всего, эффективность и эффектность метода взрыва, превращающего «новеньких» в «новых товарищей», во многом определяется способностью строго выдерживать базовую оппозицию двух *внешних* форм: «блестящий парад»/ «социальная запущенность», «строгие линии» / «беспомощные новенькие» и т. п. В результате процесс идентификации «новеньких» и «желаемой модели» оказывается смещен — трансформация отношений между людьми выступает как трансформация одежды (клифты — форменное платье — сожженные костюмы для путешествий). Дестабилизация, расшатывание идентичности оказывается функцией метонимии: контроль над личностью становится синонимичным контролю над ее принадлежностями.

Акт сожжения биографий — отраженный в воспоминаниях колонистов — призван выполнять и еще одну контролирующую функцию. Как отмечал Макаренко в одном из своих документов, «в нашей коммуне никто никогда не вспоминает своего прошлого, в подколлективе положительно запрещено его касаться, как в разговорах, так и в официальных вопросах. Мы совершенно сознательно отказались от всякого учета и всякой регистрации преступных элементов прошлого, и благодаря всему этому оно у нас уничтожено до конца. Его просто нет. Наши коммунары буквально не тратят на свое прошлое ни одной минуты своей жизни. И я этим горжусь» [Макаренко 1960: 247].

Важным в этом описании управляемого взрыва является и его театрализованный характер. Факту собственно инициации предшествует стирание грани между посвященными и посвящаемыми в виде показного и показательного единства, ориентированного на публику («женщины и корреспонденты газет»). Инкорпорация «новеньких» в рамки общей картины и является принципиальной функцией этого «взрывного» спектакля: прежде всего путем их пространственной локализации — между третьим и четвертым звёздами. На мой взгляд, именно сквозь призму вот этого слияния индивида с его местоположенностью, слияние субъекта с его позицией и необходимо рассматривать последующие ритуалы трансформирующей мимикрии (баня — стрижка — униформа). Мимикрии, суть которой, как отмечал Жак Лакан, не в «вопросе слияния с фоном, но в вопросе обретения пятен на их фоне» [Lacan 1981: 99]. Иными словами, речь в данном случае идет не столько о процессе адаптации, сколько о том, что при помощи «обретения пятен» становится возможным и обретение определенной субъект-

ной позиции, становится возможной и определенная локализация в рамках исторически доступной «цветовой гаммы».

Показательно, как формировались способы обретения этой гаммы. Описывая свою версию «метода ментора» для коллективов с «расшатанной наследственностью», Макаренко писал: «Я позволил себе выставить несомненное для меня утверждение, что, пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиций и не воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право и должен не отказываться от принуждения... Я требовал воспитания закаленного, крепкого человека, могущего проделывать неприятную и скучную работу, если она вызывается интересами коллектива» [Макаренко 1971, 1: 125].

Проблема принуждения и — шире — дисциплины и насилия, традиционно ассоциируемые с педагогикой Макаренко, однако, имели вполне конкретное происхождение. И литературные тексты Макаренко, и его педагогические записи содержат постоянно повторяющиеся фразы о том, что основной проблемой советской школы является не низкая дисциплина и не плохая успеваемость учащихся, но «отсутствие определенного тона и стиля, отсутствие традиций и неясность вопроса о нормах» [Макаренко 1960: 387]. Или: «Меня возмущала безобразно организованная педагогическая техника и мое техническое бессилие. И я с отвращением и злостью думал о педагогической науке: “Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто ничего нет. Какое-то шарлатанство”» [Там же: 103].

Собственно, итогом этого нормативного вакуума и стали военнизированные ритуалы: периодические занятия гимнастикой и военным делом стали регулярными: «Я знал только военный строй и военную гимнастику, знал только то, что относится к боевому участку роты. Без всяких размышлений и без единой педагогической судороги я занял ребят упражнениями во всех этих полезных вещах» [Там же: 182]. Вскоре стали появляться и первые признаки трансформирующей мимикрии: «Совершенно изменился облик колониста: он стал стройнее и тоньше, перестал валиться на стол и на стену, мог спокойно и свободно держаться без подпорок. Уже новенький колонист стал заметно отличаться от старого. И походка ребят сделалась увереннее и пружиннее, и голову они стали

носить выше, забыли привычку засовывать руки в карманы. В свое увлечение военным строем колонисты много внесли и придумали сами, используя свои естественные мальчишеские симпатии к морскому и боевому быту. В это именно время было введено в колонии правило: на всякое приказание как знак всякого утверждения и согласия отвечать словом “есть”, подчеркивая этот прекрасный ответ взмахом пионерского салюта. В это время в колонии завелись и трубы» [Макаренко 1971: 182].

Этот процесс нормализации тел, процесс превращения элементов «социальной запущенности» в различимые и поддающиеся учету «единицы» привел к следующему дисциплинарному шагу. «Запятнанные» тела стали логической основой для создания большей картины — путем их очередного встраивания в жесткую социальную структуру. На этот раз структура пришла в форме «отрядов» и «командиров». Как писал Макаренко в своей «Педагогической поэме»: «Каждый колонист знал свой постоянный отряд, имеющий своего постоянного командира, определенное место в системе мастерских, место в спальне и место в столовой... Благодаря именно этому наша колония отличалась к 1926 году бьющей в глаза способностью настроиться и перестроиться для любой задачи...» [Макаренко 1971, 1: 203]. Многообразие контролируемых социальных позиций, в свою очередь, определило и еще одно качество «колониальной» идентичности — способность к ориентировке, способность «почти бессознательно ощущать, что кругом происходит». Способность к ориентировке, однако, не означает умение «приспособляться и подделываться». Речь идет о навыке «ощущать, в каком месте коллектива ты находишься, и какие твои обязанности по отношению к поведению из этого вытекают» [Макаренко 1989: 263].

На фоне этих дебатов о социальной сконструированности природы, наследственности и личности семья казалась лишь одним из многих — и далеко не самых эффективных — способов формирования человека. Вновь и вновь «новый быт» новых людей воспринимался как несовместимый с тем, что Макаренко называл в 1929 году «фетишизмом семьи» [Макаренко 1983: 114]. Соответственно, менялось и понимание «умелого воспитания»: «Уже и теперь очень активно перед нами встает вопрос о новом быте, а новый быт первым делом требует лишить семью права прибегать к кустарному воспитанию ребенка»; «Только детский дом, наполненный здоровым детством, знающим, что где-то на фабрике работают отец и мать, имеющим с ними связь и не лишенным ласки

матери и заботы отца, только такой детский дом будет настоящим советским соцвосом, потому что в нем объединятся как воспитательные деятели и государство, и новая семья, и совершенно новый деятель — ребячий производственный, и образовательный, и коммунистический первичный коллектив. И такой детский дом не только необходим, но и неизбежен, и самое главное, вполне возможен. Правильно организованный и оборудованный детский дом, дающий ребенку несравненно больше того, что способна дать самая лучшая семья, в то же время представляет собой производственную организацию» [Макаренко 1960: 384, 385].

Обсуждение работ Макаренко, на мой взгляд, позволяет в определенной степени совместить те дискурсивные стратегии, с помощью которых артикулировался и формировался новый советский строй и новый советский человек. Как я пытался показать, производство разнообразных конфигураций защитного слоя «второй природы», — будь то новые заводы-крепости Горького, контролируемые условия экспериментов Лысенко или дисциплинирующие отряды Макаренко, — во многом определялась ситуацией нормативного вакуума, вызванного фрагментацией и распадом прежних связей, отношений и обязанностей, распадом того самого быта, который «отстал». В этих условиях акцент на действии, движении и процессе был призван символически оформить и структурировать пока еще бессюжетную прозу новой жизни. Типичная современная озабоченность материальностью и объектностью внешнего мира в данном случае совпала со стремлением нового субъекта исторической деятельности обрести свое признание и свою местоположенность. Или, чуть в иной форме: «воля к норме», испытываемая «новыми людьми» [Козлова 1999: 198], чья индивидуальная лиминальность пришлась на период лиминальности общества в целом, нашла выход в жестких ритуалах производственной дисциплины, а неудача опытов по «разогреванию мороженого» личной жизни — в разнообразных формах общественной активности.

Логика встраивания, способность «узнать» свое постоянное место в мастерских, спальне и столовой, — эта логика, используя терминологию Лысенко, приспособления к внешним условиям в значительной степени определяла процессуальную сущность «полых людей», сформировавшихся в 30-е годы. Суть успешного «развития» во многом сводилась к двухступенчатому подходу: резкий разрыв с прошлым компенсировался активным погружением в новые условия. При помощи постоянной модификации внешнего мира,

постоянного производства и воспроизводства значимых позиций и мест (в мастерских, спальне, столовой, в колхозе, на полюсе, в Комсомольске) «полые люди» смогли добиться необходимого эффекта социальной узнаваемости. «Становясь пятнистым» на пятнистом фоне, — т. е. при помощи неустанной инкорпорации постоянно меняющихся условий существования, — советский субъект обрел место в формирующемся социальном контексте.

Коллапс социальной рутины и распад сложившихся моделей социализации и общественных отношений во многом привел к тому, что невозможность сформулировать и сформировать нормативную модель социальной идентичности проявилась в определенном дискурсивном сдвиге — с идеи формирования нового человека к идее строительства новых условий, в которых этот новый человек может появиться. Строительства, осуществленного «пластичными организмами» с «расшатанной наследственностью» и «сожженной биографией».

Литература

- Бахтин М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Бахтин М.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5: Работы 1940-х — начала 1960-х годов. М., 1996.
- Бахтин М.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6: Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960-х — 1970-х гг. М., 2002.
- Бахтин М.* Собрание сочинений. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. М., 2003.
- Бухарин Н.* Революция и культура: Статьи и выступления 1923–1936 гг. М., 1993.
- Винникотт Д.* Игра и реальность. М., 2002.
- Витухновская М.* «Старые» и «новые» горожане: мигранты в Ленинграде 1930-х годов // Нормы и ценности повседневной жизни. Становление социалистического образа жизни в России, 1920–1930-е годы. СПб., 2000.
- Горький М.* Собрание сочинений: В 30 т. М.: Худож. лит., 1953. Т. 26–27. Изменения социальной структуры советского общества (1921 — середина 1930-х годов). М., 1979.
- Козлова Н.* «Свежий» человек на дорогах истории и в науке: о культурно-антропологических предпосылках «новой науки» // Теория и жизненный мир человека. 1995. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.philosophy.ru/iphras/library/fedotova.html>
- Козлова Н.* Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора). М., 1996.

Козлова Н. Согласие или общая игра (методологические размышления о литературе и власти) // НЛО. 1999. № 40.

Лапланиш Ж., Понталис Ж. -Б. Словарь по психоанализу. М., 1996.

Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // Лакан Ж. Семинары. Кн. II: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954 / 55). М., 1999.

Левада Ю. Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 1990-х гг. М., 1993.

Левина Е. Вавилов, Лысенко, Тимофеев-Ресовский... Биология в СССР: история и историография. М., 1995.

Лысенко Т. Агробιология: работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства. М., 1948.

Макаренко А. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1960. Т. 7.

Макаренко А. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1971.

Макаренко А. Педагогические сочинения: В 6 т. М., 1983. Т. 1.

Макаренко А. Проектировать лучшее в человеке... М., 1989.

О положении в биологической науке: Стенографический отчет сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. 31 июля — 7 августа 1948 г. М., 1948.

Орлова Р. Воспоминания о непростедшем времени. М., 1993.

Платонов А. Котлован // Платонов А. Взыскание погибших: Повести. Рассказы. Пьеса. Статьи. М., 1995.

Сойфер В. Власть и наука в СССР: История разгрома генетики в СССР. М., 1993.

Степанов З. Культурная жизнь Ленинграда 20-х — начала 30-х годов. Л., 1976.

Тан В. Старый и новый быт // Старый и новый быт / Ред. В. Тан-Богораз. Л., 1924.

Шкловский В. К технике внесюжетной прозы // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Ред. Н. Чужак. М., 2000.

Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М., 1923.

Элиот Т. Полые люди. М., 2000.

Якобсон Р. «О поколении, растратившем своих поэтов» // Jakobson R. Selected Writings. N. Y., 1979. Vol. 5.

Agamben G. Homo Sacer: Sovereign and Bare Life / Trans. by D. Heller-Roazen. Stanford, 1998.

Anagnost A. The Politics of Ritual Displacement // Asian Visions of Authority: Religion and the Modern States of East and Southeast Asia. Honolulu, 1994.

Battaglia D. Problematizing the Self: A Thematic Introduction // Rhetoric of Self-Making. Berkeley, 1995.

Berman M. All that is solid Melts into Air: The Experience of Modernity. N. Y., 1982.

- Butler J.* Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth Century France. N. Y., 1997.
- Certeau M. de.* The Practices of Everyday Life. Berkeley, 1984.
- Chakrabarty D.* Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for «Indian Past»? // A Subaltern Studies Reader, 1986–1995. Minneapolis, 1997.
- Clark K.* The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago, 1985.
- Gaonkar D. P.* On Alternative Modernities // Alternative Modernities. Durham, 2001.
- Gasparov B.* Development or Rebuilding: Views of Academician T. D. Lysenko in the Context of the Late Avant-Garde // Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experience. Stanford, 1996.
- Gorham M. S.* Speaking in Soviet Tongues: Language Culture and the Politics of Voice in Revolutionary Russia. DeKalb, 2003.
- Green A.* Life Narcissism Death Narcissism. L., 2001.
- Hudson P. S., Richens P. H.* The New Genetics in the Soviet Union. Cambridge, 1946.
- Humphrey C.* The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies After Socialism. Ithaca, 2002.
- Ivy M.* Mourning the Japanese Thing // In Near Ruins: Cultural Theory and the End of the Century. Minneapolis, 1998.
- Joravsky D.* The Lysenko Affair. Cambridge, 1970.
- Kojève A.* Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on Phenomenology of Spirit. Ithaca, 1969.
- Krementsov N.* Lysenkoism in Europe: Export-Import of the Soviet Model // Academia in Upheaval: Origins, Transfers, and Transformations of the Communist Academic Regime in Russia and East Central Europe. Westport, 2000.
- Kristeva J.* Powers of Horror. An Essay on Abjection. N. Y., 1982.
- Kristeva J.* New Maladies of the Soul. N. Y., 1995.
- Lacan J.* The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. N. Y., 1981.
- Makarenko A.* Makarenko: His Life and Work: Articles, Talks, and Reminiscences. M., s. a.
- Marcus G.* Ethnography through Thick & Thin. Princeton, 1998.
- Oushakine S. A.* In the State of Post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia // Europe-Asia Studies. 2000. Vol. 52 (6).
- Oushakine S. A.* Crimes of Substitution: Detection in Late Soviet Society. Public Culture. 2003. Vol. 15 (3).
- Roll-Hansen N.* A New Perspective on Lysenko // Annals of Science. 1985. Vol. 42. P. 261–278.
- Roth M. S.* A Problem of Recognition: Alexandre Kojève and the End of History // History and Theory. 1985. 24 (3). P. 293–306.
- Lysenkoism in China: Proceedings of the 1956 Quigdao Genetics Symposium. N. Y., 1986.

Т. А. Круглова

Трудовая советская семья

Я, ты, он, она — вместе целая страна,
вместе дружная семья.

Ценности почвы, родины и семьи активно возрождались в России в послевоенное время. Культура-2 (в терминологии В. Паперного) ориентирована на традиционалистские, в патриархальном духе, социальные отношения и способы их репрезентации. Концентрацией всех этих установок стала «народность». В категории «народность» преобладает метафизически-темная и многозначная связь с неким изначальным бытием низов, исторически не конкретизируемая. Вызванная к жизни романтическим историософским сознанием XIX века, она отвечает за организмическое начало социальной жизни, не формализуемое в структуры, скорее предмет веры, чем объект анализа. Категория «народность» была призвана противостоять «искусственной формальности человеческих отношений», «живой организм противопоставлялся механическому агрегату и артефакту» [Гюнтер 2000: 377]. И в советской эстетике, философии, науке 1930-х годов происходит поворот к органическому принципу, отвергается так называемый «вульгарный социологизм», появляется настойчивое требование «живого человека» в литературе, после войны ширится поток произведений на семейно-бытовые темы.

Мужской грамматический род слова «народ» принадлежит к

женскому роду вместе с такими словами, как «родина», «земля», «страна», «Москва», «семья». В высказывании героини кинофильма «Зимняя вишня» точно обнажается это сходство: «Семья, как и Родина, должна быть, и все». С появлением народности распространяется сталинский миф о Большой семье, нашедший выражение во множестве произведений искусства — от гимна до кинофильма «Большая семья». Концентрация семейственности во всех сферах жизни и закреплялась категорией «народность». Весь народ и новые формы его общностей мыслятся как семейные. Миф о Большой семье, как показывает К. Кларк, составляет самую сердцевину тоталитарного общества. Этот миф представляет «великую семью» государства как естественный союз граждан, испытывающих друг к другу те же чувства теплоты и заботы, что и члены «малой семьи», основанной на кровных связях [Кларк 2000: 785].

В социальной риторике широко используется сравнение с семьей всех типов социальных институтов, причем в качестве похвалы, подчеркивающей высшую степень совершенства: «школа как семья», «завод как семья», «армия как семья», «театр как семья» и т. п. Семья не просто отражает ситуацию в обществе, преломляя социальное сквозь призму частного, она полностью подобна целому. На ее территории проходят сначала классовые бои, а затем она становится полем действия производственных отношений. Семья — это торжество истинной народности, и наоборот, в народности в высшей степени представлено семейное начало.

Для двух тоталитарных культур — России и Германии — народность является не только обозначением фактического, но и идеального, можно даже сказать — утопического состояния. Термин «тоталитарная культура» не совсем точно выражает суть реальных социальных перемен, так как тоталитарный проект в силу своей крайне радикальной установки на антропологическую революцию не может быть реализован в конкретных исторических условиях. Продуктивнее говорить о стратегии тотализации всех сфер жизни, воли к снятию всех возможных форм отчуждения, к слиянию и нерасчлененному единству, что и составляет содержание понятия народности. Советская жизнь — это семейная жизнь. Семейственность в тоталитарных культурах вырастает из стремления укорениться в массах не по «холодной» идеологической линии, а по «теплой» линии эмоциональности, традиционности и мифологичности. Советская художественная семья демонстрирует тоталитаризм с человеческим лицом, сентиментальный тоталитаризм.

литаризм. Миф о «великой семье» придал социалистическому реализму окончательный вид и определил основной сюжет.

Не только на общество переносились коренные характеристики семьи — она сама была открыта всепоглощающему проникновению социальности. Советская семья прозрачна для общества. Если буржуазная семья — убежище от власти, часто — защита от государства, крепость, где можно укрыться от общественных потрясений, то в советской семье все наоборот. Советская семья берет на себя функции контроля, разоблачения, наказания и поощрения. Она — в буквальном смысле ячейка общества.

Стало уже общим местом считать ключом к пониманию советской культуры и человека коллективность как образ жизни и систему ценностей. Но такая форма организации людей, как коллективы, и само это слово появились в западном обществе в период индустриализации и роста промышленного производства, обозначая прежде всего трудовые образования. Их возникновение тесно связано с внедрением техники в социальность, с рациональными способами взаимодействия людей для достижения наиболее эффективного результата. Деятельность коллектива ближе всего к работе машины. Народность же подразумевает коллективную телесность, а не механистичность, и в этом смысле она противоположна коллективности в ее изначальном назначении. И хотя славянофилы говорили о «народном коллективизме», само это выражение ничего не проясняет, так как это либо тавтология, либо оксюморон.

Коллективность, основанная на разделении труда, на профессионализации, на четко определенных обязанностях членов коллектива и содержании их деятельности, границах полномочий, дисциплине, наконец, — имеет корни в корпоративном обществе, которое сложилось в классическом варианте еще в раннем западном средневековье. Для корпоративного общества характерно доминирование сильных горизонтальных связей внутри общностей — рыцарских орденов, монастырей, университетов, цехов и гильдий, городской и сельской общины. Основной смысл корпорации — самозащита, самовывживание через объединение, самоорганизация. В государствах, находящихся в сфере влияния Византии — Восточной Европе, Древней Руси, — сложился феномен некорпоративного общества, в котором были слабыми горизонтальные связи, зато скрепляли социум сильные вертикальные связи [Поляковская 1999]. Внутренние социальные отношения были

аморфными, границы между сословиями расплывчатыми, гарантия выживания обеспечивалась вертикалью и государственным центром. Единственной прочной единицей, которую можно смело называть микроструктурой общества, была семья. В Византии семейные узы, оформленные кодифицированным правом, были изначально сильнее, чем на средневековом Западе. Мощных корпораций христианский Восток не знал. Здесь существовали, возникая и исчезая, так называемые «живые общности» как формы повседневного взаимодействия людей. Жизнь восточно-христианского социума представлена десятками таких общностей, эфемерных и не имевших формальных признаков, — это, например, византийские литературные салоны. При рыхлости социальных связей, при довольно свободной социальной вертикальной диффузии отдельный человек не чувствовал определенно «своего места» в обществе. Будучи свободен от корпоративных отношений, он, с другой стороны, не был защищен корпорацией. Таким образом, можно утверждать, что коллектив имеет корни в западной корпоративности, а народность — в некорпоративности. Буржуазная культура сильна не только частно-индивидуалистическим интересом, но прежде всего способностью индивидов объединяться в корпорации-коллективы.

Советская культура складывается в результате масштабной и ускоренной индустриальной революции, модернизации всех сторон жизни, которые осуществляются силами трудовых коллективов. Но советский трудовой коллектив строится по семейной матрице, а не по корпоративному сценарию: так же как семья предназначена для воспроизводства людей и подготовки их к жизни в обществе, так и советские заводы и фабрики заняты не столько производством вещей, сколько производством людей и их отношений. Трудовые коллективы ходили в походы, занимались общественной работой и художественной самодеятельностью, отмечали юбилеи, повышали политический и общеобразовательный уровни, выезжали на природу, выпускали стенгазеты. В общем, «какой может быть борщ, когда такие дела на кухне!» (М. Жванецкий).

Именно поэтому в советском искусстве производственная тема, шире — тема труда и трудового коллектива, — была так разнообразно и многожанрово разработана, становилась источником напряженной драматургии и авантюрно закрученной интриги. Проблемы трудового коллектива легли в основу подлинных художе-

ственных шедевров А. Гельмана, В. Липатова, Ю. Райзмана и многих других. Нигде в мире подобная ситуация не была возможна. Капиталистическое производство — скучная рутина, оно не может служить сколько-нибудь будоражащим воображение источником творчества.

На «малую семью», в свою очередь, переносятся черты производственного коллектива. Огромное место занимают повествования о рабочих династиях, в жизни которых потомство — это трудовые резервы для родного завода, а нарушение трудовой дисциплины — причина ссоры между отцом и сыном, где за обедом обсуждаются рацпредложения и ресурсы экономии сырья.

В жизни советской семьи огромное место занимал домашний труд, причем особенно — ручной. Ценилось только то, что сделано своими руками: дико и нелепо доверять уборку постороннему человеку; лучше самой сшить платье, чем купить готовое, следует уметь испечь пирог и торт, так как стыдно покупать магазинные; дороги подарки, сделанные своими руками, стыдно отдавать белье в прачечную, ужинать в кафе. Супруги, не следующие этим правилам, считаются пренебрегающими сакральными семейными обязанностями. Семья привязывает к себе выполнением множества повседневных бытовых повинностей и трудностей. Быт становится тем неотчуждаемым и естественным местом и занятием, на котором сходятся все члены семьи, своего рода семейной субстанцией. В семье никто не отдыхает, в ней нельзя быть праздными, здесь все время что-то мастерят, чинят, ремонтируют, ездят на огороды. Домашний труд сближает, в нем есть непосредственность телесных контактов и совместных переживаний, он постоянно вызывает к взаимопомощи. Семейный быт и труд не поддаются рационализации и четкому разделению, специализации и профессионализации. Здесь важно делать уборку сообща, а не по очереди. Можно даже утверждать, что с техническим улучшением быта — появлением посудомоечных машин, стиральных машин-автоматов, развитием широкой сети полуфабрикатов, улучшением системы общественного питания, активно пришедшими к нам вместе с рыночными отношениями, рухнули последние основания для семейных уз. В советской семье, где доминировала ситуация: все делают все, готовились будущие работники советских трудовых коллективов с их такой же до конца не рационализируемой системой производственных отношений, с этикой заботы и взаимопомощи. Главное, чему учит советская семья — жить не для

себя. В этом и заключается особая трудовая этика советского человека.

Предикаты семьи «народная» и «трудовая» принадлежат скорее официальной риторике, художественному дискурсу, повседневной мифологии, но если мы попытаемся деконструировать изначальный субстрат советского образа жизни, то это будет «коммунальность». Коммунальность образуется как симбиоз коллектива и семьи в процессе ускоренной модернизации при переходе от общинного образа жизни к индустриально-урбанизированному. В советской стране это переходное состояние стало близким к постоянному не столько вследствие хронического недостатка жилья, сколько благодаря тому качеству жизни, порождаемому коммуналкой, которое оказалось очень важным и необходимым в долготное новое общества. Житье-бытие в коммунальных квартирах, бараках, общежитиях, интернатах, в местах «общего пользования» несло в себе черты полусемейного быта, когда совершенно чужие, случайно оказавшиеся вместе люди, ничем не связанные, кроме места проживания, вынуждены были сосуществовать почти в интимной близости, терпеть и в идеале любить друг друга. Они не могли стать коллективом, как бы ни старались, так как у них не было внеположенного их существованию дела и цели, и они не могли стать семьей в собственном смысле слова, так как не выбирали друг друга, а оказались связанными насильственно.

Коммунальная квартира, как капля воды, отражает всю систему существующих (а также предписываемых) социальных связей. Коммунальная квартира — вопиющее терминологическое противоречие, особенно если перевести это словосочетание, к примеру, на английский язык. Такого не может быть в принципе — в противном случае мы имеем род социального вуайеризма. «Коммунальная квартира» — это родовое обозначение для разных видов коммунальных пространств. «Коммунальная квартира» в русском / советском языке является идиомой, а советский коммунальный опыт остается уникальным и плохо переводимым на другие культурные языки.

Коммунальность — это гипертрофия и плотность социальности. Этот опыт был точно отрефлексирован Ильей Кабаковым: «Я думаю, что это ощущение собственного несуществования связано у меня с тем, что я жил в детстве не в семье, а в достаточно террористическом, репрессивном мире детского общежития. Отсюда мое повышенное ощущение социальности. Окруженный со

всех сторон своими сверстниками, учителями и т. д., я постоянно реагировал на их ожидания и вопросы почти автоматически. Постоянный страх ответить неправильно, невпадет заставляет меня и сейчас имитировать ответ прежде, чем я понимаю смысл, содержание и цель вопроса. Когда ко мне обращаются, я не успеваю подумать, могу ли я и должен ли я отвечать. Я отвечаю так же автоматически, как обезьяна дергает лапой. Страх ответить невпадет — это и есть для меня страх небытия. Для меня смерть — это неучастие в коммуникации. Другой имеет для меня всегда большую ценность, чем я сам, всегда реальнее, чем я сам» [Гройс, Кабаков 1999: 32].

Коммунальные ощущения очень инфантильны: они — т. е. взрослые, или начальство, или просто другие, — могут сделать со мной все что угодно. В коммуналке все значимо и все опасно. «Никогда не знаешь, с каких позиций и по каким критериям твое поведение будет оценено, поскольку... тотальность ... обладает удивительной способностью связывать — часто очень неожиданным для самого человека образом — мельчайшие аспекты его бытового поведения с судьбами всего мирового процесса и государства. От этого у советского человека развита... способность соотносить свое поведение с самыми отдаленными культурными контекстами» [Там же].

Б. Гройс отмечает, что коммуналка образует особый тип эстетического пространства, согласно которому максимальный художественный эффект возникает как раз от насильственного сведения в одно время и в одном пространстве социально и психологически чуждых людей. По мнению Гройса, М. М. Бахтин не случайно создает свою знаменитую теорию полифонизма во время активного формирования и расцвета коммуналок, в которых возникает провокация, заставляющая этих людей вступать друг с другом в предельно напряженный диалог, апофеозом которого является бытовой скандал, что особенно хорошо показано в романах Достоевского. В этом пространстве люди постоянно наталкиваются друг на друга, здесь невозможен отъезд, невозможен настоящий разрыв.

Учитывая всеобщий характер коммунальности в России, а также ее укорененность во всех сферах частной и общественной жизни, можно фиксировать, как на бессознательном уровне коммуналка пропитывается ценностями, терминами и правилами, проникающими из большого мира; прежде всего это отражается в ог-

ромном количестве безличных местоимений и форм, которые так потрясают иностранцев: приходят, принято, должно, они, у нас, завезли, выбросили. Большой мир выступает в форме неопределенных текстов. «Мера беспомощности коммунальной жизни перед внешним миром ужасающая. Никто в коммунальной квартире не прибьет доски, не починит кран, потому что все эти функции выполняет “оно”» (цит. по: [Кабаков, Тупицын 1992: 23]).

Важно отметить, что власть коммунальности — это только всепроникающая на бытовом уровне власть государства. Можно эту проблему увидеть в противоположном ракурсе. Коммунальность — это огромный пласт неполитизированного, народного, частножитейского, массовидного уровня советской социальности, которая поглощала, притупляла, тормозила, обессиливала утопические претензии власти на полный контроль над человеком. Также и советская семья была не только проводником официальной программы и государственного мифа, но и хранилищем традиционалистских общинных структур, с трудом подвергающихся ломке. «Литература 30-х годов... смогла сделать зримой особую этику коммунальных роевых отношений, роевой семейственности, этику низового пролетарского демократизма, охлократических свывчаев и обычаев, густое варево новой социальности, закипавшее во всех горшках и кастрюлях советских киновиальных кухонь» [Гольдштейн 1997: 154]. В искусстве в период упрочения и торжества советского социализма акцентируются надежность, стабильность человеческих отношений, мастеровое отношение к культуре, которая красива и полезна, почитание просвещения и общего образования, пафос неуклонного преодоления страданий, трудовая советская порядочность. О новой чувствительности, новом сентиментализме заговорили в то время многие. Предполагалось, что семейная и государственная сферы ни в коей мере не враждебны, «и материнское, интимное, домашнее снизу доверху прогревает своими лучами оберегающий эту интимность государственный распорядок. Общее, государственное неизбежно вторгается в жилище частного человека и при этом само принимает антропоморфные очертания, избавляясь от своей уступчивой одномерности» [Там же: 159].

Социалистическое искусство зрелого соцреализма было в значительной степени буржуазно (о чем настойчиво пишет в ряде своих работ и Б. Парамонов), и сентиментально, и эта его сентиментально-буржуазная и традиционалистская мифогенность являлась

гораздо более важной содержательной компонентой, нежели креативно-волюнтаристская, авангардистская проективность.

Советская семья как в своем реальном бытии, так и в художественном воплощении обнаруживает черты мягкого перехода от семьи традиционно-патриархальной к семье примерно того же образца, какой она становится в буржуазной культуре в Новое время. Так или иначе, модернизация, хоть и по-сталински, но произошла в России, и плоды ее мы ощущаем в образах семьи. Семья — это пространство компромисса между радикальными проектами государства и власти и давлением снизу, идущим от маргинализированных масс, мечтающих о семейной идиллии. Советская семья — это один из немногих реализовавшихся глобальных утопических проектов нового общества, чей художественный облик сохраняет свое скромное обаяние.

Литература

Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики. М., 1997.

Гройс Б., Кабаков И. Диалоги. М., 1999.

Гюнтер Х. Тоталитарная народность и ее истоки // Соцреалистический канон. СПб., 2000.

Кабаков И., Тупицын В. За пределами коммунальной речи» // Творчество. 1992. № 1.

Кларк К. Сталинский миф о «великой семье» // Соцреалистический канон. СПб., 2000.

Поляковская М. А. Византия: феномен некорпорированности общества // Екатеринбургский гуманитарий. 1999. № 1.

Раздел 5

Интолерантные отношения в семье и формы их коррекции в современной городской школе

Т. И. Бетчер

Семья и школа, или Кривые зеркала

В ситуации тотальной битвы семьи за образование, точнее за место для ребенка в хорошей школе, родители чаще всего руководствуются сугубо прагматическими соображениями, имеющими весьма отдаленное отношение к самому процессу получения образования ребенком и параллельно, нравится это родителям или нет, процессу его школьного воспитания.

Самым дефицитным, несмотря на предоставляемые языковыми центрами возможности, остается качественное языковое образование, потребность общества в котором, как и вообще в образовании повышенного качества, превышает предложение. И особенно трудно (по ряду причин) удовлетворить ее при отсутствии достаточно полного и реального представления о том, что определяет родительский выбор образовательного учреждения и какие требования предъявляют сегодня родители учащихся и сами учащиеся (выпускники) к образованию.

Так как проблема содержания и качества образования имеет отчетливый социальный аспект, то нами был выбран метод массового (в совокупности 1127 человек) социологического опроса как наиболее доступный и позволяющий собрать максимум необходимой информации для анализа и последующих выводов.

Опрос родителей детей, поступающих в 1 класс языковой гимназии, показал, что важнейшими характеристиками образовательного учреждения родители считают:

- 1) приоритет языкового образования;
- 2) высокое качество общего образования;
- 3) комфортность пребывания ребенка в отдельном здании начальной школы.

Не удивительно, что среди поступающих в гимназию большинство включили в число важнейших характеристик школы языковое образование, но показательно, что количественный выбор этой характеристики явно уступает в «качестве» другой — приоритет общего образования высокого качества, — которую на 1-е место поставили 52 % из выбравших ее респондентов.

Это сопоставление позволяет сделать вывод о том, что для большинства родителей будущих первоклассников именно эти две характеристики формируют представление об образовательном учреждении, достойном их детей.

Интересно отметить, что комфортность пребывания ребенка в школе как ее характеристика руководителями школ почти не принимается во внимание, во всяком случае, не является определяющей, тогда как родители считают ее одной из важнейших.

Для родителей одинаково значимыми характеристиками оказались: «близость к дому, удобство расположения школы», «репутация в городе» и «определенная социальная среда» (чуть отставшая по количеству первых мест), и лишь после них «приоритет сохранения здоровья».

Опрос родителей о причинах выбора нашего образовательного учреждения выявил следующее (количество названных оснований выбора не лимитировалось, но данные свидетельствуют, что большинство руководствовалось четырьмя) (см. таблицу).

Опрос выпускников 9-х и 11-х классов показал, что главными достоинствами обучения в гимназии они считают: хорошую языковую подготовку и качественную, дающую уверенность в себе подготовку по другим предметам.

Приведенные выше данные позволяют с достаточной степенью полноты сформулировать преобладающее в наиболее образованной (около 95 % родителей учащихся гимназии имеют высшее образование) и стабильной части общества представление о современном образовании (предъявляемых к образованию требований).

Это:

— качественное общее образование во всех без исключения образовательных областях, образующее надежный фундамент

№	Основание выбора	Количество ответов	Место
1	— необходимо дать ребенку языковое образование	57	1
2	— необходимо дать ребенку общее образование повышенного качества	57	1
3	— обучение в гимназии даст ребенку лучший жизненный старт	41	2
4	— необходимо пребывание ребенка в определенной социальной среде	33	5
5	— в этом учреждении наиболее строгая система учебных и дисциплинарных требований	34	4
6	— здесь формируется приемлемая для родителей система ценностей	28	6
7	— здесь ребенка лучше подготовят к выбранному для него родителями дальнейшему образованию	38	3
8	Другое	—	
	<i>Всего</i>	288	

дальнейшего профессионального (высшего) образования и общей культуры личности;

— обязательное изучение как минимум одного иностранного языка на уровне международных сертификатов, обеспечивающее доступ к высшему образованию и высокопрофессиональной деятельности как в России, так и за рубежом.

Условиями достижения такого уровня образования родители считают четкую и строгую систему учебных и дисциплинарных требований и социальную среду, в которой ценность образования не подвергается сомнению и тем самым закладывается основа устойчивой учебной мотивации.

Никто из родителей не вписал в анкету никаких иных, кроме предложенных, оснований выбора школы, например «высокая квалификация педагогов» или «гуманистическая, демократическая система ценностей». Практика же показывает, что именно несоответствие образовательного коллектива этим характеристикам в дальнейшем становится причиной абсолютного большинства конфликтов, ситуаций взаимного непонимания, отчуждения семьи и школы.

Материал анкеты позволяет говорить о том, что родители не только будущих первоклассников, но и старшеклассников явно недооценивают ценностный аспект образования, либо не желают его признавать, считая, что формирование системы ценностей — задача семьи, а не школы. По нашим наблюдениям, такая позиция родителей чревата в скором будущем серьезными конфликтами между ребенком и педагогами, между родителями и образовательным учреждением.

Причем конфликт ценностных приоритетов, как правило, является со временем. Если в начальной школе родителям для спокойствия достаточно хорошего настроения ребенка и улыбки учителя, то и отношения между родителями и между семьей и школой в целом можно назвать толерантными. Однако по мере взросления наследника все чаще возникают ситуации, приводящие к противостоянию школьной и семейной систем ценностей.

Для школы безусловной ценностью остается коллективность. Сплоченность класса, коллективистское сознание — я = мы — как основа многолетней общей жизни формирует особую толерантность в отношениях между одноклассниками. Конфликтом нового времени можно назвать ситуацию, когда рядовая драка мальчишек-пятиклассников становится поводом для выяснения отношений между отцами, в лучшем случае через суд, в худшем — через угрозы и шантаж. Детская ссора интерпретируется как покушение на социальный статус и мужское достоинство отца, в борьбе за которые он готов навсегда разрушить отношения ребенка с одноклассниками.

Школьная статистика неумолимо свидетельствует: только 7–10 % семей первоклассников являются неполными; к окончанию детьми начальной школы таких семей становится около 30 %, к окончанию основной — около 50 %, а день получения аттестата о среднем образовании в полном составе отмечает менее 40 % семей. Естественно, что такое изменение семейной ситуации не может не отражаться на отношениях семьи и школы.

В этих условиях современная российская семья отвела школе еще одну нетрадиционную роль — роль своеобразного рычага управления внутрисемейными отношениями. Например, если муж ушел из семьи и у жены нет других способов сохранения связи с ним, кроме как через ребенка и его трудности, мать начинает продуманно обыгрывать школьные ситуации как конфликтные и опасные для ребенка, мотивируя отца на их решение. Как правило,

роль отца опять же сводится к демонстрации статуса, финансовых и силовых возможностей, т. е. конструктивному решению проблемы (даже если она есть) никак не способствует, но женщина из всех сил будет длить и длить ситуацию, позволяющую ей манипулировать и мужем, и ребенком. Школа выступает заложником семейных конфликтов и вынуждена искать только компромиссы. В такого рода отношениях ребенок для родителей оказывается куда меньшей ценностью, чем мстительная удовлетворенность за нанесенные обиды, тщеславное сознание того, что «все равно он от меня никуда не денется».

Чем труднее было поступить в гимназию, тем выше требования родителей к образовательному учреждению, тем более обоснованными им кажутся надежды на то, что их детей минуют типичные подростковые проблемы: снижение учебной мотивации, уход в неформалы, тяга ко всему запретному и т. д. Достаточно долго они пребывают в уверенности, что хорошая школа — это своего рода колпак, под которым их дитя вырастет вполне благополучным без активного родительского участия.

В реальности оказывается, что чем четче и выше система нравственных ценностей в школе, чем последовательнее школа в их отстаивании, тем резче воспринимает ребенок несоответствие ей в семейной обыденности. Невнимание родителей к впервые заданному им вопросу о том, «почему...», игнорирование этой сферы социализации ребенка, а тем более прямое противопоставление: «Здесь тебе не школа — нечего нам морали читать!» — приводит к тяжелейшим подростковым нравственным кризисам, многолетним семейным бойкотам, взаимному отчуждению и очень часто, как следствие, выпадению подростка из системы нормальных отношений взаимных обязательств и ответственности, уходу в «неформалы».

Сама проблема качества образования с годами приобретает все более ценностно-многозначное содержание. Если при поступлении в гимназию и в средних классах лейтмотивом проходит: «Нам важны не оценки, а знания», то к одиннадцатому классу все более важными становятся оценки, и тут уж родители за ценой не постоит во всех смыслах.

Обостряет проблему реально существующее противоречие: в 11-м классе выпускники и их родители уже настроены на решение абитуриентских задач, школа — на выполнение учебной программы в привычном режиме классно-урочной системы, которая, вку-

пе с курсами и репетиторами, является причиной неимоверной перегрузки учащихся. При этом искусственно созданная пропасть между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, ежегодно сокращающееся число бюджетных мест и рост стоимости высшего образования если не прямо, то косвенно повышают значение школьного аттестата, в котором каждая оценка обретает для родителей стоимостный эквивалент — конкретную сумму — при зачислении в вуз.

Видя, что все горошки на одну ложку уложить не получается, семья начинает использовать правые и неправые средства в борьбе за средний балл аттестата: «безвозмездную» помощь школе, «безвозмездную» помощь учителю с постановкой жестких условий впоследствии, прямые шантаж и спекуляцию, хитроумно продуманные провокации при наличии подходящего повода, давление через органы управления или властные структуры и т. д., считая, что в этом случае все средства хороши. Одиннадцатый класс расставляет все точки над *i* в отношениях семьи и школы. Не остается ни иллюзий, ни идеалов. При этом в сознании старшеклассников пока прочно сидит, что учиться в вузе на платной основе стыдно: мол, ума не хватило поступить на бюджетное место; а вот дать любую взятку в данном случае не стыдно, так как тут судьба решается (это они так думают). Обсуждать, какую лепту в формирование этого нравственного перевертыша вносит обязательная воинская повинность, мы не будем, а вот семейный вклад очевиден.

Так уж устроена наша жизнь, что совсем отвернуться и не смотреть друг на друга семья и школа не могут, но кривизна зеркала, т. е. общества, в котором оба социальных института отражаются, с каждым годом все больше, и черты их все менее различимы для них самих.

Г. Л. Бардиер
**Интолерантные родительско-детские
семейные отношения
в консультативной практике
школьного психолога**

Школьный психолог — это специалист, полем профессиональной деятельности которого является вся феноменология школьной жизни. Конечно, это прежде всего учебная деятельность детей-школьников и педагогические усилия взрослого коллектива школы. Родители и семья в первом приближении остаются «за рамками» этого поля.

Однако это только в первом приближении. Стоит начать работать со школьниками более или менее серьезно, как сразу же в общении с ними возникают множественные сознательные проекции и неосознаваемые переносы из их семейной жизни. В подобных ситуациях оставлять детей без психологической поддержки негуманно и неестественно.

Поэтому школьному психологу регулярно приходится расширять рамки своих непосредственных обязанностей и очень осторожно, но все же затрагивать в своей работе те реакции, высказывания, чувства и переживания детей, которые прямо или косвенно указывают на различные формы интолерантности по отношению к ним в их семьях.

Наше твердое убеждение состоит в том, что работать с такой проблематикой в школе (в частности, на уроках психологии) можно¹, но не в терапевтическом и не в тренинговом, а в консультативном режиме.

Тренинговый режим, на наш взгляд, хорош как профилакти-

ческий и воспитательный. Но в тренинге теряется уникальность ситуации, которую переживает конкретный ребенок в конкретной семье.

Психотерапевтический режим в условиях школы, на наш взгляд, возможен только в редких индивидуальных случаях, поскольку он требует дополнительного времени, высокого профессионализма именно в этой области, независимой позиции психолога в школе и многого другого.

Консультативный же режим позволяет, не выходя за рамки урока, проводить следующие работы:

- Экспресс-исследование (дети рисуют, участвуют в свободных дискуссиях, создают свои идеальные проекты, мечтают, выражают свои чувства, упоминая при этом контекстуально беспокоящие их семейные отношения; именно контекст работы на уроке защищает детей в этих ситуациях, обеспечивает им психологическую безопасность).

- Оказание эмоциональной поддержки и предоставление возможности более полного отреагирования чувств (дети делятся своим опытом, вспоминают неприятное — и тут же, выслушав, психолог просит их поделиться чем-то хорошим, воспоминанием о каких-то других реакциях, намерениях, обещаниях обидевших их пап, мам, бабушек, других членов их семей).

- Совместная рефлексия и поиск адекватных моделей преодоления ситуаций внутрисемейной интолерантности (дети свободно обсуждают возникающие у них вопросы, например, что делать ребенку, если родители его не понимают, его друзей не принимают, своих обещаний не выполняют, несправедливо обвиняют, обидно обзывают, когда надо — не помогают, не вникают, раздражаются, кричат, не слушают, не сочувствуют, «ничего про ребенка не знают», «не хотят его видеть», не любят, не уважают...).

- Коррекционная работа с родителями — прямая, если они сами приходят в школу, например за ребенком после уроков; косвенная — через ребенка, через творческие домашние задания, нацеленные на инициирование позитивного диалога с кем-то из родителей.

- Поиск организационной поддержки у учителей (например, включение ребенка в те или иные полезные для его самооценки мероприятия, оказание ему большего уважения на уроке, привлечение внимания родителей к успехам и стараниям ребенка и т. д.).

Наш более чем 10-летний опыт работы с детьми на уроках пси-

хологии в начальной, средней и старшей школе позволяет предложить несколько типологий феноменологических проявлений интолерантных родительско-детских семейных отношений у школьников.

Первая типология базируется на представлении о трехкомпонентной структуре аттитюда (установки), включающего аффективную, когнитивную и конативную части. По преобладающей части интолерантной установки чаще всего нам приходилось сталкиваться с такими ситуациями:

1) родители не принимают ребенка эмоционально — самая распространенная форма семейной интолерантности, причем наиболее болезненная в младшем школьном возрасте (например, на одном из наших уроков дети задание «Мне неприятно, когда родители меня называют...» продолжили так: свинья, корова, вонючка, ублюдок, крокодил, поганка и т. п.)²;

2) родители не понимают и не предпринимают никаких усилий для того, чтобы понять ребенка, выслушать его точку зрения, допустить, что его аргументы могут быть разумными и т. д. — этот вид семейной интолерантности особенно болезнен для младших подростков (например, ребенок натывается на «глухую стену», пытаясь обратить внимание родителей на свое увлечение, желая рассказать им о своей проблеме или о возникших трудностях, о сложных отношениях в классе, о понравившемся фильме, о новой игре, о своих планах и др.);

3) родители отвергают ребенка как деятеля, как человека, способного что-то спланировать и исполнить самостоятельно, попрекают его прошлыми неудачами — это особенно травматично для старших подростков (например, открыто смеются над ним, приговаривая: «у тебя ничего не получится», «зачем зря пытаться», «куда ты, сиди уж себе дома...», «тоже мне — возомнил себя...» и т. п.).

Другим критерием типологизации интолерантных отношений родителей к детям в семье является предполагаемое происхождение самих интолерантных установок. Это могут быть:

1) канализация внутрисемейных супружеских конфликтов на ребенка (например, жена, не уверенная в порядочности своего мужа, злится на ребенка, либо разводящиеся родители «вдруг» обнаруживают массу «позорных» недостатков у своих детей);

2) использование ребенка как мишени для демонстрации разногласий между поколениями в семье (чтобы доказать бабушке, что она не права, ребенка превращают в «козла отпущения», либо,

наоборот, чтобы продемонстрировать молодым родителям эффективность своих воспитательных теорий, представители старшего поколения буквально изводят ребенка постоянными замечаниями, моральями, строгими и непреклонными правилами и т. п.);

3) рационализация семейного неблагополучия и неудовлетворительного уровня развития семьи через негативную трактовку факта рождения ребенка как семейного события (семейная история рассказывается окружающим в минорном ключе, который особенно акцентируется при пересказе именно тех событий, участником которых был ребенок);

4) опредмечивание на ребенке внутриличностных конфликтов и психологических комплексов родителей (ревность, зависть, жадность, цинизм);

5) использование закрепившегося в истории семьи случайного (возможно — единичного) негативного факта из жизни ребенка (например, ребенку при случае всякий раз напоминают, что он в детстве что-то украл, что в какой-то ситуации оконфузился, проиграл какой-то конкурс, не смог стать отличником, не умеет петь, его во дворе побили, он струсил...).

Наконец, поскольку речь идет не только об исследовании, но и о консультативной помощи детям, страдающим от интолерантных отношений к ним в семье, мы в качестве третьего критерия классификации используем возможные направления облегчения состояния ребенка, поддержку и развитие его собственной толерантности:

1) отреагирование травмирующей ситуации в семье через сверстников (например, на одном из наших уроков старшеклассница на глазах у всех изменила свое отношение к постоянно попрекающим ее родителям после того, как кто-то из одноклассников вызвался сыграть в ролевой игре ее «многоуважаемого» и одновременно такого непримиримого папу);

2) смена установки по отношению к родителю через последовательную работу с метафорическим рисунком (например, один из наших уроков в начальной школе назывался «Если бы мой папа попал в мультфильм “Ну, погоди!” — на уроке дети сравнивали папу последовательно с разными героями мультфильма, рисовали его в разных ролях, поясняли свои рисунки, меняли их, рисовали новые; при этом трактовка образа папы, естественно, изменялась тоже, а поскольку психолог находился рядом с ребенком, то эти изменения он старался направлять в позитивную сторону);

3) приведение описаний обидных ситуаций к модели общего случая (например, урок, посвященный воспоминаниям ситуаций, когда взрослые хотели помочь-понять-поллюбить, но «вышло только хуже» — после актуализации и осознания негативности таких воспоминаний дети в свободной дискуссии приходят к выводу, что «так у всех бывает», «мы тоже иногда ошибаемся»... «дети должны сами почаще оказывать психологическую помощь взрослым, тогда они быстрее все поймут, захотят, увидят, сделают...»).

Как уже было замечено выше, работая со школьниками, мы стараемся не упускать случая вступить в консультативный контакт с их родителями.

В плане коррекционной работы с интолерантным отношением к ребенку в семье мы часто предлагаем родителям ответить на следующие вопросы и затем, по возможности, обсудить с психологом свои ответы³:

- Приходилось ли Вам (сколько раз?) отвергать или даже отталкивать ребенка, когда он лезет к Вам целоваться или обниматься, а у него щеки диатезные и шершавые, нос сопливый, текут слюны, руки в песке или пластилине?

- Как часто Вам приходилось ставить себя на место ребенка? С каким результатом?

- Когда ребенок (в особенности — подросток) говорит Вам что-то шокирующее (например, рассуждает о пользе наркотиков), всегда ли Вы находите такие слова, которые позволили бы ребенку сохранить к Вам доверие?

- Как проявляется Ваше желание понять ребенка? Часто ли это желание у Вас бывает?

- Как Вы просите у ребенка прощение, когда оказываетесь неправы? Сколько таких случаев Вы можете вспомнить?

- Вы с ребенком говорите или разговариваете?

- Стремитесь ли Вы изменить ребенка?

- Учитываете ли его мнение?

- Заботитесь ли о развитии уважения ребенка к самому себе?

- Все ли Ваши реакции по отношению к ребенку адекватны ситуациям его обращений к Вам?

- В чем проявляется Ваша ответственность за ребенка и как он об этом знает?

- Волнуют ли Вас в процессе общения с ребенком Ваши собственные личностные свойства (такие как честность, ответственность, доброта, искренность)?

Работая с педагогическим коллективом школы, мы стараемся обратить внимание администраторов и учителей на важность проведения в школе различных мероприятий, не только пропагандирующих, но и реально развивающих толерантность в детской среде.

Например, к таким мероприятиям мы относим проектирование и создание детьми выставочных экспонатов, рисунков, плакатов, совместную разработку развивающих толерантность родительско-детских игр, тренинговых упражнений, творческих домашних заданий. Идеал, к которому мы стремимся, — это участие в такой деятельности творческих «команд», включающих школьников, учителей, родителей (в особенности — «интолерантных» к собственным детям) и, конечно, самого психолога.

¹ См.: *Бардиер Г., Никольская И.* Что касается меня. Сомнения и переживания самых младших школьников. Рига, 1997; *Никольская И., Бардиер Г.* Уроки психологии в начальной школе. СПб.; Рига, 1996, 1997; *Бардиер Г.* Почему психолог похож на Кота? Рига, 1997; М., 2002.

² Описание этого урока и технологии его проведения см.: *Бардиер Г.* Почему психолог похож на Кота? Тонкости психологической помощи детям. М., 2002. С. 95–97.

³ Предлагаемый вопросник составлен на основе профессионального общения специалистов по работе с детьми в рамках работы секции «Право ребенка на уважение» во время недели Януша Корчака, проходившей в Санкт-Петербурге в июне 2001 года; текст опросника см.: *Бардиер Г.* «Уважение к ребенку» как социальное явление: теоретический, эмпирический и научно-практический подходы // *Право ребенка на уважение. Педагогика Януша Корчака и современный опыт помощи ребенку.* СПб., 2001. С. 98.

М. А. Антошинцева, Н. А. Бочарова
**Технология «Семейное чтение»
как способ предупреждения
семейных конфликтов
и гармонизации родственных
отношений**

Проблема гармонизации межличностных отношений и формирования позитивного мироощущения остается актуальной в настоящей социокультурной ситуации. Этой проблеме уделяют большое внимание и наука, и искусство, в частности литература. О важности поучительной функции и нравственном потенциале классической литературы нет нужды говорить. Также как ни для кого не будет новым утверждение, что различные тренинги с использованием произведений искусства, создание собственных творческих работ и арт-терапия дают хорошие результаты в процессе гармонизации личности и межличностных отношений.

Интерактивная многофункциональная технология «Семейное чтение» — один из способов решения проблем в области семейных отношений, и в рамках данной работы мы остановимся именно на этом ее аспекте¹.

Методика совместного чтения может помочь детям, полноправным членам семьи, стать гармонично развитыми членами социума, обладающими высоким уровнем читательской культуры и способными в будущем передать эту культуру своим детям, а также (что может быть важнее для современного общества) будет способствовать гармонизации семейных отношений и сохранению семьи.

Самым первым условием формирования гармоничного отношения к себе, к окружающим и к миру вообще является семейная атмосфера. Если в семье преобладают бесконфликтные доброже-

лательные отношения, ребенок чувствует, что его любят и понимают, то можно предположить, что в будущем он тоже будет стремиться к созданию гармоничной семьи, в которой не разрушатся семейные связи. Поэтому, на наш взгляд, снижение уровня конфликтности за счет уменьшения количества конфликтов², умения их разрешать и предупреждать, способствует формированию гармонически развитой личности.

Многие психологи считают, что невозможно бесконфликтное существование и что конфликт является путем разрешения возникшего противоречия. К сожалению, в семье создаются специфические конфликтные ситуации, в которых непросто найти компромиссное решение (например, серьезнейшая современная проблема — конфликт деловой женщины-матери). Сложная организация семьи как малой группы определяет возникновение разных типов конфликтов: принято разделять супружеские конфликты, конфликты материнства и конфликты ребенка и взрослого. Современная социология, психология, психиатрия и другие науки признали главенствующую роль семьи в процессе становления личности. При глубоком и многостороннем изучении проблем семьи одной из самых сложных оказывается проблема равноправия членов семьи, а именно детей и родителей. В этой связи отметим, что даже если отдельно изучать супружеские, ролевые семейные и возрастные конфликты, нельзя забывать, что любое напряжение в отношениях между членами семьи остро ощущается ребенком и влияет на его жизненный сценарий.

Ребенок входит в мир культуры и родного языка под руководством взрослого. Если взрослый хочет приобщить ребенка к определенной системе мировоззренческих принципов (модели мироустройства), то он обязательно должен воплотить ее в виде словесного, изобразительного или поведенческого текста (рассказ, песня, басня, картина, модель поведения и др.), которые малыш легко усвоит и запомнит [Осорина 1999: 130]. Таким же образом ребенок строит свою систему ценностей, в семье начинает формироваться коммуникативная культура ребенка, важной частью которой является способность к мирному разрешению конфликтов.

В психотерапии давно известны разные способы творческого решения конфликтов: сценки, кукольный театр, ролевые игры, быстрое принятие решений, личные истории конфликтов, написание сказок, рисование комиксов. Технология семейного чтения актуализирует один из них: восприятие и осмысление художественно-

го текста, содержащего модель возможной конфликтной ситуации и пути ее разрешения.

В художественной литературе описано множество примеров разнообразных семейных конфликтов. Далеко не во всех произведениях эти конфликты разрешаются, но нельзя отрицать и поучительной роли «отрицательного примера». Чтение (а значит — проживание, прочувствование, приложение к себе сюжетной ситуации, что характерно для восприятия художественного текста ребенком) произведения, в котором герои не находят конструктивного решения конфликта, поможет читателю не совершить подобной ошибки и может быть, заставит найти необходимое решение. Яркими примерами таких поучительных текстов будут «Анна Каренина», рассказ А. П. Чехова «Событие» и многие другие.

Другой тип произведений предлагает разрешение конфликтной ситуации или предупреждение конфликта. Не имея возможности подробно рассмотреть типы семейных конфликтов, приведем два показательных примера.

Одним из самых распространенных конфликтов в современной семье является ролевой. Изложенная в книге «Пол и темперамент в примитивных сообществах» концепция М. Мид (N.Y., 1935), разбившая стереотип жесткого полового соответствия гендерных ролей, была продолжена теорией Плека о гендерной идентификации, и теперь мы можем сказать, что в науке установилось мнение о «фрагментарности гендерных ролей» [Иванова 2001: 321]. Одна из гендерных ролей в семье — роль матери, хозяйки дома, помощницы отца и воспитательницы детей — принадлежит женщине. Если семья по той или иной причине становится неполной и из нее уходит носительница этих гендерных ролей, то может возникнуть конфликтная ситуация, способная привести к разрушению семьи. В рассказе А. Платонова «Семен» описана подобная ситуация, когда в семье нет женщины, способной заменить детям мать, и отец не видит выхода из положения, оставшись с двумя маленькими сыновьями и новорожденной дочерью: «Отец молчал. Он глядел на своих детей, на умершую жену... не знал. Что ему подумать, чтобы стало легче на душе». Старший сын, семилетний Семен, находит выход. Внешне парадоксальная картина хранит в себе не только решение проблемы, но и показывает особенности детского конкретного мышления.

Он [Семен] поглядел вверх, на отца, и сказал ему:

— Давай я им буду матерью, больше никому.

Отец ничего не сказал своему старшему сыну. Тогда Семен взял с та-

буретки материно платье, капот и надел его на себя через голову. <...> Теперь, одетый в платье, с детским грустным лицом, Семен походил столько же на мальчика, сколько и на девочку, — одинаково. Если б он немного подрос, то его можно было принять за девушку, а девушка — это все равно что женщина; это — почти мать.

Этот пример наглядно доказывает, что гендерные семейные роли гораздо шире понятия биологического пола, и учит ребенка и взрослого осознанию ответственности за жизнь своих близких и за сохранение своей семьи.

Вторым обширным полем семейных конфликтов являются отношения родителей и подростков. Повышенный уровень конфликтности подростка в семье связан с изменением самосознания ребенка. Ощущая себя уже не ребенком, а почти взрослым, подросток требует отношения к себе как взрослому, и в первую очередь со стороны членов своей семьи: ребенок требует равноправия со взрослыми, что выражается в стремлении к самостоятельному принятию решений, увеличению личного пространства и свободы в действиях. Результаты сложившейся ситуации приносят огромный вред ребенку как личности и члену семьи: подросток совершает «уход»: современная детская беспризорность, наркомания, агрессивные подростковые субкультуры в начале своем несут нерешенный (а иногда даже не замеченный взрослыми) конфликт с ребенком. В приключенческой литературе нередко подобный конфликт описан, но не решается: герой убегает из дома и, пережив множество лишений и опасностей, становится знаменитым моряком, пиратом, ученым или романтическим бродягой, подобно Геккельберри Финну; попадает в волшебный мир и там совершает подвиги. Убедительная с психологической и художественной точки зрения модель ситуации ухода и разрешения тяжелого конфликта присутствует в повести А. Линдгрена «Ронья, дочь разбойника». Вечный литературный сюжет любви Ромео и Джульетты реализуется на приключенческом материале и имеет «хороший конец». Когда-то молния ударила в заброшенный замок и разделила его на две половины глубочайшей щелью-пропастью. В каждой из частей замка обосновались две конкурирующие между собой разбойничьи шайки. У атамана одной шайки есть сын-подросток Бирк, у вожака другой — дочь Ронья. Подросших детей вопреки родительской вражде связывает крепкая дружба, которая потом перейдет в любовь. Отец запрещает Ронье видеться с Бирком, а за непослушание отказывается от дочери.

Такую же гордость и неуступчивость проявляет и Ронья: они с Бирком уходят жить в лес. Подростки создают свою модель семьи, выполняя основные семейные роли: мальчик добывает пищу и охраняет девочку от врагов, а Ронья готовит еду, ухаживает за Бирком и присматривает за хозяйством. Идет время. И родители, потерявшие детей, и дети, нуждающиеся в их любви, осознают, что для них по-настоящему ценно. Кульминационным моментом в повести является примирение Роньи и ее отца. Причем важно, что именно отец пришел в лесное жилище дочери и помирился не только с ней, но и с семьей Бирка.

Знание автором детской психологии, подробное описание возникновения конфликтной ситуации, неверного поведения участников конфликта, в результате которого возникает угроза разрушения семей и детей подстерегает реальная опасность, а также описание найденного родителями конструктивного решения проблемы делают это произведение необходимым в семейном чтении.

В ходе занятий по программе «чтение — творчество» (восприятие, осознание и анализ, воплощение полученных впечатлений и знаний в других видах искусства), лежащей в основе технологии семейного чтения, у ребенка формируются такие качества члена семьи и будущего родителя, как умение свободно выражать мысли в слове, слушать и осмысливать мнение собеседника, вести беседу, дискуссию, доброжелательность и терпимость к собеседнику. Совместное творческое чтение развивает способность к эмпатии, укрепляет доверие и родственные связи в семье, снижает уровень конфликтности личности, что благоприятно сказывается на качестве жизни человека.

В процессе семейного чтения родитель не занимает позицию учителя, а читает и творит вместе с ребенком. При отборе текстов для методической серии книг по этой технологии учитывались и традиции семейного чтения в России XIX–XX веков (классика, литература ярко выраженного морально-нравственного учительного направления), и принцип занимательности. Книга должна заинтересовать самих родителей: они открывают новые смыслы в тех произведениях, которые читали, получают новые впечатления от ранее не встречавшихся текстов, и главное — творчески общаются со своими детьми. Поэтому семейное чтение помогает родителям понимать и любить своего ребенка, следить за его взрослением, снижает опасность нарушения семейных контактов, когда ребенок вступает в подростковый возраст, позволяет сохранить

откровенность и доверие в этот сложный период, укрепляет связь между родителями и детьми. Совместное чтение способствует жизни ребенка в атмосфере любви, а значит — формированию адекватной самооценки и положительного жизненного сценария будущего члена современного общества — активной и творческой личности, способной создать гармоничную семью.

¹ Технология «Семейное чтение» — это комплекс методик и рекомендаций, предназначенных для формирования читательской культуры ребенка в возрасте от 3 до 13 лет. Освоить ее помогут методические пособия, а также серия книг «Семейное чтение: От 3 до 13. Читаем — значит растем». Эта технология будет полезна не только в полных благополучных семьях, но и в семьях, где растут дети с ограниченными возможностями. Внедрению технологии способствует создание центров семейного чтения — результат личной инициативы методистов некоторых петербургских школ и библиотек.

² На современном этапе изучения конфликта довольно сложно определить не только само понятие, но и область знания, к которой оно принадлежит. Помимо того что в психологии и социологии существуют несколько различных подходов к изучению конфликтов, политология, педагогика, история, философия, искусствоведение, математика, социобиология, военные науки и правоведение выдвигают свои теории и пути разрешения конфликта.

Мы будем понимать под конфликтом «биполярное явление, противостояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной на преодоление противоречия, причем стороны представлены активными субъектами (субъектом)» [Гришина 2000: 85]. Для нас важно, что конфликт обозначен как актуализировавшееся противоречие, воплощенная ценность и что субъект обладает активностью, направленной на разрешение конфликтной ситуации. Такое понимание позволяет выделить семейные конфликты в отдельную область, а также сделать следующее замечание: целью применения интерактивной технологии семейного чтения является снижение уровня конфликтности и гармонизация отношений между членами семьи.

Литература

- Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб., 2000.
- Драгунова Т. В. Проблема конфликта в подростковом возрасте // Психология конфликта. Хрестоматия. СПб., 2001.
- Иванова Е. Гендерные исследования в психологии // Введение в гендерные исследования. Харьков; СПб., 2001. Ч. 1.
- Крупина И. В. Образовательная среда семьи и школы как средство воспитания и обучения. М., 2000.
- Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб., 2000.
- Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.
- Осёрина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., 1999.
- Тимофеева И. Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти: Энциклопедия для родителей по руководству детским чтением. СПб., 2000.

Раздел 6

Семейные отношения в системе городских массовых коммуникаций

О. В. Рябов

«Красный кошмар»:
репрезентации советской семьи
в американском антикоммунизме
периода «холодной войны» (1946—1963)¹

«Красный кошмар» (*Red Nightmare*) — так называется фильм, выпущенный Министерством обороны США в 1962 году. В нем «кошмар коммунистического порабощения Америки» показан сквозь призму жизни обычной американской семьи. Фильм начинается со сцен счастливого утра семьи Джерри Донована. Мистер Donovan — законопослушный стопроцентный американец, не вполне, однако, понимающий, что борьба с коммунизмом — это долг всех граждан США и никто не имеет права оставаться в стороне. За это создатели фильма насылают на него страшный сон, в котором Америка оказывается под пятой коммунизма и все в ней, включая семью, изменяется по советскому образцу. Право на частную жизнь грубо попирается; спецслужбы контролируют даже телефонные разговоры между супругами. Государство беззастенчиво вторгается в неприкосновенное пространство дома, который более не является крепостью. Старшая дочь покидает дом и отправляется на сельхозработы, так как партия считает это эффективным средством борьбы с буржуазным влиянием семьи. Младшие дети, теперь юные пионеры, обвиняют отца в том, что он недостаточно воспитывал в них коллективизм, и обещают пожаловаться на него властям. Жена предает мужа во имя интересов государства. Возмущенный Donovan пытается бороться с новой властью и приговаривается к расстрелу. Проснувшись, наш герой, естественно, становится совершенно другим человеком. Семья, таким

образом, представлена как основа демократии и американского образа жизни, построенная на таких ценностях, как индивидуализм, свобода, религия, право на частную жизнь; коммунизм же — это смертельная опасность для самого существования семьи.

Гендерный дискурс — это одно из традиционных орудий пропаганды, один из ресурсов создания коллективной идентичности и конструирования Врага; репрезентации семьи, привлечение семейной метафоры — важная часть этих процессов (см.: [Рябов 2004б]. Однако в период «холодной войны» мифологии семьи принадлежит особая роль в производстве Своих и Чужих, в критике «красной опасности» и манифестации идеалов американизма. Дом в пригороде, жесткое разделение семейных ролей на «кормильца» и «домохозяйку», бэби-бум — этим чертам семьи придается теперь такое значение, что Элен Мэй считает возможным характеризовать американскую культуру второй половины 40-х — начала 60-х годов как «ориентированную на семью» (*family-centered culture*) [May 1988: 11]. Помимо изменений в сфере занятости и демографической ситуации, исследователи обращают внимание на психологические факторы этого феномена, среди которых — конфронтация «холодной войны»: семья становится символом политики «сдерживания» коммунизма [ibid: 107]. В исследованиях отмечается, что доктрина сдерживания, сыгравшая цементирующую роль в идеологии «холодной войны», манифестировалась и через сдерживание коммунистических попыток извратить природу человека в сфере отношений между мужчинами и женщинами [De Hart 2001: 127]. Доктрина сдерживания была артикулирована через белую американскую семью среднего класса, состоящую из мужчины-кормильца и жены-домохозяйки. Такая семья портретировалась как безопасное, защищенное место в опасном ядерном мире, как воплощение ценностей американского образа жизни: свободы, права на частную жизнь, консюмеризма [Tickner 2001: 55]².

Анализу взаимовлияния гендерного и национального дискурсов в коллективной идентичности американцев в период «холодной войны» посвящено немало содержательных работ (среди них: [Rogin 1987; May 1988; Cohn 1993; Enloe 1993; Jeffords 1994; Costigliola 1997; Рихтер 1997; Clark 2000; Sharp 2000; De Hart 2001; Dean 2001; Friedman 2003]). Менее исследованным является вопрос о репрезентации советской семьи в американской пропаганде этого периода, а также о ее влиянии на гендерный порядок США. Цель данной статьи заключается в том, чтобы обозначить воз-

возможные подходы к анализу репрезентаций семьи (и шире — к анализу гендерного дискурса) как оружия пропаганды «холодной войны», как способа установления символических границ и продуцирования иерархий между Своими и Чужими. Вначале нам предстоит уточнить теоретические основы исследования; затем речь пойдет о конструировании «красной опасности» при помощи гендерного дискурса; далее мы остановимся на вопросе о том, как в антикоммунистическом дискурсе репрезентируется советская семья; наконец, будет затронута проблема международной пропаганды как ресурса создания гендерного порядка в США. Широкая постановка проблемы побуждает привлечь разнообразные источники, среди которых периодические издания (журналы «Лук», «Лайф», «Колльер» и др.), кинофильмы, плакаты и карикатуры, а также пропагандистские брошюры и памфлеты о советской семье и России в целом. Хронологические рамки охватывают период так называемых «долгих пятидесятих»³ (который иногда также обозначается как «первая холодная война») [Sharp 2000: 83–85].

Определим методологические установки. Во-первых, мы придерживаемся принципов реляционного подхода к интерпретации идентичности, при котором, в отличие от атрибутивного, идентичность рассматривается не как постоянное свойство, определяемое некими субстанциональными качествами субъекта идентификации, а как отношение, отношение между Своими и Чужими (см.: [Jenkins 1996; Harle 2000: 6–10]). Такой подход требует учитывать взаимообусловленность репрезентаций советской и американской моделей гендерных отношений. Иными словами, классический тезис Р. Барта о том, что не культурные различия определяют наличие границ, а наоборот, необходимость границы порождает различия между культурами, может быть применен и для анализа гендерных порядков советского и американского обществ периода «холодной войны».

Во-вторых, для анализа функций гендерного дискурса в пропаганде мы предлагаем использовать идеи П. Бурдьё о «символическом капитале» и «символическом насилии» [Bourdieu 1998:103]. Гендерный дискурс исполняет роль маркера, механизма включения / исключения, конструирующего границы между сообществами, и, таким образом, принимает активное участие в идентификационных стратегиях. Однако гендерные идентификаторы не только определяют Своих и Чужих, но и вырабатывают систему оце-

нок и предпочтений: гендерный порядок первых, как правило, репрезентируется в качестве нормы, в то время как гендерный порядок вторых — в качестве девиации (свои мужчины — самые мужественные, свои женщины — самые женственные и т. д.). Таким образом, при помощи гендерного дискурса утверждаются и подтверждаются отношения неравенства и контроля. Другой формой символического насилия является гендерная метафоризация; при этом иерархия мужественности и женственности как ценностей оказывает влияние на иерархию социальных субъектов (нации, классы, политические институты), маркировка которых как женственных или мужественных влечет за собой атрибутирование им соответствующих качеств и соответствующего символического капитала. Трактовка феминного в качестве девиантного, нуждающегося в контроле, определяет доминирующую тенденцию гендерной метафоризации: маскулинизация Своих и феминизация Чужих — распространенный прием внутри- и внешнеполитической борьбы⁴.

В-третьих, нам представляется весьма эвристичной точка зрения, согласно которой Враг — крайний случай Чужих — может быть рассмотрен как социальный конструкт [Aho 1994]; образ врага определяется не только реальными качествами соперничающей стороны, но и следующими его функциями: во-первых, поддерживать идентичность социального субъекта, отделяя Чужих от Своих; во-вторых, доказать собственное превосходство и тем самым способствовать победе над Врагом; в-третьих, упрочить внутренний порядок и провести символические границы в собственном социуме. Отмеченные функции этого образа обуславливают редукцию и референцию составляющих его черт. Враг должен порождать чувство опасности, вызывать убежденность в моральной правоте Своих и неправоте Чужих. Гнев, отвращение, безжалостность — еще один «кластер» чувств, который призван вызывать образ Врага; это предполагает использование такого пропагандистского приема, как дегуманизация Врага. Наконец, Враг должен быть достаточно слаб и комичен, чтобы Своих не покидала уверенность в неизбежности конечной победы [Frank 1967; Keen 1986; Rieber, Kelly 1991; Aho 1994; Harle 2000]. Отмеченные функции образа Врага реализуются при помощи различных видов дискурса, в том числе гендерного.

В-четвертых, мы исходим из положения о взаимосвязи образов Внешних и Внутренних врагов. Внешний Враг часто изобре-

тается для того, чтобы быть использованным во внутривнутриполитической борьбе.

«Холодная война» воспринималась по обе стороны «железного занавеса» не только как борьба двух социально-политических систем, но и как дуэль двух сверхдержав, СССР и США. Разделение мира между двумя полюсами продуцировало манихейское мироощущение, в котором каждый для другого был Врагом № 1. Сама идентичность Америки с середины 40-х годов в значительной степени определялась ее ролью последнего оплота в борьбе с «мировым злом»: противостояние коммунистической России рассматривалось как главная историческая миссия [Sharp 2000: 73]. То есть ответ на вопрос, что есть Америка, зависел от репрезентаций Советского Союза; конструкция тотальной инаковости коммунизма представляла собой одновременно создание идеализированного образа самих Соединенных Штатов [Sharp 2000: 29]. Применение методологии дискурсивного анализа к изучению отношений между культурами, начало которому было положено в «Ориентализме» Эдварда Саида [Said 1978], получило развитие в исследованиях геополитического дискурса «холодной войны», в первую очередь в работах Саймона Дэлби [Dalby 1988, 1990]. Эти работы, в частности, позволили взглянуть на основные дихотомии периода «холодной войны» («тоталитаризм — свобода», «коммунизм — американизм», «Восток — Запад» и др.), равно как и на дискурс советологии, как на процесс продуцирования властных отношений.

Говоря об СССР как Другом американской идентичности, имеет смысл различать несколько составляющих, которые оказали влияние на исследуемый образ. Прежде всего, он унаследовал черты Врага № 1 Америки. В коллективном «Я» американцев важнейшее место занимает приверженность свободе, и образ Врага № 1 наделяется такими чертами, как «деспотизм», «склонность к порабощению», «тоталитаризм» — будь то Япония в период Второй, а Германия — Первой мировых войн или Англия времен Войны за независимость [Kennedy 1997: 355]. Другим элементом стал антикоммунизм с его богатыми традициями. Наконец, еще одной составляющей явился традиционный образ России и русскости в западной культуре. Дискурсивная формация, репрезентирующая Россию как «радикально Иное» Запада, может быть обозначена как *Russianism* [Рябов 2001, 2004] и рассмотрена как форма ориентализма [Said 1978]. В исследованиях неоднократно отмечалось, что дискурсивные практики ориентализма активно использова-

лись в пропаганде «холодной войны», представляющей СССР как наследника восточных деспотий и страну неизбывного варварства [Said 1978: 26; Wolff 1994: 3; Malia 1999: 69; Hendershot 2001: 55–66]. Советскость при этом фактически отождествлялась с русскостью, а коммунизм портретировался как идеология русская по самой своей сути [Sharp 2000: 86, 134].

Оппозиция «естественное / противоестественное» была, по оценке Дж. Шарп, едва ли не главной дихотомией антикоммунистического дискурса; противоестественность рассматривалась как искажение человеческой природы [Sharp 2000: 42–46]. Выражением представлений о «ненормальности» коммунизма стало широкое использование метафоры болезни для характеристики Врага № 1 (см.: [Keen 1986: 63; Sharp 2000: 98–100; Hendershot 2003: 13]). Подобная эссенциализация противоречий двух социально-экономических систем (т. е. признание того, что различия отражают существенные и потому неустраняемые черты) достигалась различными дискурсивными практиками. Культуры двух народов репрезентировались как противоположные по самой своей сущности; «русская душа» рассматривалась как нечто в корне отличное от «американского духа». Иногда это противопоставление достигало такой степени, что даже биологические характеристики американцев и русских считались различными [Sharp 2000: 133, 134]. Стоит особо подчеркнуть еще один способ эссенциализации — «безбожные» коммунисты трактовались как враги Всевышнего; предотвращение порчи и разрушения незыблемых устоев человеческого сообщества, спасение мира от «империи Зла» — эти аспекты борьбы с СССР придавали ей почти религиозный характер [Harle 2000: 92].

Среди главных инвектив в адрес коммунистов — обвинения в стремлении разрушить естественный порядок взаимоотношений полов. Это отразилось и в репрезентациях семьи коммунистического проекта, что не удивительно: дискурс Модерности не только превращал различия мужчин и женщин в *противоположности* маскулинности и феминности, но и трактовал их как «вечные», «натуральные», «естественные». Принципиально, что деформация мужественности, женственности, семьи объявлялась следствием пороков социального порядка СССР — тоталитаризма, ликвидации демократических свобод, отмены частной собственности, абсолютной власти государства над индивидом, подавления индивидуализма, борьбы с религией как основой морали. Анализируя дефеминизацию женщин и демаскулинизацию мужчин Советско-

го Союза в антикоммунистическом дискурсе, нельзя не обратить внимание на те практики подобной инаковизации, которые берут начало задолго до исследуемого периода. Так, феминизация России, свойственная западному дискурсу, предполагала особую картину гендерных отношений в России, включающую образы сильной женщины и слабого мужчины [Рябов 2001: 120–130]. Подобные настроения тиражируются в антироссийской пропаганде периода Первой и Второй мировых войн; они получили распространение и в годы «холодной войны»⁵.

Примером дефеминизации женщин служит статья из журнала «Look» под названием «Женщины — граждане России второго сорта». Автор, журналистка Дж. Уитни, соглашается с тем, что многие русские женщины получают хорошее образование и становятся докторами, учителями, инженерами, учеными, партийными работниками [Whitney 1954: 25]. Иными словами, женщина в России может быть кем угодно — вот только женщиной она быть не может [Ibid: 47]. Нигде в мире женская красота не ценится так низко — излишне и говорить, что не существует конкурса «Мисс СССР» [Ibid: 47], сокрушается автор и продолжает: «Даже сегодня в относительно космополитичной Москве девушка, которая хорошо выглядит, прилично одевается и пользуется косметикой, для обычного русского означает одно из трех: либо иностранка, либо балерина, либо проститутка» [Ibid: 47]. Как же выглядит обычная русская женщина? Она среднего телосложения, темно-волосая, круглолицая, коренастая. Автор уверяет читателей, что для большинства русских размеры тела женщины — индикатор социального положения ее мужа: чем его работа лучше, тем его жена упитаннее и дороднее (fatter). Поэтому мишенью многих советских шуток становятся генеральши — их талии должны быть пропорциональны размерам зарплаты их супругов [Whitney 1954: 47]. Такая апелляция к телесности становится одной из составляющих внешнеполитического дискурса «холодной войны». В журнале «Ридерс Дайджест» повествуется о визите в Айову советских крестьян, которые, по заверениям автора рассказа, были поражены изобилием товаров в магазинах и красивыми грудями американок (см.: [Sharp 2000: 101]) — пресуппозиции такого рода суждений очевидны. Неотразимость женщин «свободного мира» потрясает воображение и других советских мужчин. Герой фильма «Раз, два, три» (*One, Two, Three*, 1961), партийный функционер, говорит: «Одно нужно признать за этими капиталистами — они

умеют сделать женщину привлекательной». В данном контексте весьма сомнительным комплиментом выглядит и следующая оценка роли женщин коммунистической России — «они несут Советский Союз на своих здоровых (robust) плечах» [Whitney 1954: 119].

Предметом насмешек становятся мода, косметика и особенно белье. «Ридерс Дайджест» оценивает женское белье в СССР как «грубое и скучное» [Sharp 2000: 119]. Притягательность же американского белья настолько велика, что, например, героини фильмов «Шелковые чулки» (*Silk Stockings*, 1957) и «Реактивный пилот» (*Jet Pilot*, 1957), Нина и Ольга, не могут устоять перед соблазном и быстренько забывают о своих коммунистических иллюзиях. Белье становится символом капиталистического изобилия (и, разумеется, свободы).

Женственность деформирована и в результате тяжелого физического труда. Грязная работа предназначена при коммунизме именно женщинам, между тем как мужчины являются в основном начальниками (bosses) [Whitney 1954: 119]. Этот тезис используется для критики советской модели женской эмансипации⁶. В книге «Что такое коммунизм?» читаем: «Согласно советскому пониманию “равенства”, женщины обязаны выполнять тяжелую работу, которую в других странах обычно делают мужчины. Они работают на железных дорогах, в шахтах, на лесозаготовках, на строительстве дорог» [What is Communism? 1955: 171; см. также: Whitney 1954: 119]⁷.

Не удивительно, что женщины России завидуют женщинам Америки. Карикатура 1954 года из журнала «Независимая женщина» изображает двух коммунистических женщин, одна из которых жалуется другой: «И даже если мы — суперженщины, все равно хочется, чтобы мы веселились, как американки» (рис. 1).

Женщина, таким образом, всегда остается женщиной, которая хочет быть сексуально привлекательной и ценит личное счастье выше идеологических принципов. И не вина, а беда русских женщин, что они не имеют возможности быть женственными; причина этого заключается в невысоком качестве не только товаров и услуг, но и советской маскулинности. Эталон маскулинности — это воин «холодной войны», Cold warrior; коммунизм же ассоциируется с феминизацией [Clark 2000: 1–21; Filene 2001: 160; Tickner 2001: 55]. Поскольку, как было отмечено, гендер используется для обозначения доминирования, постольку феминизация Врага и маскулинизация Своих — обычный прием военной пропаганды.

Поэтому соперничество в силе в международных отношениях превращается в соперничество в маскулинности. Это получает отражение, в частности, в широком использовании сексуальных образов и метафор в дискурсе «холодной войны»⁸.

Одним из весьма распространенных способов символической феминизации Другого в дискурсивных практиках «холодной войны» стали «лав сториз», в которых Он — достойный представитель «свободного мира», Она принадлежит к миру «красной опасности». Еще созданный в конце 30-х фильм «Ниночка» с Гретой Гарбо в главной роли строился вокруг шаржированного изображения советской маскулинности, противопоставленной маскулинности западной, благодаря которой партийный функционер Нина Якушева и смогла снова стать «нормальной женщиной»⁹. Успех «Ниночки» обеспечил дальнейший интерес Голливуда к подобным сюжетам. В 1940 году появляется «Товарищ Икс» («Comrade X») — как и в «Ниночке», героиня фильма покидает Советский Союз во имя любви к американцу, герою Кларка Гэйбла. Майкл Рогин, анализируя сюжеты голливудских картин, отметил, что в лентах периода Второй мировой войны (например, «Песня России» («Song of Russia», 1943) сюжет претерпевает изменения [Rogin 1987: 246–248]. Русские женщины по-прежнему влюбляются в американцев, однако выбирают свою страну, что, очевидно, призвано проиллюстрировать патриотические чувства союзника Соединенных Штатов. С началом «холодной войны» Голливуд вернулся к прежнему сюжету в таких картинах, как «Никогда не позволяй мне уйти» (*Never Let Me Go*, 1953), «Шелковые чулки», «Железная юбочка» (*Iron Petticoat*, 1956) и «Реактивный пилот»¹⁰.



Рис. 1. «Even if we are superwoman, I still wish we had fun like Americans» [Independent woman 1954: 40]

Здесь необходимо сделать оговорку. Феминизация Другого была заметной, но не единственной тенденцией антикоммунистического дискурса. Многогранность образа Врага, разнообразие выполняемых им функций обусловили вариативность приемов, избираемых для его репрезентаций. Враг должен внушать страх — поэтому коммунизм изображался как смертельная угроза, в том числе при помощи гендерного дискурса. Коммунизм как искушение, как соблазн — весьма популярный мотив «холодной войны» [Hendershot 2003: 9] — получает выражение в соответствующих образах женщин. «Реактивный пилот» изображает советскую разведчицу Ольгу настолько красивой и непреодолимо привлекательной женщиной, да к тому же и великолепным летчиком, что ей без труда удастся очаровать полковника Шеннона. И хотя, согласно канонам Голливуда, хэппи-энд неизбежен и главная героиня выбирает свободу и американца, следует, очевидно, согласиться с мнением С. Хэндершот: Ольга соблазняется не столько американской маскулинностью, сколько материальным изобилием общества потребления [Ibid: 16–17]. Тот же факт, что роль полковника Шеннона исполняет Джон Вэйн — кинематографическое воплощение стопроцентной американской мужественности и икона антикоммунистического дискурса, очевидно, был призван еще более усилить мифологизацию «красной опасности».

Противоречивы и тенденции изображения маскулинности. Демаскулинизируя Врага, с одной стороны, пропаганда использовала и другой прием гендерного дискурса, наделяя коммунистического Другого гипермаскулинными чертами, представляя его, в частности, в качестве «сексуального агрессора» [Costigliola 1997: 1310]¹¹. Как известно, мобилизация нации, в первую очередь мужчин, при помощи создания картин страданий женщин, их унижения, бесчестия или сексуального насилия над ними представляет собой один из распространенных приемов военной пропаганды и дискурсивных стратегий конструирования Врага (см.: [Рябов 2003]). Фигура мужчины-наильника использовалась, например, в комиксах, беллетристике [Barson, Heller 2001: 153, 159]. «Изнасилование» — популярная метафора для репрезентаций внешней политики коммунистического Другого в отношении, например, Австрии, Тибета, Чехословакии [Sharp 2000: 193; Swerling 1968; Chapman, Sayle 1968].

Репрезентации американской маскулинности столь же неоднозначны. С одной стороны, американцы — это настоящие мужчи-

ны, призванные защитить «естественный» порядок вещей. Однако, как отмечает Андреа Фридман, гипермаскулинизация, неотделимая от империалистического дискурса, вступала в противоречие с другим императивом «первой холодной войны» — убедить аудиторию в прогрессивности гендерного порядка и семейных отношений США. Тезису советской идеологии о коммунизме как воплощении идеала равенства полов были противопоставлены картины американского общества, в котором женщина получает одновременно и покровительство мужчины, и равенство с ним; в идеологии партнерского (companionate) брака муж репрезентировался и как патриарх, и как партнер [Friedman 2003: 219].

Как же представлена советская семья? Тема «Коммунизм и семья» имеет долгую историю. Как известно, еще в «Манифесте Коммунистической партии» классики были вынуждены парировать обвинения в том, что коммунисты якобы выступают за отмену моногамной семьи и обобществление женщин (см.: [Ющенко 1980: 121, 122]). В межвоенный период в пропаганде ультраправых широко использовались обвинения коммунизма в разрушении семьи (например, [Quisling 1931: 114]), в том числе и визуальные (плакаты «Коммунизм разрушает семью» в Испании и Италии, см.: [Keen 1986; Paret, Lewis, Paret 1992: 138], рис. 2). Слухи об обобществлении женщин в России будоражат американский антикоммунизм начиная с Октябрьской революции. Так, в 1918 году «Нью-Йорк Таймс» и другие периодические издания, проклиная «чудовищ, национализирующих женщин», сообщали, что «ежемесячная женитьба» и «передача детей в соб-



Рис. 2. «El Comunismo destruye la familia» [Paret, Lewis, Paret 1992: 138].

ственность государства» стали обычными явлениями в жизни советского общества (см.: [Иванян 1991: 93]. В качестве типичного примера коммунистической семейной политики в одном из памфлетов 30-х приводится текст Декрета о национализации женщин Свободной ассоциации анархистов Саратова, отменяющего частное владение женщинами в возрасте от 17 до 32 лет [Burton 1930: 18, 19]. В этом же издании сообщается, что мальчики и девочки, обучающиеся в государственных школах, живут в одних и тех же общежитиях, поэтому атмосфера в большевистских школах наполнена преступными инстинктами и животной ревностью. «Очевидно, это будет поколение мужчин и женщин, морально и физически испорченных; в будущем эти жертвы большевистских школ превратятся в опасность не только для России, но и для всего цивилизованного мира» [Ibid: 25].

В исследуемый период пропаганда продолжает рисовать ужасные картины разрушения семейной жизни. В одном издании стремление уничтожить семью объясняется тем, что партия рассматривает ее как соперника, который защищает индивида от тотального контроля, укрывает его от всевидящего ока государства. Причина массового привлечения в производство женщин заключается не только и не столько в неэффективной экономике. Государство преднамеренно удерживает заработную плату мужчин на очень низком уровне, чтобы заставить женщину покинуть семью и работать на производстве в течение всего дня. «Коммунисты, хорошо понимая, что их успех в значительной степени зависит от того, насколько им удастся завоевать преданность молодежи, прилагают гигантские усилия, чтобы отделить детей от родителей и дома. Государство вынуждает матерей работать весь день, чтобы занять их место. Уже в трехлетнем возрасте детей отдают в ясли, где их окружают картинками и рассказами о коммунистических вождах и их достижениях. Дети должны быть преданы коммунизму с самого первого дня. Никакой конкуренции со стороны семьи или дома не терпят; ребенок должен быть воспитан таким образом, чтобы без колебаний отречься от своей семьи» [What is Communism? 1955: 105].

Вместе с тем следует упомянуть и другую тенденцию. В одной из публикаций журнала «Look» утверждается, что семья в России крепкая: брак уважаем, аборт жестоко преследуется, а времена, когда развод был несложной процедурой, прошли. Цель статьи, как сообщает автор, — показать, что Россия молода, сильна, жиз-

неспособна и амбициозна [Kirk 1952: 37]. Нет ничего более опасного, чем недооценка врага, объясняет свою позицию другой автор, отмечая положительные изменения в политике коммунистов в рассматриваемых вопросах [Ray 1952: 103].

Отношения детей и родителей — еще один пример противоестественности коммунистической морали. Коммунисты учат детей предавать своих родителей (см.: [May 1988: 95]. В качестве иллюстрации приводится рассказ о Павлике Морозове.

«Двенадцатилетний пионер узнал, что его отец, будучи не в состоянии выполнить нереальные требования государственных сборщиков продовольствия, спрятал совсем немного зерна для своей семьи. Павлик немедленно донес на отца властям. Вследствие предательства своего сына старший Морозов был послан на 10 лет в трудовые лагеря. За этот поступок Павлик был объявлен властями образцовым примером юного пионера. 19 декабря 1948 года была открыта статуя Павлика, прославляющая предательство им отца» [What is Communism? 1955: 105].

Советского ребенка учат ненависти с самого раннего возраста. Ленин, уверяет автор одной из статей, говорил: «Ненависть есть основа коммунизма. Дети должны быть воспитаны в ненависти к родителям-некоммунистам; но и даже если те — коммунисты, ребенку нет необходимости заботиться о них, уважать их». Большевизм — это не пансион для благородных девиц; необходимо, чтобы дети присутствовали при казнях и радовались смерти врагов пролетариата [Ibid: 178]. Очевидно, задача создания картины тотальной, неустранимой инаковости коммунизма требовала включения в образ врага не только мужчин и женщин, но и детей. Вместе с тем дети нередко представлены как жертвы коммунистического режима. Коммунизм эксплуатирует труд детей, и чтобы убедить в этом читателей, один из авторов помещает фото, подписанное следующим образом: «Этот мальчик на картинке настолько мал, что ему приходится подставлять под ноги ящик, чтобы работать на станке» (рис. 3).

Факт государственной помощи женщинам в заботе о детях (бесплатные роддомы, ясли, медицинское обслуживание) иногда упоминается (например, [Whitney 1954: 47]); однако акцент в репрезентациях жизни семьи смещается на жилищные и бытовые условия. Отсутствие бытовой техники в доме, огромные очереди, слабое развитие сферы бытового обслуживания — все это делает жизнь женщины очень тяжелой [Ibid: 47]. В этом плане показательны зна-

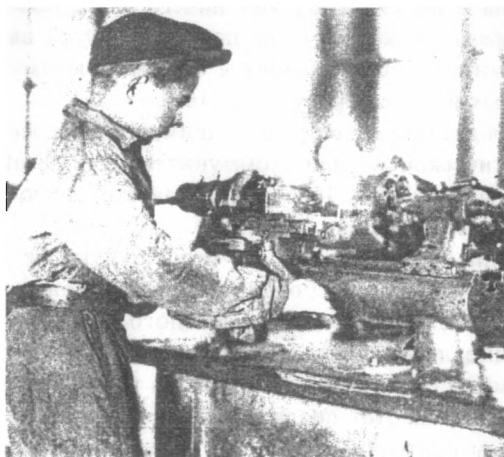


Рис. 3. «The boy in the picture below is so young he has to stand on a box to reach the machine» [What is Communism? 1955: 170]

менитые «кухонные дебаты», состоявшиеся в июне 1959 года между Р. Никсоном и Н. С. Хрущевым в Москве на открытии Американской национальной выставки. Вице-президент США настаивает, что преимущество Америки в «холодной войне» заключается не в оружии, но в безопасной, изобильной семейной жизни современного пригородного дома. По сути, как отмечает Э. Мэй, он артикулирует послевоенный идеал домашности: успешный кормилец, которого поддерживает привлекательная хозяйка дома в изобильном пригородном доме [May 1988: 18]. Объясняя возле посудомоечной машины, что в Америке производят вещи, которые призваны облегчить труд домохозяек, Никсон говорит о том, что это символизирует сущность американской свободы: «Для нас различие, право выбора... есть наиболее важная вещь. Мы не имеем одного решения, принятого руководством правительства... Мы имеем также разнообразие продукции и моющих машин, чтобы домохозяйка могла сделать свой выбор...» [Ibid: 17]).

Не иначе как «красным кошмаром» должны казаться обладателям двухэтажных домиков в пригородах рассказы о коммунальных квартирах: женщины там занимаются домашним хозяйством в переполненных комнатах, где несколько семей едят и спят по очереди [The Face of Moscow 1953: 35]. В одном из материалов

журнала «Лук» сообщается, что женщины «должны стирать свое белье на кухне, и в дождливую или снежную погоду им приходится вешать белье для просушки на кухне. Готовят все на той же кухне. Вообразите четыре или шесть женщин, которые готовят каждая свой ужин на одной газовой плите в одно и то же время, а над плитой в это время сохнет белье». Сражения на кухне неизбежны, хотя автор признает, что об убийствах на коммунальных кухнях ей ничего не известно [Gilmore, Gilmore 1953: 28]. В упоминавшихся фильмах жилищные условия показаны таким образом, что вопрос «Которая часть комнаты моя?», который задают «ниночки» из упоминавшихся комедий 1939 и 1957 годов, попадая в номер западного отеля, удивления не вызывает.

В репрезентациях отношений между супругами антикоммунистический дискурс эксплуатирует представления о России как варварской стране, отсталость и дикость которой очевидны и в семейных отношениях. Россия — это в основном патриархатная страна [Whitney 1954: 25]. «Волос долог — ум короток» — этой пословицей автор статьи начинает свой рассказ о женщинах в СССР как гражданах второго сорта, продолжая далее: «Русские мужчины низших классов все еще продолжают “учить” своих жен — иными словами, бьют их. Те же, в свою очередь, утешаются другой пословицей — “Если не бьет — значит не любит”» [Ibid: 25]¹². Идея «двойного бремени» женщин СССР, вынужденных трудиться и на работе, и дома — еще один прием из арсенала пропаганды «холодной войны». Описывая разделение труда в семье, американский автор отмечает: «Мужчина, который нянчится с детьми, в России редкость» [Ibid: 119]. Иногда мужья помогают делать покупки, но ни один уважающий себя мужчина не будет готовить или мыть посуду [Ibid: 47].

Свободы выбора, которой тоталитаризм лишает человека в политике или потреблении товаров, нет и при заключении брака. Коммунисты с подозрением относятся к любви [Is This Madame Malenkov? 1953: 73], и странности любви за «железным занавесом» изображаются при помощи различных приемов. Разумеется, широко используются антиутопии¹³, в которых показано, как тоталитарное государство контролирует процесс выбора полового партнера. Партийные же документы предписывают следующее: «При выборе спутника жизни коммунистическая молодежь должна смотреть, прежде всего, на правильность его политических взглядов, и только потом на образование, темперамент, здоровье и внешность»

[What is Communism? 1955: 179]. Ухаживание не может не выглядеть нелепостью и буржуазным предрассудком¹⁴; эксплуатируются старые представления в духе теории «стакана воды». Как сообщается в фильме «Шелковые чулки», «если в России кто-то кого-то хочет, он просто говорит: “Ты! Иди сюда!”». Главная героиня фильма информирует ироничного американца: советская наука установила, что любовь — это романтические иллюзии; в основе любви лежат простейшие химические или электромагнитные процессы.

Тема ненормальности сексуальных отношений в СССР являлась важным элементом антикоммунистического дискурса. Пресловутое «У нас секса нет», ставшее в годы перестройки одним из эффективных приемов борьбы с существовавшим режимом [Riabova, Riabov 2002], обыгрывается и в американском антикоммунизме; так, одна из статей в «Ридерс дайджест» была озаглавлена «Top Secret: Is There Sex in Russia?» [Sharp 2000: 133]. Коммунистическая Россия в эпоху «холодной войны» показана как страна абсолютного пуританизма (см., например, [Stafford 1967]). Собственно говоря, репрезентации всех сторон отношений мужчины и женщины, от моды до жилищных условий, должны были привести аудиторию к этой мысли. Визуализация различий Своих и Чужих также свидетельствовала о превосходстве американизма над «скучными коммиз». Достаточно взглянуть на тот же журнал «Look». Так, на обложке одного из номеров этого издания помещена фотография восходящей кинозвезды Джини Лоллобриджиды, а репортаж о тяжелом положении женщин в СССР предваряет фото (рис. 4) с подписью: «Женственности отпущен короткий срок в России, где у женщин в руках отбойные молотки, а не губная помада» [Whitney 1954: 117]. Какой уж тут секс...

Дискурсивные практики «нормализации» сексуальных отношений интересны и тем, что позволяют проследить взаимосвязь и взаимообусловленность репрезентаций, во-первых, Своих и Чужих, во-вторых, Внешних и Внутренних Врагов. Семья «долгих пятидесятих» объявлялась хранительницей «естественных» ролей, но вместе с тем противопоставлялась «традиционной» викторианской семье с ее пуританизмом. Американцы должны сдерживать свою сексуальность в браке, где мужественные мужчины были бы под контролем сексуальных, покорных и умелых домохозяек [May 1988: 99]. Сексуальное сдерживание не означало сексуального подавления: жены в послевоенной Америке были сексуальными энтузиастками [Ibid: 102].



Рис. 4. «Femininity gets short shrift in Russia, where women wield drills, not lipsticks» [Whitney 1954: 25]

Напомним, что в более пуританские времена СССР обвиняется именно в падении нравов. В мифологии «коммунистического заговора» важное место занимала идея, согласно которой одним из приемов, позволяющих Москве вербовать сторонников среди молодых людей, являлась пропаганда сексуальной вседозволенности (см.: [Sharp 2000: 102–103]). Более того, фундаменталистские течения американского антикоммунизма и позднее, в 60-е годы усматривали в начале сексуальной революции свидетельство коммунистического проникновения; например, А. Кинси обвиняли в том, что его известный доклад помогает коммунистам (см.: [May 1988: 101]). Чего стоит хотя бы пассаж из журнала «Христианский антикоммунистический крестовый поход»: «Коммунисты не брезгают никакими методами для достижения своих целей, сколь бы низкими они не были... Сталин приказал разрушать мораль пропагандой разврата (promiscuity) и внедрением ее в сознание школьников и студентов, так же как и идеей партнерского брака... Для того чтобы помочь воплотить эти идеи в жизнь, несколько лет назад сотни сексуальных преступников, извращенцев и проституток были помещены в один уединенный городок в Польше для того, чтобы фотографи-

ровать их оргии. Были сделаны тысячи снимков. Миллионы отпечатанных фотографий затем были отправлены по морю на корабле из Турции в Мобил, штат Алабама. Эти фотографии, или им подобные, сегодня отравляют умы несчетного количества юных американцев» [Christian Anti-communism Crusade 1965: 2].

Этот текст любопытен, помимо всего прочего, тем, что позволяет проиллюстрировать, как внешнеполитическая риторика служит орудием выстраивания символических границ и иерархий в собственном социуме. Партнерский брак, который в одних направлениях антикоммунизма использовался для демонстрации преимущества над советским семейным порядком, в других рассматривался в качестве свидетельства коммунистического проникновения. Репрезентации «красного кошмара» гендерных отношений в СССР становятся фактором конструирования гендерного порядка США в «долгие пятидесятые» (того самого, кстати, который подвиг Бетти Фридан на написание эпохальной «Мистики женственности»). Крестовый поход против коммунизма представлял собой часть дискурса «мистики женственности». «Ридерс Дайджест» указывал на противоестественность профессиональных достижений женщин в СССР — ведь это неизбежно ведет к утрате материнских качеств [Sharp 2000: 101]. Очевидно, что упоминавшиеся выше сюжеты фильмов, в которых «красная» героиня всегда предпочитает любовь (т. е. приватное) верности стране, идеям (т. е. публичному), был вместе с тем посланием Своим. Он весьма жестко указывал, чем должны заниматься «нормальные женщины»: женщина является в первую очередь женщиной, и лишь во вторую — гражданином своей страны.

Наконец — и это нам представляется принципиальным, — обратим внимание на то, как политический и гендерный дискурсы переплетаются, поддерживая и корректируя друг друга. С одной стороны, гегемонная американская маскулинность в качестве необходимого элемента включала в себя антикоммунизм. С другой стороны, гомофобия являлась частью идентификационных стратегий американизма этого периода. Достаточно подробно исследован вопрос о том, что пресловутая «охота за ведьмами» сенатора Дж. Маккарти ассоциировалась с борьбой не только против коммунизма, внешнего и внутреннего, но и против зачастую связываемого с ним гомосексуализма [May 1988: 94, 95; De Hart 2001: 128; Tickner 2001: 55]. Гетеросексуальное же поведение, согласно общепринятым взглядам того времени, должно было иметь куль-

минацией брак, который рассматривался как доказательство «зрелости» и «ответственности». Э. Мэй отмечает, что мужа, особенно отцы, носили знак «семейного мужчины» как свидетельство и мужества, и патриотизма [May 1988: 98]. Соответственно, к тем женщинам, которые не подчинялись идеалу семейной жизни, крестonosцы антикоммунизма относились с подозрением: самостоятельные американки в каком-то смысле не американки (UnAmerican) [Ibid: 19]. Быть домашними означало для женщин выполнять национальный долг [Ibid: 102].

Подведем итоги. Гендерный дискурс явился одним из орудий «холодной войны», выполняя важную функцию в процессе инаковизации СССР: девиация социальная была представлена и как девиация гендерная. Репрезентации советской семьи стали одной из важных составляющих конструирования «красной опасности». Вместе с тем они служили способом поддержания и корректировки гендерных отношений в самом американском обществе; среди ресурсов создания толерантных моделей семейного поведения — дискурс международных отношений, что следует принимать во внимание при анализе, например, отношений в современной семье.

Данная статья является продолжением нашего исследования о репрезентациях американской семьи в советской пропаганде «холодной войны» [Рябов 2004a]. Компаративный анализ — это задача отдельной работы; пока же хотелось лишь отметить ряд общих и специфических черт пропагандистского дискурса двух супердержав. Тезис о «зеркальности» образов врага в пропаганде СССР и США появился еще в 60-х годах (см.: [Frank 1967: 26]). Нам представляется, что корректнее было бы говорить об их изоморфности, или, скажем, структурно-функциональном сходстве. Пропаганда с обеих сторон стремилась представить гендерный порядок Врага № 1, во-первых, как диаметрально противоположный собственному, во-вторых, как противоестественный, противный человеческой природе, в-третьих, как закономерное и неизбежное порождение противоестественного социально-политического порядка.

«Холодная война» представляла собой, помимо соперничества сверхдержав, множество поединков за определение маскулинности и феминности [Enloe 1993: 18, 19] — этот тезис Синтии Энлоэ, автора одной из первых работ, посвященных проблеме гендерных аспектов послевоенной конфронтации, представляется очень точным¹⁵. Действительно, гендерный дискурс был полем жесткой борьбы, когда аудитории навязывались представления о том, ка-

кие модели мужского и женского поведения являются эталонными. Сражения велись за сами критерии оценок; обе стороны стремились поместить образ Врага в знакомую и привычную для аудитории систему нравственно-политических координат, придавая одним аспектам семейной жизни чрезмерное значение, в то время как другие замалчивались или искажались.

Разумеется, необходимо принимать во внимание гетерогенность дискурса «холодной войны». Антикоммунизм — основа консенсуса политического истеблишмента в США, внутри которого, однако, велась упорная борьба, и «красная угроза» была в ней серьезным фактором. Скажем, сторонники политики «нового курса» Ф. Рузвельта или Демократическая партия в целом обвинялись в социалистических или коллективистских тенденциях, что позиционировалось как угроза национальной безопасности, родственная коммунизму. Говоря о гетерогенности дискурса «холодной войны», было бы нелепо отрицать, что в США была большая, чем в СССР, возможность выражения альтернативных точек зрения на Врага № 1. Нам встретилось немало работ американских или иностранных авторов, изданных в эти годы в США, которые предлагали значительно более доброжелательную картину семейных отношений в СССР.

Наконец, несколько слов об актуальности исследований «холодной войны», которая гораздо ближе к нам, чем это иногда представляется. Дело не только в том, что современные события, будь то 11 сентября или «оранжевые революции», без учета наследия «холодной войны» не могут быть поняты адекватно. Продолжают быть удивительно востребованными многие составляющие пропаганды того периода, в том числе ее гендерного дискурса. С одной стороны, та критика создаваемой новым мировым порядком системы гендерных отношений, которая является частью современного антиамериканизма / антиглобализма, обнаруживает значительное сходство с пропагандой «холодной войны». С другой — восприятие России на Западе во многом определяется теми дискурсивными практиками, которые формировали образ «красного кошмара»¹⁶.

¹ Исследование, результаты которого изложены в настоящей статье, осуществлялось при поддержке Программы исследовательских стипендий Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, администрируемой Национальным советом евразийских и восточноевропейских исследований (NCEEER) (Вашингтон, США). Точка зре-

ния, отраженная в данной публикации, принадлежит ее автору и может не совпадать с точкой зрения Корпорации Карнеги и Национального совета евразийских и восточноевропейских исследований.

² Заслуживает упоминания еще одно объяснение ценности семьи в американской пропаганде этого периода. Одним из факторов успеха в Третей мировой войне считалась возможность выживания после ядерного удара, которая, в свою очередь, во многом зависела от организации гражданской обороны в рамках одной отдельно взятой семьи, одного дома; семья, таким образом, становилась тактической единицей боевых действий новой эпохи. Ведение домашнего хозяйства, которое раньше было сугубо семейной обязанностью, объявляется гражданским долгом; патриотизм, который теперь оказывается связанным с поддержанием дома в готовности к ядерному удару, превращается в семейную ценность [Oakes 1999: 72].

³ Long Fifties — данный термин используется для обозначения периода 1946–1963 годов.

⁴ О различных способах «символического насилия» над Врагом в гендерном дискурсе см.: [Cohn 1993: 238; Hooper 2001; Goldstein 2001: 356–362].

⁵ Так, по одной версии, советская женщина совместила в себе сильные стороны обеих эпох (и до-, и послереволюционной) — в то время как советский мужчина унаследовал только их слабые стороны (см.: [Mehner 1961: 57]).

⁶ Обратим внимание на ориенталистский подтекст репрезентаций разделения труда в СССР: Э. Джонсон, президент Торговой палаты США, полагает, что русские женщины, как женщины во всех *недоразвитых* странах, всегда выполняли самую тяжелую работу; это никак не связано с коммунизмом (курсив наш. — О. Р.) [Johnson 1948: 60, 61; см. также: May 1988: 19].

⁷ При этом сообщается, что «за небольшим исключением, женщины устранены от управленческих или административных должностей, от работы в важных партийных и государственных органах; карьера в медицине, юриспруденции и иностранной службе ограничена» [What is Communism? 1955: 179].

⁸ См. об этом: [May 1988: 98]. Выразительнейший пример визуализации подобных тенденций — карикатура «Зависть к ракете» («Missile Envy») [Keen 1986: 161].

⁹ И в исследуемый нами период фильм оставался эффективным оружием в идеологической борьбе; так, ЦРУ широко распространяло его перед всеобщими выборами в Италии в 1948 году [Рихтер 1997: 39]. Заметим, что за несколько лет до «Ниночки» вышел фильм Г. Александрова «Цирк» (1936), в котором также отдавалась дань желанию представить Врага в женском облике.

¹⁰ Вершиной этой тенденции, пожалуй, стал материал журнала «Плэйбой» под названием «Девушки России и других стран Железного занавеса», представлявший «иллюстрированные свидетельства того, что женская красота не знает политических границ» [Girls of Russia 1964: 104]. Из этого номера американские мужчины должны узнать, как их ждут за «железным занавесом» [Ibid: 136].

¹¹ Отметим еще один прием гипермаскулинизации коммунистического Врага — сравнение его с машиной. Этот прием используется для дегуманизации противника достаточно широко [Keen 1982: 24–26], но в антикоммунистическом дискурсе приобрел особый смысл. Тотальный контроль над сознанием приводит к тому, что у людей коммунистического строя отсутствует все человеческое, включая эмоции (см., например: [Rosten 1951: 33]). Заметим, что вера в способность «красных» контролировать сознание людей, превращать их в зомби — важная составляющая демонологии «холодной войны», получившая отражение, например, в фильмах «Кандидат от Маньчжурии» («The Manchurian Candidate», 1962) и «Реактивный пилот».

¹² Заметим, что этот анекдот, впервые появившийся в XVI веке в сочинениях С. Герберштейна, с тех пор охотно приводят многие западные авторы для объяснения гендерного порядка в России; западные СМИ продолжают привлекать его и по сей день.

¹³ В частности, в 50-е годы были экранизированы «1984» и «Ферма животных» Дж. Оруэлла.

¹⁴ Один из официальных документов требует: «Членам партии, которые собираются в ближайшее время выходить замуж, настоятельно рекомендуется сопровождать ухаживания пропагандой идеалов партии среди своих избранных» [What is Communism? 1955: 179].

¹⁵ Заметим, что такое соперничество велось в самых разнообразных формах и на самых различных уровнях. Например, в этой перспективе кукла Барби, символизирующая американскую женственность, олицетворяющая ценности американской семьи, может рассматриваться как оружие «холодной войны» [De Hart 2001: 127].

¹⁶ Например, почти все фильмы, упоминавшиеся в этой статье (и многие другие, составляющие золотой фонд голливудской кинематографии эпохи «холодной войны»), не сходят с экранов телевизоров США и по сей день (см., например: www.turnerclassicmovies.com).

Литература

Иванян Э. А. Белый дом и пресса: от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. М., 1991.

Рихтер Д. Идеологии о роли женщины в обществе в США и России в период «холодной войны» // Женщина в российском обществе. 1997. № 3.

Рябов О. В. «Матушка-Русь»: Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М., 2001.

Рябов О. В. Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной пропаганды [Электрон. ресурс]. Режим доступа: [//www.ivanovo.ac.ru/alumni/olegria/nation2](http://www.ivanovo.ac.ru/alumni/olegria/nation2)

Рябов О. В. «Их нравы»: Американская семья в зеркале советской пропаганды «холодной войны» // Семейные узы: Модели для сборки / Сост. и ред. С. Ушакин. М., 2004а. Кн. 2. С. 173–187.

Рябов О. В. Межкультурная интолерантность: гендерный аспект // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации Екатеринбург, 2004б. С. 165–179.

Ющенко М. Д. Критика буржуазно-реформистских измышлений по вопросам семьи и брака в социалистическом обществе // Вопр. общественных наук. Вып. 44: Критика буржуазных и ревизионистских концепций в курсе научного коммунизма. Киев, 1980. С. 121–122.

Aho J. A. This thing of darkness: A sociology of the enemy. Seattle, 1994.

Bourdieu P. Practical reason: On the theory of action. Stanford, 1998.

Barson M., Heller S. Red Scared!: The Commie Menace in Propaganda and Popular Culture. San Francisco, 2001.

Burton H. R. Communism: An instrumentality of red menace directed

against God and civilization with the ultimate object of world revolution. Washington, 1930.

Chapman C., Sayle M. August 21st; the rape of Czechoslovakia. Philadelphia, 1968.

Christian Anti-communism Crusade (Long Beach, Calif.). 1965. Vol. 5, № 9.

Clark S. Cold warriors: Manliness on trial in the rhetoric of the West. Carbondale, 2000.

Cohn C. Wars, Wimps, and Women: Talking Gender and Thinking War // Gendering War Talk. Princeton, 1993.

Costigliola F. «Unceasing Pressure for Penetration»: Gender, Pathology, and Emotion in George Kennan's Formation of the Cold War // Journal of American History. 1997. Vol. 83. March. P. 1309–1339.

Dalby S. Geopolitical Discourse: The Soviet Union as Other // Alternatives: Social Transformation and Humane Governance. 1988. № 13 (4). C. 415–442.

Dalby S. Creating the Second Cold War: The Discourse of Politics. L.; N. Y., 1990.

De Hart J. S. Containment at home: Gender, sexuality, and national identity in Cold War America // Rethinking Cold War Culture. Washington, 2001.

Dean R. D. Imperial brotherhood: Gender and the making of Cold War foreign policy. Amherst, 2001.

Enloe C. H. The morning after: Sexual politics at the end of the Cold War. Berkeley, 1993.

Filene P. 'Cold War Culture' Doesn't Say It All // Rethinking Cold War Culture. Washington: Smithsonian Institution Press, 2001.

Frank J. D. The image of enemy // Sanity and survival: Psychological aspects of war and peace. N. Y., 1967.

Friedman A. Sadists and Sissies: Anti-pornography Campaigns in Cold War America // Gender and History. 2003. Vol. 15, № 2. P. 201–227.

Gilmore E., Gilmore T. It's Great To Be Home // Look. 1953. October 6.

Goldstein J. S. War and gender: How gender shapes the war system and vice versa. Cambridge, 2001.

Harle V. The enemy with a thousand faces: The tradition of the Other in Western political thought and history. Westport, 2000.

Hendershot C. I was a Cold War monster: Horror films, eroticism, and the Cold War imagination. Bowling Green, 2001.

Hendershot C. Anti-communism and popular culture in mid-century America. Jefferson, 2003.

Hooper Ch. Manly states: Masculinities, international relations, and gender politics. N. Y., 2001.

Independent Woman: The Magazine of National Federation of Business. 1954, Jan.

Is This Madame Malenkov? // Look. 1953. Nov. 17.

Jeffords S. Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era. New Brunswick, 1994.

- Jenkins R.* Social Identity. L.; N. Y., 1996.
- Johnson E.* We're All In It. N. Y., 1948.
- Keen S.* Faces of the enemy: Reflections of the hostile imagination. San Francisco, 1986.
- Kennedy D.M.* Culture Wars: The Sources and Uses of Enmity in American History // Enemy images in American history / Eds. Hase R. Fiebig-von, U. Lehmkuhl. Providence, RI: Berghahn Books, 1997.
- Kirk A.* The People in Russia // Look. 1952. April 22.
- Malia M.* Russia Under Western Eyes: From The Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambr.; L., 1999.
- May E. T.* Homeward bound: American families in the Cold War era. N. Y., 1988.
- Mehner K.* The anatomy of Soviet man. L., 1961.
- Oakes G.* The Family under Nuclear Attack: American Civil Defence Propaganda in the 1950s // Cold-War propaganda in the 1950s. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, 1999.
- Paret P., Lewis B. I., Paret P.* Persuasive Images: Posters of War and Revolution from the Hoover Institution Archives. Princeton (N. J.), 1992.
- Quisling V.* Russia and Ourselves. L., 1931.
- Ray C.* Inside Russia: They Never Had It So Good // Look. 1952. Dec. 2.
- Riabova T., Riabov O.* «U nas seksa net»: Gender, Identity, and Anticommunist Discourse in Russia // State, Politics, and Society: Issues and Problems within Post-Soviet Development. Iowa City, 2002.
- Rieber R. W., Kelly R. J.* Substance and Shadow: Images of the Enemy // Psychology of war and peace: The image of the enemy. N. Y., 1991.
- Rogin M. P.* «Ronald Reagan», the Movie: and Other Episodes in Political Demonology. Berkeley, 1987.
- Rosten L.* How the Politburo Thinks // Look. 1951. March 13.
- Said E. W.* Orientalism. N. Y.: Pantheon Books, 1978.
- Sharp J. P.* Condensing the Cold War: Reader's digest and American identity. Minneapolis, 2000.
- Stafford P.* Sexual behavior in the Communist world: An eyewitness report of life, love, and the human condition behind the Iron Curtain. N. Y., 1967.
- Swerling A.* The rape of Czechoslovakia: Being two weeks of cohabitation with her Soviet allies, August-September 1968. Cambridge, 1968.
- The Face of Moscow // Look. 1953. November 3.
- The Girls of Russia and the Iron Curtain Countries // Playboy. 1964. March.
- Tickner J. A.* Gendering world politics: Issues and approaches in the post-Cold War era. N. Y., 2001.
- Whitney J.* Women: Russia's Seconds Class Citizens // Look. 1954. Nov. 30.
- What is Communism? N. Y., 1955.
- Wolff L.* Inventing Eastern Europe: The map of civilization on the mind of the Enlightenment. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994.

М. П. Абашева

Модель семьи в мемуарах
«среднего человека» постсоветской
эпохи

Предметом внимания в настоящей работе стали тексты так называемых «наивных» авторов, причастных подлинно массовой литературе — в почти забытом сегодня значении этого термина, о котором напомнил Ю. М. Лотман: «Прежде всего в нее войдут произведения писателей-самоучек, дилетантов, порой принадлежавших к низшим социальным слоям» [Лотман 1997: 820].

В книгах, рассмотренных в данной статье, мы встречаемся с типом авторов, располагающих себя в промежутке между немотствующим народным опытом и высокой литературой, говорящих с позиции медиатора и транслятора голоса народа: «Прочитай эти страницы, страницы жизни простого человека. Таких, как я, миллионы, а рабочих и крестьян — десятки миллионов, вот бы их послушать, но им не до того, не привыкли они писать, а жаль» [Альбатрос 1999: 112].

Мемуары (в старинном смысле этого слова, по Далю, — «житийские записки») «Благословляя, ухожу» и «Размышления» [1999] Б. А. Альбатроса (псевдоним Б. А. Торботруса), мемуарно-эпистолярный роман «Внукам и правнукам. О любви» [1998] З. Дубровских, его жены, прокомментированная любовная переписка и ее же мемуары «Внукам и правнукам. О несказанном» [2000] рассчитаны на благодарную память семьи и потомков и являют собой воссозданную в тексте (пусть не полностью реализованную в жизни) модель семьи — такой, какой она представляется в мечтах «среднего» человека конца XX столетия.

© М. П. Абашева, 2005

Авторы записок, изданных тиражом в несколько десятков экземпляров на их собственные средства, — двое семидесятилетних людей, супруги Борис Абрамович Торботрус и Зоя Сергеевна Дубровских, нашли друг друга, когда им было далеко за пятьдесят. Позади у них осталась нелегкая жизнь, оба вырастили детей, овдовели. И — встретили, как они пишут, подлинную, горячую и страстную любовь. Последняя стала не просто основой нового брака, но побудила супругов воссоздать в своих поведенческих установках (но более всего, конечно, в текстах, где реальные жизненные обстоятельства очищены от случайностей и обнаруживают свою идеальную направленность) образцовый жизненный проект: абсолютно гармоничного — духовно, эмоционально, телесно — брака-сотрудничества. Супружества, воплотившего оставшиеся нереализованными (по причинам как социально-исторического, так и личного порядка) мечты, высокие представления о должном, компенсировавшего то, что не получилось в прежней жизни авторов. Их мечты порой напоминают известные грезы Ильи Обломова о будущей жизни. «Мы будем с Тобой трудиться и еще приносить пользу обществу, но в меру сил и возраста. И у меня есть заветная мечта — видеть Тебя всегда рядом. Лучше видеть Тебя озабоченную нарядами, домашним чтением, уютом, чтобы Ты цвела как женщина еще многие, многие годы. <.. > Живи для меня, а я буду жить для Тебя... Представляешь, сидим вечером и читаем друг другу понравившиеся стихи, слушаем музыку, рассматриваем картины и говорим друг с другом. Хорошо!.. Или пошли в театр, медленно возвращаемся домой, делясь впечатлениями, иногда не соглашаясь, но не обижаясь друг на друга, а кругом цветы, зелень, белая ленинградская ночь. Приходим домой, смотрим влюбленно друг на друга и думаем: “Где же Ты раньше был?” <... > Еще одно просится — ночь, луна, мы стоим на палубе корабля, тесно прижавшись друг к другу. Звучит музыка. Как, есть у меня фантазия?» [Дубровских 1998: 66].

Созданные нашими авторами произведения и являют собой текстовые репрезентации этого жизненного проекта и одновременно становятся его необходимыми элементами.

Главным создателем модели идеального союза мужчины и женщины, безусловно, стал Борис Абрамович. Он явно чувствует себя ведущим в дуэте: более культурным и образованным, опытным и эрудированным. Не уставая твердить, что «*мужчина — рыцарь, женщина — королева*», Борис Абрамович тем не менее оставляет

за собой авторитетную, доминантную идеологическую позицию: именно с его подачи роман в письмах Зои Сергеевны получил подзаголовок «История любви философа к коми-пермячке». Весьма примечательно здесь смешение ролей, различных в своей основе идентификаций — профессиональной у мужчины и национальной у женщины. Немыслимо представить перевернутый, обратный вариант («история любви еврея к главному инженеру проекта»), или вариант «равноправный» («учителя к инженеру», «еврея к коми-пермячке»). Выбираются авторитетная мужская и интуитивно ощутимая «умаленная», слегка этнографически-экзотическая женская роли.

Зоя Сергеевна же, все время вспоминая о гордости и женском достоинстве, в отношениях с супругом отводит себе роль осчастливленной, тянущейся к духовной высоте мужчины, готовой совершенствоваться в руках нового Пигмалиона. «Раньше Витя приобщил меня к механике труда, к силе механизмов. Ты — к искусству, красоте, нежности» [Дубровских 1998: 44]. Примечательно различие в интонации двух процитированных фраз: первая имеет в виду первого мужа Зои Сергеевны, Виктора (здесь наивный слог невольно заставляет вспомнить А. Платонова); вторая, основанная на синонимических повторах «высоких слов», — слепок письма Бориса Абрамовича.

И хотя очевидно, что современная «душечка» оказалась и успешней, и способней обоих своих мужей, она без всяких сомнений оставляет себе вторые роли и готова пожертвовать для любимых собственными успехами. Так, молодая еще героиня умоляет администрацию Пермского политехнического института зачислить не ее, благополучно прошедшую по конкурсу, но не добравшего баллов Виктора. И, описывая свою работу на престижной должности, Зоя Сергеевна всячески подчеркивает способности первого мужа, занимающего место гораздо более скромное. В отношениях с новым партнером, Борисом Абрамовичем, она признает полное превосходство его ценностей: гуманитарных, причастных культуре и искусству, в коих он, по ее мнению, разбирается совершенно. Кроме того, Зоя Сергеевна безоговорочно следует вкусам супруга в одежде (он сам ее шьет для нее), кухне и т. п. «Мой кумир, мой муж — Он неустанно опекает меня, стремится помочь мне быть в форме» [Там же: 67].

Есть некоторые гендерные различия и в культурных позициях наших авторов. У Б. Торботруса больше выражена тяга к личной

биографии и большой истории. Он описывает свою судьбу «изнутри истории», в зависимости от нее, упоминая, впрочем, и драматические повороты, и свое положение изгоя (дискриминацию его как еврея).

В книге З. Дубровских исторические события становятся лишь фоном для описания многотрудной, нищей, беспросветной жизни довоенной и послевоенной коми-пермяцкой деревни. Уже потом следует история ее «вочеловечения», восхождения к грамотной, культурной, городской жизни, к профессии (она явно гордится своей должностью главного инженера проекта). Женщина-повествователь движется от истории рода и семьи к собственной судьбе, понимаемой, впрочем, тоже через другое и других: семью, службу, мужей. Соотнесение с каноном не так обязательно для Зои Сергеевны, как для мужа, представления которого, увы, вполне клишированы и основаны на привычных, даже ходульных литературных формулах времени. Лучшие, пронзительно точные страницы З. С. Дубровских — как раз те, где она пишет как дышит, вполне бесхитростно: «К весне мы здорово голодали и худели, ходили с братом, как два скелета, вместо груди — стиральная доска, обтянутая кожей. Ноги — длинные и тощие, а колени, как два кулака, торчащих на тощих “ходулях”» [Дубровских 2000: 22]. В описаниях своих детских лет Зоя Сергеевна как будто забывает о соблюдении норм, однако хорошо помнит о них в тех частях повествования, что связаны с Торботрусом, текстовое присутствие мужа словно бы санкционирует «правильное» письмо.

Примечательно, однако, что, приближаясь в своем повествовании к встрече с Борисом Абрамовичем, Зоя Сергеевна, как бы спохватившись, тоже, как он, начинает сверять личное время с историческим: «Наступал Новый год, который стал для нас судьбоносным. Этот год стал судьбоносным и для Михаила Сергеевича Горбачева — очередного главы нашего Великого государства» [Дубровских 1998: 29]. И значимость первой (после почтового знакомства) встречи героев в Ленинграде, видимо, сознательно соотносится с коллективными историческими ценностями. Это в первую очередь предусмотрел Борис Абрамович, режиссировавший встречу: «После посадки в такси Он предложил начать пребывание в героическом городе Ленинграде с посещения памятников “Блокадникам Ленинграда” и “Павшим в боях за Отечество” на площади Победы. У скульптурного шедевра мы положили цветы, потом посетили музей. Это было трогательно

и величественно. Почтение к павшим умиротворяло душу» [Дубровских 1998: 25].

История семьи и рода в ее буквальном содержании, очевидно, представляется З. Дубровских слишком прозаической и потому изрядно мифологизируется: увидев в Ленинграде скульптурный памятник Екатерине II в кругу фаворитов, Зоя Сергеевна обнаруживает в Платоне Зубове явное с собой сходство (Зубова — ее девичья фамилия). В этом сходстве она и находит объяснение своих интуиций о мистическом и благосклонном вмешательстве в ее судьбу каких-то влиятельных сил: «Возможно, новые исторические исследования и открытия раскроют не забытое, но утраченное в суете поколений. Но покровительство все-таки чувствую» [Там же: 74]. Такое толкование легко встраивается в ряд других мирообъясняющих аргументов астрологического и мистического характера, охотно приводимых Зоей Сергеевной.

Но при всем том, что в отношениях супругов утверждается патриархальная модель, щедро задрапированная в куртуазные одежды, именно в сфере любви и семьи наши авторы неожиданно отошли и от привычных регулятивных норм и правил советских лет, и от предсказуемой идиллии старосветских помещиков. Описанный проект гармонического брака, стимулирующего к непрекращающемуся творчеству и сотворчеству (кроме книг, Зоя Сергеевна пишет картины — взрослых людей воображает и изображает такими, какими они были в детстве, занимается фотографией, виноделием, астрологией и т. д., Борис Абрамович моделирует и шьет ей наряды — чаще не для улицы, это, скорее, театр для себя), реализовался, на наш взгляд, благодаря нетривиальному перераспределению гендерных ролей и функций.

В изначальном, на момент их встречи, раскладе социальных ролей Борис Абрамович является, по привычным российским канонам, женщиной (повторюсь — социально), а Зоя Сергеевна — мужчиной. Он в первых же письмах сообщает, что принципиально не стремится зарабатывать и готов оставить работу еще до ухода на пенсию, дабы посвятить себя строительству счастья для двоих, в семейной жизни, в чтении, знании и гедонистических удовольствиях полагая свои высшие ценности. Она же — на мужской, что неоднократно подчеркивается, должности ГИПа (главного инженера проекта) стремится к преобразовательному труду, и производственные проблемы занимают в ее повествовании большое и почетное место. Она увлекается рыбалкой, автомобилем и уп-

равлением катером — все это унаследовано от первого мужа, он — чтением, прогулками и экскурсиями.

Но дело не только в социальных ролях. Не вторгаясь в чужую область психоанализа, заметим все же, что, начиная с описаний детских впечатлений, у Бориса Абрамовича наблюдается самая горячая и приоритетная привязанность к матери, нежное отношение ко всему женскому и желание женскому миру принадлежать: «Я иногда думаю, что если бы я родился девочкой, а не мальчиком, о чем очень сожалею, я бы с радостью и удовольствием повторил путь своей мамы. Слова молитвы “Слава Тебе, Господи, что Ты не создал меня женщиной” — фарисейские слова. На деле многие мужчины мечтают принадлежать к прекрасному полу, а среди женщин есть такие, которые завидуют мужской доле. Все хотят иметь то, чего у них нет, все тянется к своей противоположности, но опять-таки не все об этом говорят. А я вот скажу, и не судите меня строго, а лучше старайтесь понять меня и, может быть, себя» [Альбатрос 1999].

Стараясь, согласно пожеланию нашего героя, его понять, неизбежно приходишь к выводу о том, что в его самоидентификации действительно имеет место некоторая перверсия — это можно подтвердить множеством примеров из его текста. Самый рискованный и убедительный пример, однако, найдем в книге З. Дубровских, в главе «Со смущением, но Про это...» — о сексуальной стороне брака. Здесь описано устройство внутренней, домашней, интимной жизни супругов, основанной на стремлении угадывать сокровенные потребности партнера. В частности, жена уловила мечту мужа «познать, что ощущает женщина своим нежным, по-особому организованным телом, когда носит тонкое шелковое белье, почти воздушные, легкие шелковые платья, необыкновенную паутинку колготок и прикосновение божественного чуда — длинных красивых волос, стекающих струйками по плечам, шейке и спине». И вот — «я одела его во все шелковое, мягкое, гладкое, тонкое, красивое. Привязала к Его волосам пышный бант из тонкого капрона, покрасила ему губы, сделала макияж, обработала ногти на руках и сделала яркий маникюр». Далее муж рассказывает о своих ощущениях (репрезентация и является, быть может, главной целью предприятия), жена комментирует: «Все это присутствовало и в моих восприятиях, но к ним я привыкла и не придавала этому особого значения» [Дубровских 1998: 162].

Приведенная причудливая ситуация отражает сценарий и суть

состоявшегося проекта в целом. Изначально «женская» природа мужчины (в сцене с переодеванием явленная как игра) позволила ему через ролевую «меню пола» понять запросы и потребности партнера и выстроить адекватно собственную линию поведения. А партнерша, в свою очередь, лучше прочувствовала собственную сущность.

Разумеется, надо помнить, что любые репрезентации неизбежно выстраиваются избирательно и намеренно, что повествование, как и самая жизнь наших героев, насколько она известна стороннему наблюдателю, насквозь риторичны, избыточно театральны, рассчитаны на публичность. В текстах Торботруса и Дубровской этот театральный код обнаруживается с легкостью. Так, сцена первого свидания дана в книге З. С. Дубровской именно как сцена: за раздвигающимся занавесом открывается необыкновенно изящное, в ее представлении, убранство комнаты. Зоя Сергеевна дает и по-державински подробное описание новогоднего стола: «...в хрустальной вазе, обрамленной серебряным кольцом. Справа, у стены, — красиво украшенная елка с нитью ярких лампочек <.... > Застелив белой скатертью стол, Он медленно, но с большой любовью, как большой художник, стал сервировать стол. <... > Стол сервировался на двоих. На нем появились салаты “Зимний” и “Осенний” со всеми дарами природы средней российской полосы. Красиво оформленная сельдь — дар моря, — в сочетании с колечками репчатого лука выглядела очень аппетитно. Бутерброды с красной икрой напоминали россыпь прозрачного яркого бисера. Красиво порезанные пластики запеченного мяса в компании красных помидоров и как бы небрежно брошенной зелени с несколькими дольками лимона подчеркивали весомость этого стола. Мои мысли, восторг и восхищение были прерваны приглашением к столу» [Дубровских 1998: 26–28].

В театральности поведения и письма очевиднее становятся целеполагание, преднамеренность и выстроенность описанного — кажется, успешного для его участников — проекта. Последний основан на энтузиазме и твердости в исполнении, на испытанных культурных моделях, на мене гендерных ролей.

И, конечно, на любви. За сугубо советскими нормами и штампами разрешенной любовной жизни (оттесненной на периферию существования, в центре которого помещалось общественное служение), жизни, отмеченной исключительной «духовностью», почитаемой «стыдливостью», асексуальным духом товарищества

и т. п. (эти знаки отчетливо расставлены и в рассмотренных текстах), неожиданно открываются гедонизм, эстетизм, тяга к сексуальной раскрепощенности — наши герои читают «Кама-сутру» и газету «Двое». Рассогласованность знаков и означаемых в описании «жизни сердца» и вообще отношений полов разительно красноречива: она выявляет раздвоенность советского дискурса частной жизни (на явное и тайное) и сегодняшнее поспешное освоение, даже немолодыми людьми, новых культурных знаков, ролей и форм.

Следует, однако, отметить, что частная жизнь выглядит лишь редким отступлением в общем понимании жизни нашими героями. Основные ценности, исповедуемые ими, зиждутся на вполне «советских», узнаваемых образцах. Для обоих главной объяснительной моделью, равно как идеальной парадигмой жизнеописаний, становятся образцы литературные.

В понимании обоих авторов главное назначение книги, литературы — быть учебником жизни. Даже если это касается жизни чувств: «Лапушка, хорошая, очень прошу Тебя, прочитай стихотворный сборник Вероники Тушновой “Сто часов счастья”. Ей-богу, можно чему-то поучиться душевно» (из письма Б. Торботруса З. Дубровских) [Дубровских 1998: 53].

Фонд литературных цитат в книгах Торботруса и Дубровской чрезвычайно пестр, но по большей части исчерпывается школьной программой: «Ваши письма для меня сейчас — единственный “светлый луч” в моем “темном царстве”». Чаше всего упоминается Пушкин. Чернышевский и Сент-Экзюпери представлены истертыми цитатами, один раз в качестве эпиграфа процитирован Брюсов. В самом большом почете — не отсылка к конкретным текстам, но обобщенная советская классика: «И мечталось мне, что вот стану я взрослым, выйду на площадь и скажу людям какие-то пламенные слова, и люди поймут меня, и люди пойдут за мной и уничтожат все зло и несправедливость. Рассказы отца, дух Бар Кохбы, этого Спартака еврейского народа в древности, о котором я прочитал еще в детстве, образ горьковского Данко, существующая несправедливость в обществе, о которой я все больше узнавал — все это вдохновляло и направляло мои мечты, мечты, с которыми я не расстался до сих пор» [Альбатрос 1999: 10].

Можно привести еще немало примеров заимствования литературного опыта, чаще обобщенного — «в духе» Фета, Есенина или Асадова. У Бориса Абрамовича, безусловно, есть свои стро-

гие каноны литературности, воплотившиеся и в прозе. Их легко вычислить из его собственной «поэтики»: из склонности к обобщениям (доходящим до резонерства), из обязательного введения персонажа через портрет (сводящийся, как правило, к подробному описанию деталей одежды)...

В книгах З. С. Дубровских меньше следов школьной программы, ее литературный пантеон явно складывался в гораздо более позднее время: из опубликованных в последние годы книг, из сборников мудрых мыслей и т. д. Здесь тоже сказываются гендерные предпочтения. Свои любовные переживания Зоя Сергеевна повяряет стихами Ахматовой: «Мне хотелось петь, читать стихи, цитировать поэтов, особенно любимую в ту пору Анну Ахматову. Она была единственным и главным советчиком в сложных решениях. Благодаря ее же мудрым мыслям я поняла, что “надоело мне быть незнакомкой, быть чужой на Твоем пути”» [Дубровских 1998: 40].

У Б. Торботруса узнаваемыми литературными образцами детерминирована его история любовных привязанностей: от Прекрасной Дамы — к земной первой жене-соратнице, и наконец — к гармоническому слиянию истинных «половинок». При этом автору не чужды явно мелодраматические по своему пафосу толкования событий. Это особенно отчетливо проявляется в его истории первой любви. Чистые и верные герои, юный тогда Борис и девушка Альбина, расстались: он уехал учиться, она же была еще школьницей. Завистница, молодая учительница, влюбленная в Бориса, прятала его письма к сопернице, ему же злодейка сообщила о том, что его любимая — изменница. Юноша и девушка перенесли эту трагедию крайне тяжело, были близки к самоубийству, узнали же об обмане через много лет. Встретившись, они поняли, что их чувства не остыли, но в это время уже были не свободны от обязательств по отношению к своим супругам и потому расстались.

Вообще влияние массовой словесности и иных жанров массового искусства на письмо Торботруса и Дубровских весьма велико. И главную роль здесь, несомненно, играет советская эстрада.

И мемуары, и, в еще большей степени, переписка изобилуют цитатами из песен А. Пугачевой, Ю. Антонова, А. Герман, В. Какабидзе и т. д. Отсылки к «известным песням» направлены к читательскому опыту и, соответственно, зовут к сопереживанию.

И все же главное назначение обильных цитат из эстрадных песен — артикулировать чувства героев. Если литература как ка-

нон является для наших авторов главным источником регулятивных норм и предписаний, то массовое искусство — в частности, эстрадная песня — становится эмоциональным эквивалентом чувств.

В отличие от авторов музыки и текста, исполнитель называется почти всегда: «Помните, в песне Пугачевой есть слова: “... А я в любовь, как в море, бросаюсь с головой”». Часто влюбленные переговариваются в письмах словами из песен, не ссылаясь на источник: «Не отрекаются любя», «Буду любить тебя всегда: Я не смогу иначе», «Я Вас люблю, я думаю о Вас» и т. п. Порой тексты песен слегка изменяются (скорее, не сознательно) — это свидетельствует о том, что они вполне «присвоены» автором. Вот типичный пример: «По радио идет хорошая передача эстрадных песен. Поет Алла Пугачева. Совсем про меня. Без тебя, любимый мой, мне жить не просто... Без тебя, любимый мой, лететь с одним крылом... Без тебя, любимый мой, земля мала, как остров... Точь-в-точь моя боль в этих словах» [Дубровских 1998: 86]. Очевидно, что цитирование песен выполняет роль своеобразного алфавита чувств, одновременно и тайного, и кодифицированного авторитетными источниками (телевизор, радио, эстрада) пароля любящих: «...я сижу и пишу Тебе, а по телевизору идет повторная передача “Песня года”. Песни такие хорошие, нежные, как будто написанные для нас. Вот поет Гурченко [следует цитата]. Хорошо! Я люблю исполнение Толкуновой и многих других. Как хорошо было бы слушать вместе...» [Там же: 96].

«Известные песни» возводят переживания героев (в их собственном сознании) в ранг действительно высоких, истинно романтических, они утверждают своего рода норму — должный градус чувств, соответствующий красивой, настоящей любви. Через песни, всем известный культурный пласт, они соотносят личный опыт любви с авторитетными культурными образцами.

Кроме того, массовая песня выступает здесь общим, универсальным языком чувств, языком, понятным миллионам недавно советских людей, слушавших одинаковую музыку.

Вообще апелляция к читателю — очень важная составляющая такого рода повествований. Авторы неустанно заботятся о занимательности, опирающейся, с одной стороны, на увлекательность, событийность, с другой — на общий опыт, обеспечивающий идентификацию читателя с повествователем. Порой, вольно или, скорее, все же невольно, авторы используют для этого известные при-

емы массовой литературы: архетипы, стереотипы, обновление традиционной фабулы за счет введения примет современности, идентификацию героя с читателем.

К финалу произведения З. С. Дубровских и Б. А. Торботруса становятся все более синтетичными, приобретая некоторые черты, характерные для массовой книжной продукции прикладного характера — от сонников и гороскопов до кулинарных книг. Очевидно, что в течение нескольких лет супруги все больше подпадают под влияние массовой культуры. В конце своей книги «Внукам и правнукам. О несказанном» З. С. Дубровских делится с читателями не только опытом устройства интимной жизни, но и рецептами домашнего вина, а книга Б. Торботруса увенчивается приглашением всех желающих получить у его жены бесплатный гороскоп (домашний адрес исправно прилагается).

Конечно, трудно проследить читательскую судьбу подобных произведений. Исследователю такого рода непрофессиональные тексты интересны тем, что в них особенно наглядно проявляют себя культурные и социальные «матрицы»: нормы и предписания времени, стереотипы (в том числе гендерные) и архетипы, утраченные в «официальной» литературе подробности быта и «шума» времени. Кроме того, подобные тексты могут, наверное, стать и своего рода стилевой моделью для «большой» литературы — такой, например, как повести недавнего букиеровского лауреата Александра Морозова («Чужие письма», «Общая тетрадь»).

Литература

Альбатрос Б. А. Благословляя, ухожу. Пермь, 1999.

Дубровских З. С. Внукам и правнукам. О любви. Самиздат. Пермь, 1998.

Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования: история русской прозы, теория литературы. СПб., 1997.

О. В. Шабурова
«Семейные истории»
в массовой культуре
как инструмент управления
субъективностью

При переходе от советского к постсоветскому обществу в России все подверглось серьезной трансформации, включая и семью. И хотя говорят, что в любые времена люди влюбляются и женятся (т. е. семья — некая общесоциальная константа), все громче звучат заявления о гибели семьи. В этой ситуации интересно проанализировать, как общество реагирует на эти заявления, осознает эти проблемы не на уровне законодательных дебатов и публицистических баталий, а в реальных политиках репрезентации семьи, т. е. там, где осуществляется трансляция практик, моделей, стилей жизни современной семьи, там, где воплощается современный российский дискурс семьи. Для этого мы обращаемся к самому сильному по воздействию механизму массовой культуры. В режиме ежедневной непрекращающейся работы массовая культура пропитывает пространство частной жизни, повсеместно транслируя обществу его семейные образы: подглядывая в «Окна», азартно перебирая грязное белье в «Большой стирке», каждые пятнадцать телевизионных минут демонстрируя в рекламе, как семья ест, пьет, моется, чистит зубы и т. д.

В эпоху советской цивилизации пропагандистское лицо экрана тоже представляло нам семью (куда ж уйти от жизни), но в основе той политики репрезентации семьи лежала парадигма «общество как семья» (соответственно далее «завод как семья», «школа как семья» и др.); на первый план выдвигался определенный

тип героя, а значит, и определенный тип семьи — трудовые династии. В основе идеи семьи «простого человека», встроенной в здание Большой советской семьи, оказывался концепт коллективизма, сопричастности общей судьбе, приглушение индивидуалистических проявлений. «Семья как единство разделенного» с ее сложной борьбой отдельных личностей за реализацию собственного «я» в пространстве семьи практически не являлась темой советского искусства и массовой культуры. Все-таки «я, ты, он, она — вместе целая страна, вместе дружная семья» было определяющим по сути и, отметим, «упаковывалось» в адекватные культурные формы. Конечно же, мы понимали, что кроме рабочих династий существуют и другие семьи; обывателей волновала закулисная жизнь знаменитостей, богемы, официальных героев, но их семейные истории транслировались дозированно, покрывались флером тайны, порождая еще более неудовлетворенное любопытство и разжигая слухи. Сегодня ситуация с репрезентацией семьи абсолютно противоположная. Массовая культура обрушивает на того самого простого человека, растерянного и дезориентированного в условиях смены ценностей и приоритетов, модели и стили жизни VIP-героев и их семей. Трудно представить, чтобы глянцевые поверхности журналов и сверкающие буржуазным шиком экраны отразили жизнь этого простого человека (это и понятно, кому он нужен, какой от него рейтинг). Теперь с точностью до наоборот: телевидение, кино, разной степени желтизны пресса набрасывается на частную жизнь знаменитостей и, заполняя публичное пространство их историями, абсолютно смещает акценты в противоположную сторону. Вместо постулата общественного, коллективного утверждается частное, единичное, вырванное из системы социальных связей существование отдельных поп-героев и их семей.

Конечно, постепенно массовая культура удовлетворит потребность массы видеть и саму себя и создаст соответствующую продукцию, доведя образ «народа» до гротескно-вульгарных форм, представив его жизнь как набор девиаций и склок в желтой прессе и потоке соответствующих ток-шоу на телевидении. Проскочив опять точку реальности, моделируя в логике своих задач теперь уже не человека работающего, а человека развлекающегося и потребляющего, массовая культура конструирует новую норму.

Репрезентируя семейную жизнь звезд — нетипичную по определению, — массовая культура отражает логику потребительско-

го общества, стремится задать массе именно эти стандарты поведения и потребления, навязать эти схемы для идентификации. И хотя в семейном пространстве звезд присутствуют иные типы конфликтов, другие причины разводов, другое отношение к детям, — они становятся основой репрезентации семейных отношений, вступая в противоречие с реалиями существования средней российской семьи. Модели жизни VIP-героев недоступны простому обывателю, но ему настойчиво предлагаются именно эти жизненные лекала. Бесконечные страдания-переживания-преодоления, которые транслируют звездные герои в программах Оксаны Пушкиной, например, не соответствуют более трезвому, социологическому взгляду на устройство семейной жизни звезд.

Так, исследование, проведенное на социологическом факультете МГУ, было посвящено выявлению роли СМИ и массовой культуры в формировании имиджа семьи, в том числе так называемой «звездной семьи». Анализируя тексты статей популярных журналов-телегидов «Семь дней», «Антенна», «ТВ-парк», авторы исследования имели возможность охватить огромную аудиторию этих изданий, представляющих светскую хронику, связанную с семейной проблематикой — кто женился, кто развелся, у кого родились дети и т. д.). Какие самые интересные позиции, определяющие специфику этих семейных историй, отмечены автором работы? Прежде всего это большой процент незарегистрированных браков в этой среде (20 %), который связан с тем, что «незарегистрированный брак избавляет знаменитостей от длительных бракоразводных процессов, всегда связанных с нежелательным для них разделом огромных состояний» [Медкова 2002: 132]. Автор отмечает, что среди наших звезд незарегистрированный брак пока менее распространен — 15 %, в то время как среди западных звезд — 31 %. Наиболее частой причиной разводов является слишком большая поглощенность своей карьерой. «Многие знаменитости заявляют, что бросили семьи из-за того, что они “отвлекали” их от карьеры», — пишет исследователь М. Медкова [Там же]. Она также отмечает, что довольно типична «новая любовь»; к новым отношениям больше тяготеют мужчины, и часто их «любимые» оказываются моложе старших детей от предыдущих браков. Интересно и то, что в журнальных статьях и интервью практически никогда не делается акцент на каких-то эмоциональных переживаниях, связанных с разводами (чаще обсуждается проблема раздела состояний), развод не рассматривается как трагедия

или психологическая травма — это скорее что-то привычное. Мы отмечаем эти моменты, чтобы обратить затем внимание на то, как те же сюжеты будут представлены в «исповедальных» жанрах нашего телевидения.

В отношении детей звездные семьи также вряд ли представляют типичную картину. Из них 35,1 % имеют одного ребенка и 31,3 % вообще не имеют детей, а если речь идет о трех-четырех детях и даже более, то это дети от всех предыдущих браков. Ситуация с детьми в семьях звезд — творческих личностей — это всегда проблема для дальнейшей карьеры, и исследование подтверждает, что, как правило, звездные мамы «сдают» детей бабушкам (история Л. Долиной, Е. Прокловой и др.), сразу нанимают нянь, а порой даже отдают детей в интернат (история Л. Полищук). В общем, вывод автора исследования неутешителен: создается некий миф о том, что человек может творить все что угодно со своей семьей, но в конце концов «обязательно получит новый шанс: новую любящую жену, новых детей, чтобы на этот раз сделать все правильно, обрести счастливую семейную жизнь» [Медкова 2002: 134].

Конечно, можно было бы сказать, что этот тип семьи отражает объективную логику «общества риска» (У. Бек). Рыночное общество эпохи модерна подрывает сами основы семьи как общности, так как рынок труда требует индивидуализации и автономности субъектов, их мобильности независимо от личных обстоятельств. «Брак и семья требует прямо противоположного. Если до конца додумать рыночную модель современности, то в основе ее предполагается *бессемейное* и *безбрачное* общество. Чтобы обеспечить свое экономическое существование, каждый должен быть самостоятелен и свободен для требований рынка. Рыночный субъект в конечном счете — одинокий индивид, не «отягощенный» партнерством, браком или семьей. Соответственно, развитое рыночное общество — еще и общество *бездетное...*», — отмечает У. Бек [Бек 2000: 175].

Проявление этой тенденции в развитии нашего общества, его рыночных основ находит, видимо, подтверждение в стилях жизни появившегося класса деловых людей; их отношение к семье и любви уже отразило логику разрыва семьи и карьеры, они все больше склонны «жениться на работе» (см.: [Юрчак 2000]).

Укладывается стиль жизни звезд в эту логику? Не есть ли он прямое отражение наметившегося противоречия «карьер — семья»? Полагаем, что ситуация с семьями звезд (а она, напомним,

есть сегодня основная форма репрезентации стилей семейной жизни) лишь частично воплощает эту стратегию рыночного общества. Ведь и раньше жизнь богемы, в отличие, заметим, от жизни буржуа с их часто аскетичной протестантской этикой, была отмечена этой «вольностью». Другое дело, что она не имела возможности репрезентироваться как ведущая, самая распространенная и доступная. И здесь, как нам представляется, политика репрезентации семейной жизни поп-героев как нормы, тотальной и агрессивной, отражает другую базовую стратегию оформляющегося общества — его потребительски-гедонистическую направленность. Если «ударники капиталистического труда» — это люди скорее аскетичные, фанаты и рабы своего бизнеса, то светские люди, звезды — это носители, эмблемы стратегии расточительства, потребления, траты. Они — воплощение консюмеристской идеи, и, соответственно, способы описания и репрезентации их семейных историй и в глубинных основаниях, и в тактиках их представления работают в «коммерческом режиме». Одна из технологий этой коммерческой стратегии — конструирование семейных историй.

В большом потоке «семейной» продукции массовой культуры наиболее выразительно и полно представлена форма «семейной истории». «История» (story) — сегодня очень распространенный продукт в культуре. Процесс рассказывания историй (соответственно прослушивания, прочитывания...) занимает огромную часть нашего времени и «располагается» почти во всех сферах и секторах социального пространства.

Истории сегодня — это предмет серьезного академического интереса, который реализован в самых разных гуманитарных дисциплинах и представлен стремительным развитием нарратологии. Так называемые качественные исследования позволяют использовать генеалогический и биографический методы, работу с устными историями.

Но нас в данном случае больше интересует тот поток историй, которые заполняют повседневность. Массовая культура демонстрирует нам целые «караваны историй», бредущих или бегущих на наших телеэкранах, вовлекающих нас в уютное пространство глянцевого журналов и т. д. Даже деловые журналы типа «Деньги» обязательно имеют свой раздел «историй»: в них это «история успеха», в научно-популярных журналах — это «история идей и открытий», на НТВ есть даже «Вкусные истории» и т. д. — и все они рассказываются как сказки или даже сказания. Бесконечная

«тысяча и одна ночь». Абсолютным чемпионом в жанре историй являются «женские истории», к ним уже подстроились «мужские истории», ну а в совокупности они все предстают как «семейные истории». Ведь ни одна история, женская или мужская, не может обойтись без «семейной составляющей» — как минимум это рассказ о той семье, из которой вышел герой. Современный телеэфир буквально «затоплен» потоками историй, которые обыгрываются во множестве ток-шоу («Я сама», «Моя семья», «Большая стирка», «Любовные истории», «Окна», «Жди меня» / «Ищу тебя», «Вера. Надежда. Любовь» и др.) и передачах-беседах («Женские истории», «Женский взгляд», «Пока все дома» и др.).

Приоритеты в этом направлении были во многом определены и заданы «открытиями» Оксаны Пушкиной. Право на бренд «Женские истории» она отвоевала в борьбе с конкурентами, и сегодня он уже дает большие коммерческие и символические дивиденды. Борьба эта героизировалась — в одном из изданий пушкинских историй телеведущая названа «жертвой интеллектуального рэкета» [Пушкина 2002]. Отладив гигантский поток своих историй в печатном виде, Пушкина сохранила свой продукт и колоссально расширила рынок: опубликованные «Женские истории Оксаны Пушкиной» представлены в таких объемах, что трудно даже примерно назвать тиражи. Создав затем телепрограмму «Женский взгляд», О. Пушкина так же напористо начала производить и мужские истории.

Поскольку эта продукция наиболее полно представляет заявленную нами тему, попробуем, анализируя механику ее производства, выявить основные конфигурации данного социального конструкта. «Женские истории» О. Пушкиной декларируют себя как терапевтическое средство для народа, который устал и изнемог в борьбе с жизненными трудностями. Женские истории представляют героинь, сумевших побороть, преодолеть, выстоять и т. д. Приведем одну из аннотаций к сборнику «Женские истории»: «Проникновенные беседы известной телеведущей Оксаны Пушкиной с ее знаменитыми героинями: звездами оперы, балета, кино, эстрады, спорта, женами политиков — затрагивают самые чувствительные струны души благодарных зрителей и читателей, учат стойкости и терпению, вселяют надежду на успех и счастье» [Пушкина 2002: 4]. А общий девиз-слоган ко всем сборникам таков: «Откровения знаменитых женщин о себе и о том, как противостоять превратностям судьбы!».

Популярность этого телепродукта и его печатных версий объясняется очень странной формулой — «...популярны они благодаря актуальной для России искренней тональности». Далее следует еще более странное заявление: «Вокруг немало лжи, жестокости, нищеты... Окружающий нас мир стал прагматичнее, циничнее, и все меньше места остается в нем участию, состраданию и человеческому теплу, так необходимым людям и особенно женщинам» [Пушкина 2002: 3].

Итак, бескорыстные сеансы терапии для простого народа через истории VIP-героев — такова миссия Оксаны Пушкиной. Много здесь не увязывается.

Во-первых, о бескорыстии и коммерции. Риторика бескорыстия довольно слабо прикрывает откровенность этого абсолютно коммерческого проекта. Сам брэнд «Женские истории Оксаны Пушкиной» и успешность его продаж очевидны. Нарботав имя и лицо, Пушкина сегодня в манере своих передач, с теми же интонациями и придыханиями рекламирует стиральный порошок, шоколад (с чудным слоганом «Женский взгляд на русский шоколад») и т. д. На обложках всех без исключения книжечек серии «Женские истории Оксаны Пушкиной» (а варианты их разнообразны — от дешевых покетов до гляцевых фолиантов) в десятках костюмов одна и та же маска — сама Оксана Пушкина. Да и называется-то товар «Женские истории Оксаны Пушкиной» (забавно, что на ценниках, наклеенных на книги, напечатано «Пушкина. Истории Оксаны»). Так кто же авторы историй? В какой степени здесь уместен разговор о документальности, реальности, аутентичности предлагаемых повествований? При более тщательном рассмотрении становится ясно, что героини и их сюжеты используются для создания совершенно определенного жанрового продукта, практически тождественного сериальному «мылу». Но если сериал работает в границах определенного жанра, то здесь мы видим, как сериальные коды, отражающие работу с вымышленными, нереальными героями, опрокидываются на конструирование историй реальных людей. Претендуя на документальный жанр, Пушкина осуществляет подмену и вместо реальности создает «эффект реальности» (Р. Барт). Телеведущая железной рукой сбивает нужные ей сюжеты, акценты, интонации. Здесь усиливается смысл понятия «телеведущая»: она и «ведет» героев к зрителям, и «ведет» историю этого героя, ведает его тайнами, открывает его шкатулочки, становясь главной фигурой, определяя

герою второстепенную роль. По ходу дела О. Пушкина создает и свою историю, выбирая себе почетную роль подруги своих героинь — и это подчеркивается ею на каждом шагу, в каждом тексте, и особенно умилительно в фотографиях. При этом она не без гордости и кокетства отмечает: «Раз сложилось такое мнение — буду хищницей. Мне не привыкать. В свое время на ленинградском ТВ меня звали “щукой” и “акулой”» [Пушкина 2002: 93]. Рассказывая историю о своих «историях», она не раз проговаривается, прямо заявляя, чего же она хочет. Работая с семьей Буре, она уговаривает Павла Буре на интервью: «Паша, у нас передача такая интимная. Мелодрама. “Москва слезам не верит”» [Там же: 135]. Или, предлагая Кристине Орбакайте рассказать о переживаниях в период развода с В. Пресняковым, настаивает: «Это необходимо, — твердо сказала я. — Потому что в этом случае, если ты не скрываешь обиды, то у людей возникает ощущение, будто бросили тебя, а не ты ушла от мужа. В связи с этим тебе будет сострадать твоя публика, потому что наш народ любит несчастных, к тебе на концерты будут ломиться девочки, брошенные мужьями» [Там же: 32, 33]. Мы видим, что О. Пушкина и «клиента» стимулирует коммерческим результатом от выгодной «продажи» обстоятельств своей частной жизни. Понятно, что этому «коммерческому насилию» VIPы поддаются добровольно, понимая, что, ступив на этот публично-звездный путь, должны из своей частной жизни сделать story, легенду, создать свой миф. В передаче осуществляется общая работа по «приручению реальности» в полном соответствии со стратегиями культуриндустрии. Позднее вообще появится схема «взаимовыгодного контракта», когда клиент-рассказчик уже сам будет стремиться «продать» свою историю; не будем здесь детализировать этот сюжет конкретными примерами, но можем отметить, что многие политтехнологи в период предвыборных игр используют рамки такого рода «жизненных» передач для продвижения своего клиента, погружая его в «розовый сироп».

Таким образом, мы видим, что производство «эффектов реальности» создает обширное симуляционное пространство; мифологические конструкции, потоки симулякров отражают базовые стратегии консюмеристского общества, которое давно исследуется западной наукой. Анализ практик производства массового женского романа, например, ставшего объектом изучения в 90-е годы, показал, что в период компьютеризации информационного общества на Западе появляется новый класс рабочих — низкооп-

лачиваемые служащие, в основном это женщины. Именно они становятся основными потребителями романов (и телепродукции, подобной описываемым «Женским историям»). Стремление женщин преодолеть напряжение используется для того, чтобы под видом декларируемой проектами типа «Женские истории» «терапевтической» помощи сформировать у этой категории стойкую зависимость, стимулируя затем эту зону потребности. Механизм описан: погружаясь в производство такой телепередачи и романа, зритель / читатель вроде бы отдает себе отчет в том, что уходит в мир фантазий, но на идеальном уровне происходит отождествление с личностью героини. Зритель / читатель входит в симуляционное пространство этого продукта и получает возможность в иллюзорной форме разрешить имеющиеся конфликты, которые затем вновь и вновь будут подталкивать к такого рода их «разрешению». Этот круг выгоден производителю данного товара, создавая бесконечный спрос потребителя.

И, с другой стороны, отмечают западные исследователи, мифическая вовлеченность в роман (или в телепродукт, добавим мы) связана сначала с возбуждением, а затем нейтрализацией разрушительных импульсов, первоначально направленных на общество потребления в целом. Путем перенаправления деструктивных импульсов на гиперреальность общество охраняет неприкосновенность своих структур и оформляет роль женщины — зрительницы / читательницы как пассивного потребителя [Lesley 1993].

Эти механизмы симуляции реальности в жанре story ведут к уничтожению «нерва» всякой истории — тайны. Реальность «производится» в форме гиперреальности, по Ж. Бодрийару, а производить реальность — это, по сути, значит изводить, уничтожать ее. «Производить, — пишет Ж. Бодрийар, — это означает насильственно материализовывать то, что принадлежит к иному строю, строю тайны и соблазна ... производство все возводит в очевидность» [Бодрийар 1994: 341].

Современное российское общество оказалось местом одновременной реализации двух противоположных стратегий, тех, которые западное общество осваивало последовательно, в эволюции от человека экономического к человеку потребляющему. Мы же, вновь попав в ситуацию «модернизации вдгонку», одновременно проходим эти стадии, что отражается и в формировании разного типа семейных стратегий. Можно обозначить некую типологию современной российской семьи. Во-первых, это «ударники

капиталистического труда», представляющие тип человека экономического, и их отношение к семье. Во-вторых, это звезды и их философия наслаждения и траты с соответствующими семейными практиками. И наконец, огромная масса народа, где постсоветская семья предстает как боевая единица на фронтах выживания, — вот ее-то жизнь нигде и никак не изображается. Представлена, как мы пытались показать это выше, преимущественно «звездная семья». Она репрезентирована как ведущая модель, в демонстрации и навязывании которой отражены базовые властно-принудительные стратегии консюмеристского общества. Эти формы репрезентации предстают как насилие под видом терапии, выступают формами навязанной идентичности и тем самым проявляются как весьма нетолерантный дискурс современной семьи.

Пространство современной российской жизни все больше подвергается расчленению и дифференциации, и представленные выше типы семьи практически не соприкасаются в реальности. Место их «встречи» одно — телевизионный экран, только находятся они по разные его стороны.

Литература

- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
Бодрийяр Ж. О совращении // *Ad marginem* '93: Ежегодник Лаборатории постклассических исследований Института философии РАН. М., 1994.
Медкова М. В. Семьи «звезд» шоу-бизнеса (контент-анализ материалов прессы) // Социологические исследования. 2002. № 3.
Пушкина О. Женские истории М.: Центрполиграф, 2002. Вып. 1.
Юрчак А. Мужская экономика: «Не до глупостей, когда карьеру куешь» // О муже(N)ственности / Сост. С. Ушакин. М., 2002.
Lesley W. Rabien. Romance in the Age of Electronics // *Feminisms* / Ed. by R. R. Wharhol. New Brunswick; New Jersey, 1993.

В. А. Ефремов

Русский семьянин сквозь призму журнала «Cosmopolitan»

Данная работа находится в ряду исследований вербальной репрезентации гендерных стереотипов и гендерной асимметрии в языковой картине мира современного носителя русского языка на материале текстов различной коммуникативной направленности.

Одной из центральных в гендерной науке становится проблема восприятия друг друга представителями разных полов. Определенный интерес вызывает поэтому сопоставление традиционной точки зрения на русского мужчину как главу семьи (представленную, например, в таких разных формах существования знания о мире, как фольклор, «Домострой» или ассоциативные словари) с точкой зрения на русского мужчину как члена семьи (декларируемую на страницах интернационального женского журнала, имеющего широкую популярность и оказывающего значительное влияние на мировоззрение своих читательниц).

Взгляд на языковую систему как средство воспроизведения картины мира через призму сознания представителя того или иного пола связан с развитием в 60–70-е годы XX века особого направления в языкознании — феминистской лингвистики. Представители этой школы (Мэри Рич Кей, Робин Лакофф и др.) обратили внимание на то, что в языке находит отражение именно патриархальное сознание с присущими ему стереотипами: язык фиксирует картину мира с мужской точки зрения. Таким образом, в языковой картине мира мужчина предстает носителем положи-

тельных качеств и начал, а лексические средства описания мужчин имеют преимущественно положительную коннотацию. Женщине отводится второстепенная роль, поэтому ее образ, отражаемый в языке, наоборот, сопровождается негативными коннотациями и характеристиками. Иными словами, в рамках гендерного направления лингвистики был сделан важный вывод: язык не только ориентирован на человека, т. е. антропоцентричен, но и ориентирован на мужчину, т. е. андроцентричен [Кирилина 1999].

Реконструировать тот или иной фрагмент языковой картины мира можно путем анализа статей различных лексикографических источников, прежде всего идеографических и ассоциативных. Так, например, в РАС, который создавался на базе широкого, проводившегося на территории всей России ассоциативного эксперимента, на стимул *мужчина* представлено 547 реакций, из них наиболее частотные — *сильный* (43 реакции), *высокий* (27), *красивый* (16), *сила*, *средних лет* (12), *красавец* (10), *настоящий*, *человек* (9), *умный* (6). Легко заметить, что среди первых по количеству ответов-реакций на слово *мужчина* — лексические единицы, имеющие положительную коннотацию. Это свидетельствует о том, что в русской языковой картине мира образ мужчины наделен прежде всего положительными чертами. Подобные, т. е. связанные с мелиоративной коннотацией, определения мужчины использованы и в качестве иллюстративного материала в БТСРЯ: «высокий, красивый, молодой мужчина».

При этом представление о мужчине в русском языке тесно связано с понятием «семья». Такой традиционный взгляд находит отражение, например, в толковании слова *муж*, представленном в словаре В. И. Даля: «муж — семьянин». И в современной языковой картине мужчина-муж наделяется в целом положительными качествами. Хотя РАС на стимул *мужчина* приводит лишь единичную реакцию *семьянин*, список реакций на стимул *муж* открывается такими словами, как *верный* (29), *любимый* (27), *хороший* (20), *любящий* (14), *мужчина* (13), *мой* (11).

Стоит отметить, что подобный положительный образ мужчины характерен не только для русского языка и традиционной культуры, но и для множества других. Одно из наиболее репрезентативных по охвату культур исследований гендерных стереотипов, в котором участвовали мужчины и женщины студенческого возраста из 25 стран, было проведено Дж. Вильямсом и Д. Бестом в 1990 году (см: [Берн 2001]).

В ходе исследования был получен список качеств, ассоциируемых исключительно с мужчинами: *агрессивный* (в 24 странах), *активный* (23), *амбициозный* (22), *бесстрастный* (20), *властный* (24), *громкий* (21), *грубый* (23), *дерзкий* (24), *доминирующий* (25), *жестокий* (21), *жестокосердный* (21), *заносчивый* (20), *изобретательный* (22), *инициативный* (21), *искусный* (19), *крепкий* (24), *ленивый* (21), *логичный* (22), *мудрый* (23), *мужественный* (25), *напористый* (20), *недобрый* (19), *независимый* (25), *неорганизованный* (21), *неосторожный* (20), *неотесанный* (21), *несносный* (19), *неумолимый* (24), *неэмоциональный* (23), *прогрессивный* (20), *рациональный* (20), *реалистичный* (20), *самоуверенный* (21), *серьезный* (20), *сильный* (25), *склонный к риску* (25), *суровый* (23), *трезвомыслящий* (21), *убедительный* (25), *уверенный* (19), *хвастливый* (19), *храбрый* (23), *целеустремленный* (21), *шутливый* (19), *эгоцентричный* (21), *энергичный* (22).

Как видим, большая часть качеств, отмеченных практически абсолютным большинством респондентов (индекс 25–23, выделены курсивом), характеризуют мужчину с положительной стороны. Эти данные подтверждают тот факт, что мужчины воспринимаются как властные, независимые натуры, одновременно наделенные такими положительными качествами, как активность, смелость, изобретательность, инициативность, ум и др. Опираясь на свойства, которые в ходе экспериментов были определены как маскулинные или феминные, современная социологическая наука реконструирует образы мужчин и женщин — типичных представителей той или иной нации. Приведем примеры образов среднестатистического американца и русского мужчины, полученных в ходе психологического ассоциативного эксперимента.

«В США типичная личность — это молодой человек, женатый, хорошо сложенный (“правильные” рост и вес), спортивный» (цит. по: [Лабковская 2000]). В данной характеристике отмечается тяга мужчины к занятиям спортом, внимание к внешнему облику. Этот образ — своего рода антипод образа типичного русского мужчины, полученного в ходе исследования среди студентов СПбГУ в 1998 году. По их мнению, типичный россиянин — это «мужчина в возрасте тридцати пяти лет, среднего роста, с русыми волосами, сероглазый, полноватый, непричесанный, плохо следит за собой. Он боится лишиться работы, испытывает катастрофическую нехватку денег, постоянно куда-то спешит. Женат, имеет двоих детей, будущим которых очень обеспокоен. “Заеден” бытом. Мало

смыслит в “практической жизни”, ждет, когда все “само собой образуется”, трудно адаптируется к “новым жизненным условиям”, не знает, что предпринять, чтобы вырваться из жизненных проблем. Любит выпить, курит, не занимается спортом, в свободное время смотрит телевизор, любит отмечать праздники. Кроме газет ничего не читает. Добрый, гостеприимный, отзывчивый» [Лабковская 2000: 16, 17].

Нетрудно заметить, что в этом образе усредненного россиянина отсутствуют черты сильного, мужественного и твердого мужчины. Те качества, которые, по данным социологических и психологических исследований, считаются истинно мужскими и соответствуют, например, образу среднестатистического американца, оказываются не релевантными при описании россиянина.

При этом образ мужчины, реконструируемый по материалам русских словарей, отличен от образа, представленного в ходе социо- и психологических исследований. По-видимому, это связано с тем, что словарь фиксирует традиционную картину мира, складывавшуюся на протяжении нескольких столетий, в то время как данные полевых экспериментов отражают современную действительность.

Материалом нашего исследования послужили статьи журнала «Cosmopolitan» за 2001 год (№ 1–12), из которых была сделана сплошная выборка контекстов употребления номинаций представителей мужского пола. Анализ публикаций позволяет утверждать, что большая часть материалов журнала посвящена проблеме отношений между мужчинами и женщинами (42,26 % статей).

Вполне естественно, что авторы статей пытаются «сконструировать» собственный образ мужчины в стиле *Cosmo*, который соответствовал бы современной молодой женщине — женщине в стиле *Cosmo*. По данным «Cosmopolitan» (1995. № 5), читательница журнала — это женщина 15–24 лет, с высшим (59 % читательниц) или средним образованием (36,4 %), замужняя или состоящая в гражданском браке (55,8 %), имеющая детей (52 %), успешно реализующая себя на работе (54,6 %). Мужчина в представлении такой женщины должен быть «щедрым, добрым, надежным, сообразительным, сильным, аккуратным, ответственным, трудолюбивым, внимательным» (2001. № 3).

В другом описании идеального мужчины журнал предлагает следующие характеристики: «Эти мужчины следят за собой, занимаются спортом, загорают на море, а не в солярии» (2001. № 8).

Примечательно, что «идеальный» тип мужчины, описываемый в этой статье, близок к типу описанного выше среднего американца.

С марта 2001 года в «Cosmopolitan» появилась новая рубрика «Мужчина в стиле Cosmo»: ежемесячно выбирается «идеальный» мужчина, пользующийся популярностью среди женщин. Авторы журнала выделили черты, присущие такого рода избранникам: «Прежде всего, он хорош собой, талантлив, умен, а главное, не перестает удивлять нас, Cosmo-девушек» (2001. № 3). Героями этой рубрики в разное время становились: принц Уильям, актеры Джуд Лоу, Бенджамин Аффлек, Джерад Лето, Бенисио Дель Торо, Эдвард Бернс. Обратим внимание на то, что «мужчинами в стиле Cosmo» были названы только зарубежные «звезды», среди которых нет ни одного россиянина. Это еще раз доказывает, что образ русского мужчины не соответствует образу идеального мужчины «Cosmopolitan». Попутно отметим, что для русских версий интернациональных журналов для мужчин, таких как «Men's Health», «FHM», «Playboy» и др., характерна противоположная тенденция — «девушками номера» и объектами пристального внимания журналистов становятся прежде всего знаменитые россиянки, а не иностранки.

Не останавливаясь подробнее на анализе идеального, по мнению редакции, мужчины, отметим лишь, что сам репертуар мужских характеров, представленных на страницах «Cosmopolitan», не так уж велик. Попытка систематизировать основные типы особей мужского пола, вызывающих интерес читательниц журнала, приводит к выделению четырех основных ипостасей: деловой партнер, сексуальный партнер, абстрактный мужчина и, наконец, семьянин.

В традиционном представлении русского человека мужчина-*семьянин* обладает следующими качествами, необходимыми для семейной жизни: трудолюбие, доброта, надежность, хозяйственность, самостоятельность. Так, например, в БТСРЯ в качестве иллюстративного материала к слову *семьянин* представлены прилагательные *хороший, примерный*; РАС дает реакцию *семьянин* на стимул *экономный*.

Само слово *семьянин* в современном русском языке имеет следующие значения: 'человек, обладающий качествами, необходимыми для семейной жизни', 'человек, имеющий семью', а также 'глава семьи' [СОШ 1999]. Однако в «Cosmopolitan» слово *семьянин* почти всегда используется во втором значении и никогда —

в третьем. Потенциальный мужчина-семьянин (1-е знач.), обладатель неких положительных качеств, в «Cosmopolitan» характеризуется, например, следующим образом: «прогрессивный муж, который не считает поход в часовую мастерскую сугубо женским делом» (2001. № 3). При этом подобный мужчина наделен умом, так как «разбирается в диодах и электродах» (Там же). Для того чтобы подчеркнуть высокий уровень интеллекта семьянина в стиле *Cosmo*, используются термины *диод* и *электрод*. Отметим интересный факт: эти слова не только не являются в современном языке частотными (по данным соответствующих словарей), но и, наоборот, уходят из языка. То ли использование физико-технических терминов призвано показать высокий IQ автора статьи и читательниц журнала, то ли в данном пассаже отражен иронический взгляд на семейного мужчину.

Семьянин как ‘человек, имеющий семью’ также становится объектом внимания в «Cosmopolitan», но в большинстве случаев такой мужчина получает негативную оценку. Автор одной из статей описывает этот тип так: «Женившись, мужчины начинают вести оседлый образ жизни и интересоваться только тем, что сегодня на ужин, где газета и осталось ли пиво в холодильнике» (2001. № 5). Здесь семьянин типологизирует целый класс представителей мужского пола, при этом в качестве основной характеристики журналистка отмечает их «оседлый образ жизни» (отметим исключительно богатое по своему ассоциативному потенциалу использование термина). Быть может, негативная оценка, которую получает образ семьянина со стороны женщины *Cosmo*, свидетельствует о том, что авторский коллектив состоит исключительно из женщин, разочаровавшихся благодаря личному семейному опыту или принципиально отрицающих идею семьи? По-видимому, причина кроется в самой концепции журнала. Женщина в стиле *Cosmo*, умная, интеллигентная, уверенная в себе, лидер по натуре, не может быть чьей-то спутницей вообще, а тем более обычного русского (пусть и женатого) мужчины.

Такая женщина сама, а уж никак не мужчина-семьянин, становится главой семьи. Показательно описание в качестве образцовой одной из голливудских супружеских пар: «У нее (Дженифер Анистон. — В. А.) в мужьях самый сексуальный и высокооплачиваемый актер мира (Брэд Питт. — В. А.)» (2001. № 11). Ключевой для воссоздания концепции журнала становится устаревшая конструкция *в мужьях* (кстати, у В. И. Даля: «Не мужъ въ мужахъ,

коли жена владеть»). Попутно отметим ассоциативную актуализацию культурной пресуппозиции образованного читателя: «в мужьях всего дороже». Невольная параллель между семьей Анис-тон — Питт и четой Горичей из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» вызывает ставший хрестоматийным образ «муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей...». Без сомнения, можно утверждать, что образец семейных отношений, обрисованных в комедии, как нельзя лучше соответствует представлению о семье в стиле *Cosmo*, которое формируется в сознании читательниц журнала.

Reductio ad absurdum этой точки зрения — образчик советов от редколлегии журнала: «Выбор домашнего животного — дело более ответственное, чем выбор домашнего мужчины. Потому что с мужчиной, если у вас что-то не заладится, можно и распрощаться» (2001. № 9). Мужчина-семьянин определяется как *домашний мужчина*. В высказывании обыгрываются различные значения слова *домашний*, которое в современном русском языке имеет следующие лексико-семантические варианты: 'относящийся к дому, к семье, частному быту', 'прирученный, не дикий'. Хотя использование лексемы *домашний* в первом значении применительно к человеку допустимо (об этом свидетельствует иллюстративный материал БТСРЯ: «домашняя хозяйка», «домашняя работница», «домашний ребенок»), однако словосочетание *домашний мужчина* в системе языка не представлено и, более того, ей противоречит.

Впрочем, окказиональное сочетание *домашний мужчина* намечает и некоторые другие линии ассоциирования. Так, РАС фиксирует на стимул *домашний* реакции *доктор, адвокат*. В данном словосочетании *домашний мужчина* может рассматриваться как наименование чего-то, что по природе своей похоже на профессиональный тип деятельности. Среди реакций на стимул *домашний* приводятся также реакции *животное, котенок, лошадь, таракан*. Слово *мужчина* через ассоциативные связи оказывается и в этом ряду — таким образом программируется намеренное снижение образа мужчины.

Итак, в каком бы значении слово *домашний* по отношению к мужчине ни использовалось, он получает негативную либо ироническую оценку, а приведенная цитата свидетельствует о несерьезном, легкомысленном отношении женщины в стиле *Cosmo* к созданию семьи: выбор домашнего животного оказывается более ответственным делом, чем выбор спутника жизни.

Наряду с образом семьянина на страницах журнала появляется и образ «бывшего мужа» (2001. № 11). В журнале отмечаются возможные мотивы разрыва женщины с ее супругом. Практически всегда причиной развода становятся какие-то изъяны, несовершенства мужской половины, но инициатором расставания выступает женщина. Например: «К разводу с мужем привело его увлечение подводной охотой» (2001. № 11) или «За последнее время она начала всерьез опасаться, как бы ее благоверный не спился посредством собственного хобби» (2001. № 11). В последнем контексте представлено характерное для стиля «Cosmopolitan» смешение стилистически неоднородной лексики с различными целями: интимизация повествования, приближение искусственно создаваемого дискурса журналисток к реальному речевому поведению читательниц и т. д.

Итак, анализ лексических единиц, используемых для описания и характеристики семьянина, позволяет сделать вывод, что в большинстве контекстов создается негативный образ представителя данного типа мужчины. Созданию такого эффекта способствует употребление лексических единиц не в прямом, а в переносном значении, использование разговорных и просторечных слов, устаревших конструкций, которые придают высказываниям эмоциональную и оценочную окрашенность. Все вышесказанное свидетельствует о том, что женщина в стиле *Cosmo* не безразлична к мужчине-семьянину, однако в целом не представляет себе образ «идеального» отца семейства.

В связи с этим на страницах журнала периодически возникает образ мужчин как класса или некоей абстрактной общности, части социума. В рамках данного типа представлены мужчины, обладающие свойствами и признаками, общими для всех представителей этого родового единства. Такие образы на страницах журнала сопровождаются как отрицательными, так и положительными коннотациями. Примечательно, что негативная оценка общности мужчин превалирует. Например, в одной из статей отмечается, что «для мужчины жизненно важно доверять партнерше, быть в ней уверенным» (2001. № 1). В других статьях к слову *мужчины* в качестве синонимической замены предлагаются выражения «наши косноязычные друзья» (2001. № 3) или «народ неуверенный» (2001. № 8).

Для «Cosmopolitan» типично эксплицированное сопоставление общностей женщин и мужчин, причем сравнение всегда оказыва-

ется в пользу последних. Сопоставляются увлечения, хобби, занятия представителей обоих полов. Например, «женщины намного спокойнее относятся к компьютерным играм, чем мужчины. У них больше повседневных забот и проблем, которые требуют немедленного решения. У мужчин — больше свободного времени. Раньше они использовали его для чтения газет на диване или просмотра футбола по телевизору. Теперь посвящают его компьютерным играм» (2001. № 3). На страницах журнала постоянно появляется образ деловой, занятой женщины, погруженной в работу. Ему противопоставлен образ мужчины, пребывающего в бездействии и праздности. Причем коллективом журнала подчеркивается, что данные особенности мужчин и женщин находятся вне времени и неизменны. Разделение мужских и женских ролей, представленное в «Cosmopolitan», в структурно-функциональном плане противоречит традиционной точке зрения, согласно которой мужской стиль жизни является «инструментальным», направленным на решение предметных задач, а женский — «эмоционально-экспрессивным» [Кон 2001].

Более того, на страницах «Cosmopolitan» провозглашаются истины, которые напрямую противоречат гендерным стереотипам, представленным как в языковой картине русского человека, так и в традиционных типах культуры: «мужчины нуждаются в поддержке и воодушевлении» (2001. № 8).

Женщина «Cosmopolitan» самодостаточна, способна отказаться от совместного существования с мужчинами, однако мужчины становятся излюбленным объектом разговора. В журнале находят отражение концепции феминистского движения, направленные на устранение в сознании женщины представления о женской ущербности, а также связанные с утверждением женского лидерства в различных сферах деятельности, как профессиональной, так и бытовой. Этим обусловлено появление образа деловой удачливой женщины — лидера в семье и на работе.

Зарубежная основа журнала оказала влияние на формирование представленного в нем особого образа мужчины. В мужчине журнала «Cosmopolitan» сочетаются черты, присущие американцу и россиянину. В характеристиках положительных мужчин отмечается хорошее материальное положение, склонность к занятиям спортом и внимание к своему внешнему облику. Это, как свидетельствуют данные социологических и психологических исследований, свойственно типичному американцу и совсем не свой-

ственно россиянину. Однако психологические особенности мужчины журнала «Cosmopolitan» обусловлены качествами, присущими среднестатистическому русскому мужчине, — среди них безынициативность, апатичность, пассивность. Круг увлечений мужчины, изображенного на страницах журнала, тот же, что и у типичного россиянина: просмотр телевизионных программ и чтение газет.

Итак, в целом следует признать, что насаждаемый журналом «Cosmopolitan» взгляд на жизнь, в том числе и на мужчин как важнейшую составляющую жизни женщины, вступает в определенное противоречие с теми культурными стереотипами, которые в ходе истории сформировались в сознании русского человека и получили свое отражение в русском языке.

Литература

Берн Ш. Гендерная психология. СПб., 2001.

Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999.

Кон И. С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введение в гендерные исследования. Харьков; Санкт-Петербург, 2001. Ч. 1.

Лабковская Е. Б. Юридическая психология: теории девиантного поведения. СПб., 2000.

Словари

БТСРЯ — Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2001.

МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981–1984. Т. 4.

РАС — *Караулов Ю. Н и др.* Русский ассоциативный словарь. М., 1994–1998. Ч. I, кн. 2.

СОШ — *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1999.

Л. С. Кислова
Портрет неизвестной
в интерьере «казенного дома»:
семейные хроники на ТВ

Теленовеллы — феноменальное достижение массовой культуры, органично вписавшееся в культурологическое поле нового времени, — сегодня претендуют на доминантную роль в отечественной телеиндустрии. Успешно стартовав на российском телевидении в 1992 году, бесконечный «мыльный» марафон заполняет собой частично пустующее телепространство и без особого труда завоевывает телерынок. В настоящее время телевидение активно демонстрирует многочисленные российские телесериалы, рейтинг которых за последние годы значительно возрос. Предельно жесткие многосерийные фильмы, в которых присутствует обязательная детективная интрига, по степени востребованности не уступают лучшим европейским и латиноамериканским «мыльным операм», чье лидерство долгое время считалось неоспоримым. Каждый телевизионный канал уже выпустил в эфир ряд телесериалов, снискавших заслуженное признание многочисленной аудитории. В российском телепрокате преобладают детективные сериалы («Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Марсейка, 12», «Марш Турецкого», «Бандитский Петербург», «Охота на Золушку», «На углу у Патриарших», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Каменская», «Сыщики», «Гражданин начальник», «Москва. Центральный округ»), а также регулярно демонстрируются психологические драмы и мелодрамы («Граница. Таежный роман», «Самозванцы», «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Салон

красоты», «Воровка», «Трое против всех», «Московские окна», «Другая жизнь», «Две судьбы», «Сестры», «Ундина»). Достаточно активно создатели российских теленовелл осваивают и жанр мистического триллера («День рождения Буржуя» (Россия-Украина), «Тайный знак», «Ростов-папа», «Черный ворон», «Шатун»). Чрезвычайно востребованы сегодня и сериалы о настоящих мужчинах, поскольку образ мужественного героя, связанного с силовыми структурами и поминутно рискующего жизнью, приобретает отчетливые черты своеобразного бренда («Спецназ», «Мужская работа», «Господа офицеры», «Кодекс чести», «Сармат»).

Массовая культура формирует те или иные стереотипы восприятия действительности и задает ряд моделей поведения, толерантного и интолерантного отношения к жизни. Произведения массовой культуры зачастую являются для потребителя неким суррогатом жизни, а потому стереотипы, предлагаемые, например, телесериалами, обогащают жизненный опыт телезрителей посредством демонстрации поведенческих критериев и характерных конфликтных ситуаций. Телесериалы в силу своих специфических свойств воспроизводят клишированные образы и типичные модели поведения. Увиденное в телесериале воспринимается зрителями, как правило, достаточно буквально. Но российские теленовеллы являются более гибкими, и демонстрируемые ими характеры универсальнее, нежели, например, латиноамериканские, а ситуации, в которых оказываются те или иные персонажи, — более оправданны и реалистичны. «Сегодня совершается кардинальный переворот в восприятии ТВ массовым зрителем. Его внимание привлекает уже не программа вечера, а отдельная передача, о которой имеется информация. Меняется и сам характер программ художественного вещания. Все чаще встречается переплетение театральности и жизни, прямое вторжение искусства в жизнь, сотворение его непосредственно из материала самой жизни. Все большее место занимает на экране *театр спровоцированной ситуации*» [Петров 1999: 61]. Именно спровоцированная ситуация, в конечном итоге, является основой любой современной российской теленовеллы и сближает телесериалы с суперпопулярными в настоящее время реалити-шоу. В них моделируются те или иные сюжетные ходы, провоцируются конфликтные ситуации, выстраивается достаточно жесткая схема взаимоотношений внутри игрового поля, демонстрируются разнообразные характерные типы, т. е. воссоздаются различные вариации жизненных сценариев.

Практически все современные российские теленовеллы отличаются совершенно отчетливым урбанистическим колоритом. События разворачиваются в основном в пространстве города. Сельская действительность представлена лишь в сериале «Участок». Связь большинства российских теленовелл с определенным (реальным или абстрактным) топосом создает некую иллюзию замкнутого пространства. Город, заявленный в том или ином российском телесериале, может быть как столичным, так и провинциальным, однако жесткий ритм столицы и обманчивая медлительность провинции одинаково безжалостны по отношению к персонажам. Конфликтная ситуация, как правило, возникает в самом начале и в основном исчерпывается в финале, однако остается ощущение некоторой искусственности развязки и определенной непроявленности финальных характеристик персонажей. Но говорить об образе города как о достоверном, узнаваемом и соотносимом с реальной действительностью не представляется возможным, поскольку город во многих отечественных теленовеллах условен, лишен индивидуальности и явлен только как некая форма организации пространства.

Телесериалы возвращают телезрителей (особенно телезрительниц, поскольку женщина традиционно считается хранительницей домашнего очага) к основанному на «коллективном бессознательном» и восходящему еще ко времени «младенчества человечества» интуитивному стремлению почувствовать себя частью племени, рода, семьи, частью некоего коллектива, внутри которого культивируются взаимоотношения, основанные как на кровном родстве, так и на духовной близости. Современная теленовелла, активно пропагандируя ключевые матримониальные ценности, продолжает отстаивать идею незыблемости семейных устоев. Отечественное телевидение в телесезоне 2001–2002 годов предложило практически одновременно несколько телесериалов, объединенных определенной матримониальной идеей: «Семейные тайны» (режиссер Елена Цыплакова), «Клетка» (режиссер Сергей Белошников), «Нина» (режиссеры Владимир Краснопольский, Валерий Усков). Все они предназначены для семейного просмотра, о чем свидетельствует время показа, и посвящены именно проблемам семьи, причем семьи городской. Главные героини названных сериалов — Татьяна Ермакова («Семейные тайны»), Анастасия Арсентьева («Клетка»), Нина Силакова («Нина») — проходят один и тот же путь страданий: они попадают в тюрьму, а затем в психи-

атрическую клинику. Татьяна (Оксана Мысина) становится жертвой интриг Максима Савина (Андрей Панин) — компаньона ее отца и управляющего банком Ермаковых. Нина (Светлана Чуйкина) попадает в «обезьянник» в результате покушения на журналиста Ивана Бобровского (Виктор Раков), предавшего ее мужа — киллера Сашу Ветра (Николай Добрынин). Настя (Ирина Апексимова) оказывается в камере предварительного заключения по ложному обвинению в хранении наркотических веществ.

Став свидетельницей гибели мужа и сына, Настя мечтает наказать виновного в смерти своих близких и восстановить справедливость. Она воспринимает отправку в СИЗО как своего рода жест судьбы, поскольку именно там находится ее злейший враг, женщина, по вине которой в автокатастрофе погибли муж и сын Насти, супруга известного коммерсанта Владимира Шалевича (Лев Прыгунов) — Елена Шалевич (Татьяна Лесневская). Именно ей клянется отомстить отчаявшаяся Настя. После тюрьмы следующим испытанием для каждой героини становится психиатрическая клиника. Татьяна оказывается там по вине родного брата Кирилла (Николай Добрынин), претендующего на долю сестры в семейном бизнесе и потому стремящегося объявить Татьяну недееспособной (помещение сестры в клинику для душевнобольных становится апогеем борьбы Кирилла за состояние семьи); Нина попадает в «психушку» в результате хлопот Ивана Бобровского (таким образом ей «смягчают» наказание), а Настя, симулируя безумие, отправляется по следу Елены Шалевич, которую направляют в психиатрическую клинику после неудачной попытки самоубийства. С беспощадным натурализмом в названных сериалах демонстрируются особенности пребывания людей в тюрьме и «психушке»; наиболее красочно живописуются жестокие будни в сериале «Клетка», где действие почти постоянно происходит в стенах исправительных и медицинских учреждений. Однако все эти «фильмы ужасов» заканчиваются, как ни удивительно, счастливо. Татьяна Ермакова возвращается в семью, прощает брата, ослепшего в результате покушения на его жизнь, и помогает чудесно воскресшему отцу (Юрий Беляев) разоблачить Максима Савина. Нина встречает свою судьбу — банкира Михаила Колесника (Александр Балуев), а Настя Арсентьева после гибели Елены Шалевич, ставшей для Насти по-настоящему близким человеком, обретает новую семью. Рождение этой семьи происходит во время побега Насти из «психушки», который организует Влади-

мир Шалевич. Именно Владимир Шалевич — человек, явившийся косвенным виновником многих несчастий Насти, становится и ее единственным другом. Их близость рождается, вопреки всем законам логики, из взаимной ненависти. Этих людей объединяют могилы близких, общее прошлое и груз кровавых преступлений: Настя, потрясенная смертью Лены, в состоянии аффекта убивает рецидивистку Матильду, а Владимир уничтожает главного врача психиатрической клиники Анатолия Гамалея (Андрей Руденский), маниакально третировавшего Настю и виновного в смерти Лены. Гамалей спровоцировал ссору Матильды и Насти, в результате которой и погибла Лена. Именно после этого эпизода психиатру удастся окончательно сломить сопротивление Насти.

Каждая женщина (Татьяна, Настя, Нина) в конечном итоге становится жертвой матримониальных привязанностей. Нина Силакова чрезвычайно зависит от мужа, со «смертью» которого жизнь как будто теряет для нее смысл. Нина жаждет возмездия и решается отомстить Ивану Бобровскому, причастному к «гибели» Саши Ветра. Настя, девочка из детского дома, которой посчастливилось обрести собственную семью, искренне считает, что семья — это самая большая удача в ее жизни и, лишившись мужа и сына, готова идти по следу врага до конца. После гибели близких Настя перестает ощущать себя живой, а потому собственная судьба заботит ее значительно меньше, нежели судьба Елены Шалевич. Из семейного рая героиня российского сериала, как правило, попадает в настоящий ад, а затем возвращается в совершенно другой рай. Жестокая мораль современной теленовеллы убеждает в том, что семья только тогда представляет какую-либо ценность, когда достается с трудом и воспринимается как награда, а позади остаются испытания, могилы, «психушки», тюрьмы, насилие и страх. Современный российский телесериал предлагает новую модель семьи — объединение людей, созданное на руинах бывшего счастья, людей, прошедших сквозь бесконечные лабиринты испытаний. Героиня современной российской теленовеллы, вынужденная в ситуации абсолютной несвободы подчиняться жестоким, бесчеловечным законам, начинает осознавать, насколько иллюзорны ее представления о счастье, сформировавшиеся еще в другой, свободной жизни. Утрата иллюзий влечет за собой тотальную переоценку ценностей, и женщина, чье восприятие действительности после перенесенного шока радикально меняется, пред-

почитает вновь обретенную свободу любым матримониальным обязательствам.

В финале каждого фильма героиня словно перерождается, выбирая милосердие и предпочитая прощение возмездью. Татьяна Ермакова прощает предавшего ее брата и наконец осознает, насколько сильно привязана к отцу. Настя прощает Елену Шалевич и понимает, что Саня и Ванечка стали жертвами несчастного случая и рокового стечения обстоятельств. Она прощает и адвоката Лены Шалевич (Николай Чиндяйкин), по вине которого оказалась в следственном изоляторе. Нина готова забыть все пережитое и воспринимает встречу с Колесником как незаслуженное счастье.

Ожидание принца затягивается, однако после всех перенесенных испытаний каждая героиня наконец находит своего настоящего возлюбленного. Настя встречает Владимира Шалевича, Нина — Михаила Колесника, напоминающего ожившую мечту каждой женщины, Татьяна хотя и разочаровывается в своем принце — Руслане Дееве (Сергей Чонишвили), однако обретает долгожданного ребенка. Награда сменяет наказание, поскольку злоключения Татьяны, Насти и Нины могут быть квалифицированы именно как наказание. Настя, жертвуя возможной карьерой (она отказывается заканчивать медицинский институт), полностью посвящает себя семье. Нина — преуспевающая, суперпопулярная фотомодель — готова незамедлительно отречься от блестящего будущего ради призрачного семейного счастья. Она предпочитает не задавать вопросов, следовать жестким указаниям супруга и даже не пытается противостоять его диктату. Татьяна согласна предать интересы семьи ради своего нового увлечения — Руслана Деева. Она не старается защитить Катю, жену отца, демонстрирует полное равнодушие к судьбе своего младшего брата, сына Кати, ее совершенно не волнуют и проблемы другого брата — Славы (Егор Бероев), явно нуждающегося в помощи. Татьяна полностью погружается в водоворот новых для нее ощущений и, не задумываясь, легко разрушает семью Руслана Деева. Именно потому ее страдания в определенной степени также могут быть расценены как расплата за грехи. Однако испытания, через которые проходят Татьяна, Настя и Нина, слишком жестоки и вряд ли заслужены ими. Настя Арсентьева оказывается жертвой взбесившейся уголовницы Матильды и жестокого садиста — главврача клиники Анатолия Гамалея; Татьяна Ермакова может лишиться долгожданного ребенка, поскольку в психиатрической клинике ей собира-

ются насильно прервать беременность, а привыкшая к восхищению респектабельных поклонников и блеску светской жизни королева подиума Нина Силакова вынуждена мириться с особенностями поведения сумасшедших, противостоять жестокости коррумпированных милиционеров и выносить ужасы пребывания в «обезьяннике». Каждая женщина, таким образом, наказана за слабость, эгоизм и слишком сильную любовь (другое название мелодрамы «Нина» — «Расплата за любовь»). Героине современного российского телесериала приходится постоянно демонстрировать выносливость и стойкость, а сила духа хранительницы очага на самом деле безгранична, поскольку выдержать предлагаемые ей испытания практически невозможно.

Героиня российской теленовеллы, оказавшись в «казенном доме» и впервые лишившись поддержки семьи, вынуждена начать жить заново в совершенно ином, чуждом мире. Ей приходится самостоятельно принимать не всегда простые решения и самой отвечать за свои поступки. Оказавшись в одиночестве, оторвавшись от любивших и опекавших ее людей, она, возможно, впервые ощущает собственную значимость и, как ни странно, начинают получать удовольствие от жизни, наполненной событиями и приключениями. И хотя эти приключения опасны для жизни, а тотальное насилие, царящее в исправительных учреждениях, может спровоцировать безумие, героиня российской теленовеллы, тем не менее, наконец начинает жить в реальной действительности, которая оказывается более зримой, яркой и настоящей, нежели идеальная реальность семейного рая, который она вынуждена была покинуть.

Тюрьма и больница — это тот мир, где человек обязан бороться за собственную жизнь и где он впервые оказывается в одиночестве, поскольку временные «семьи», создающиеся в неволе, являются лишь суррогатом истинной семьи. Нина, Настя и Татьяна, оставшись в одиночестве и, безусловно, стремясь выжить, совершают опасные, рискованные поступки, которые, тем не менее, кажутся им единственно верными. В сериале «Семейные тайны» героиня демонстрирует силу характера еще и потому, что ответственна за жизнь своего еще не родившегося ребенка и одержима страхом за его судьбу. «Казенный дом» становится своеобразной школой взросления для Насти, Нины и Татьяны, поскольку именно там они впервые обретают независимость, учатся самостоятельно мыслить и решительно действовать. Таким обра-

зом, российский сериал, героиня которого словно участвует в игре на выживание, имеет достаточно много общего с реалити-шоу. Именно страшная реальность тюрьмы и «психушки» способствует обретению инфантильной женщиной уверенности в себе, а потому благополучие и свобода, существовавшие в прошлой жизни, оказываются лишь номинальными, в то время как несвобода «казенного дома» на самом деле гарантирует некую возможность выбора. Подобного рода эксперимент в жизни каждой героини сопряжен с нечеловеческими испытаниями, однако этот эксперимент способствует превращению несамостоятельного, слабого существа в сильную, взрослую личность. Героиня российской теленовеллы, бывшая когда-то нежной и зависимой, приобретает черты суперженщины, до недавнего времени свойственные лишь персонажам западных триллеров. Поступки, совершаемые Настей, Ниной и Татьяной, свидетельствуют о новом восприятии ими реальности и отличаются абсолютным бесстрашием: хитроумный план Насти, симуляция ею безумия, попытка дерзкого побега Татьяны из клиники, уверенное поведение Нины на допросах. Экстремальные ситуации, в которые попадает та или иная героиня, — достаточно распространенный прием и для иностранных телесериалов, однако яркие натурные съемки, вызывающий антураж СИЗО, гнетущие интерьеры «психушек» и живой звук (иногда теленовеллы, как известно, строятся на искусственном озвучивании-дублировании) — все эти составляющие придают российской теленовелле особую естественность, рожают иллюзию жизненности.

Любой телесериал — это своего рода симбиоз страстей, и потому счастливый финал — как правило, определенная демонстрация абсолютной победы героя, который находит выход даже из самой, на первый взгляд, безнадежной ситуации. Но финал теленовеллы, подобно исходу реалити-шоу, в процессе просмотра просчитывается не всегда.

Героини российских телесериалов («Семейные тайны», «Клетка», «Нина») обретают покой только после свершения возмездия, однако настоящее освобождение возможно лишь в новой семье, в которой каждой из них уготована уже совсем другая, доминантная роль. Женщина перестает ощущать себя пассивной стороной и наконец осознает свое истинное предназначение.

Библейский сюжет о Еве, изгнанной из рая и попавшей в ад, переосмыслиется и воссоздается уже в новой редакции. Ева возвращается в рай, но с другим Адамом, она узнает истинную лю-

бовь, новую жизнь, обретает иную семью и абсолютное счастье, которое воспринимается ею как награда за пережитые страдания. Такова новая версия (телеверсия) изгнания из рая и возвращения в рай героини, прошедшей сквозь муки ада. Как правило, виновником всех бед женщины в современной российской теленовелле оказывается мужчина, он же является и ее спасителем. Семья Насти Арсентьевой погибла по вине Елены Шалевич, но депрессия Лены — результат ее взаимоотношений с мужем Владимиром Шалевичем. В тюрьму Настя попадает из-за провокации, устроенной адвокатом Шалевичей. Однако именно Владимир и его адвокат организуют ее побег из психиатрической клиники и переправляют Настю за границу. Татьяна оказывается в камере по вине Савина, в «психушке» — в результате интриг брата, которого невольно поддерживает ее бывший возлюбленный Руслан Деев. А в роли спасителя неожиданно выступает отец Татьяны — президент банка «Сервис» Александр Николаевич Ермаков, долгое время сам находившийся на грани жизни и смерти. Нина становится новой жертвой журналиста Ивана Бобровского и собственного мужа, а возвращает ее к жизни, помогает вновь обрести самоуважение и уверенность в себе банкир Михаил Колесник. Таким образом, у каждой Евы появляются свой змей-искуситель и собственный ангел-хранитель.

Во всех названных телесериалах невольное «преступление» героини обязательно сопровождается ужасным, бесчеловечным наказанием, однако жестокость наказания ярче расцветивает необыкновенные краски нового рая, и Татьяна, Настя и Нина, до конца пережив адские муки, наконец обретают способность чувствовать истинный вкус счастья.

Счастливый финал, новая семья, полное обновление, явленное как результат пережитых героями испытаний, — это своего рода «особые приметы» любой классической «мыльной оперы». Однако современная российская теленовелла представляет собой странный симбиоз пронзительного «тяжелого» натурализма и классического «мыльного» традиционализма: с одной стороны, во многих современных многосерийных фильмах присутствуют романтическая любовь, поверженные враги, надежда на безоблачное счастье, ожидающее впереди одержавших победу главных героев, с другой стороны, телезрители потрясенно наблюдают явленные на экране ужасы «психушек» и тюрем, инициаторами которых выступают «злодеи» в милицейской форме и «убийцы» в белых

халатах. Таким образом, законы жанра не нарушаются, но мелодраматический конфликт, развивающийся на фоне реального криминального кошмара постсоветской действительности, приобретает совершенно иные очертания. Мелодрама перестает быть мелодрамой и, раздвигая границы жанра, превращается в криминальную драму. Отечественный телезритель, традиционно не подготовленный к счастливому финалу, как правило, ожидает трагической развязки, а потому *happy end*, являющийся совершенно чуждым элементом в сюжетной структуре произведения, странно «выпадающий» из общей картины и противоречащий концепции сериала, вызывает у зрителя недоумение, недоверие и восхищение одновременно. Высокая трагедия, обретая черты традиционной мелодрамы, превращается едва ли не в фарс, поскольку грань между реальными, действительными событиями и событиями идеальными, фантастическими размывается и герой легко может превратиться в антигероя. Процесс этот происходит подчеркнуто незаметно, поскольку граница между добром и злом, добродетелью и пороком постепенно стирается в сознании нового героя. Эта неизбежность органичного перехода персонажа из одного качества в другое сама по себе может стать предметом художественного осмысления. Активный герой современной теленовеллы постоянно совершает как поступки, оцениваемые положительно, так и поступки, которые производят противоположное впечатление. Таким образом, новейший российский сериал постепенно отказывается от свойственного классической мелодраме четкого деления на амплуа. Общеизвестно, что телесериалы в настоящее время выполняют функцию своеобразных антидепрессантов и нередко выводят телезрителя из различных стрессовых состояний, однако отечественная теленовелла скорее способна погрузить зрителя в состояние стресса, поскольку рассчитана на шоковый эффект. Современный отечественный телесериал, демонстрирующий, как правило, темные стороны человеческой натуры, синтезирует приметы нового времени (несбывшиеся надежды, обманутые ожидания, обесценивание как собственной, так и чужой жизни, оправдание греха и легализация порока) и компрометирующее «наследство» минувшей эпохи (абсолютное беззаконие, жуткие порядки, царящие в исправительных учреждениях, жестокая обыденность медицинских заведений, превращенных в тюрьмы). Подсознательный страх перед «психушкой» и тюрьмой, присутствующий в каждом советском (российском) человеке на уровне генетичес-

кой памяти, рождает полную иллюзию восприятия картин живой жизни во время просмотра современной отечественной теленовеллы. Таким образом, девальвируется главный принцип классической мелодрамы — нарочитая нереальность происходящего, а потому и судьба несчастной героини, женщины, преданной всеми вокруг и вынужденной в одиночку бороться с невзгодами, «прочитывается» вполне традиционно, в духе отечественной кинематографической и телевизионной «чернухи» периода смены общественных формаций рубежа 1980–1990-х годов. Но неожиданно счастливый финал возвращает телезрителя в реальность сегодняшнего дня, поскольку в телепроектах конца 80-х — начала 90-х счастливые развязки были исключением.

На рубеже 1960–1970-х годов кинематограф и телевидение начинают активно тиражировать тип жесткой, бескомпромиссной, уверенной в себе деловой женщины, воспринимающей личное счастье как явление естественное, органичное, но необязательное. Появление подобной героини спровоцировало своего рода революционную ситуацию в кинематографе. Уютную и послушную жену по призванию на экране сменила самостоятельная и самодостаточная женщина, предпочитающая успешную карьеру любым матримониальным обещаниям и намеренно дистанцирующаяся от сомнительных радостей совместного проживания и тепла семейного очага. Подобный тип героини являлся определяющим в отечественном кинематографе и телепроектах вплоть до конца 1980-х годов. Однако в начале XXI века семья вновь признается приоритетной формой существования, и потому современные телесериалы, активно пропагандирующие непреходящие семейные ценности, концептуально близки старым черно-белым советским фильмам. В новейшей теленовелле также преобладают персонажи, относящиеся к семье как к Абсолюту и квалифицирующие ее утрату как великую трагедию, однако испытания, через которые предлагается пройти главной героине отечественного телесериала, сегодня изощреннее и жестче, поскольку стремление защитить свой замок из песка отличается агрессивностью. Одинокая женщина в современных российских телепроектах вновь не имеет шансов быть счастливой, а профессиональная деятельность, заполняющая временной вакуум в ее жизни, немедленно теряет всю свою привлекательность, как только у героини появляется возможность создать семью.

Повсеместное разрушение семейных устоев и создание новых семейных объединений — одна из ключевых тем современной рос-

сийской теленовеллы. Объединяя известные классические сюжеты в единую систему, авторы сериалов создают удивительный, причудливый неомиф о семье, основу которого составляют мифологемы «творения» и «конца света». Феномен семьи является частью особой мифологизированной этики, которую человек чтит всегда и признает даже в эпоху всеобщего хаоса, а потому семья квалифицируется как неприкосновенное достояние человечества и ее роль в обществе по-прежнему остается незыблемой. Таким образом, миф о семье является обязательным компонентом художественной системы практически любой современной российской теленовеллы.

Телесериал — определенная культурная модель, трансформация и функционирование которой — результат особого отношения аудитории к телевидению: «Таково одно из природных свойств телевидения: человеку, уединившемуся в тепле домашнего очага, оно возвращает “мир судьбы”, но превращенный в собственную тень, а значит, дематериализованный и облегченный. Вместе с тем ТВ дает своему зрителю шанс властвования над дематериализованным и облегченным миром» [Михалкович 2000: 9–10].

Основная черта эстетики сериала, определенной формы вымысла, преобладающей в современном культурном пространстве, — повторяемость персонажей, сюжетных конструкций и соотносимость этих явлений с реальной картиной мира. Сериал, безусловно, ценен как феномен социально-психологический, и оглушительный успех «мыльных опер» объясняется тем, что с их появлением на экране многие телезрители получили возможность обрести некое подобие «живой жизни». Постоянная востребованность отечественных теленовелл является показателем неисчерпаемости жизненного материала, предлагаемого телевидением, поскольку действительность современной России продолжает порождать все новые и новые сюжеты, а событийный ряд в теленовеллах разворачивается на фоне все нарастающего конфликта: «...после какого-либо приключения герой сериала возвращается к тем же условиям существования, с которых началось его участие в приключении. Этой “натуральностью времени”, этими бытовыми ритмами повседневности сериал диаметрально противоположен перспективно-временным сокращениям информационной и других программ. Благодаря подобному контрасту — компенсаторному по своей сути — сериал так органично и прижился на телевидении» [Михалкович 2000: 21].

В российских сериалах следует отметить нетрадиционное для подобного телевизионного жанра сопоставление внешней линии действия и его внутреннего отражения. Наиболее значимыми оказываются не столько поступки как таковые, сколько сложные духовные процессы, приводящие к закономерным нравственным изменениям в сознании персонажей.

Телезрители, подражая героям теленовелл, пытаются выстраивать собственные поведенческие стратегии. С ними, разумеется, вряд ли произойдет все то, что случилось с героями, однако именно этот факт способен примирить человека с жестокостью увиденного. Телезрители, проходя путь страданий вместе с любимыми персонажами, приобретают некий альтернативный опыт, проживают необыкновенную виртуальную жизнь, временно избавляются от одиночества. Они испытывают полную гамму эмоций и получают разнообразные впечатления, наблюдая за приключениями телегероев. Но доминирующим в этой гамме является чувство уверенности в собственной безопасности, способствующее толерантному восприятию окружающей действительности.

Литература

Михалкович В. М. Время телевидения // Экранные искусства и литература. Телевизионный этап. М., 2000.

Петров Г. Н. Телевизионная драматургия: Проблемы журналистского мастерства и особенности творчества. СПб., 1999.

Т. А. Воронцова, Н. Ф. Кривова
**Милитарная лексика
в семейном дискурсе**

Семейный дискурс — это не только коммуникация внутри семьи, но и диалоги о семье. Военная лексика в семейном дискурсе присутствует и в речи мужчин, и в речи женщин. В нашем материале факты женской речи представлены шире, чем мужской, очевидно потому, что женщины гораздо чаще и больше говорят в семье и о семье.

Сбор фактического материала по данной проблеме представляет определенные сложности, поэтому мы сочли возможным привлечь для анализа материал современных художественных произведений. Это связано с двумя причинами. Во-первых, семейный дискурс в редких случаях становится достоянием стороннего наблюдателя, во-вторых, разговорная речь, используемая в бытовом дискурсе, как правило, не изобилует изобразительно-выразительными средствами, в составе которых может оказаться интересующая нас лексическая группа (метафоры, сравнения, фразеологические обороты). При этом отметим, что материал художественных произведений ни в коей мере не противоречит тому, что нам удалось обнаружить в реальной коммуникации.

Война, воевать, бой и т. п. — самые распространенные метафоры, используемые в мужской и женской речи для обозначения семейных конфликтов различного масштаба.

Диалог двух женщин:

— *Ты чем-то расстроена?*

— *Так, бои местного значения... С мужем опять отношения выясняли.*

Не менее употребителен в семейном дискурсе и глагол **командовать**. Этот глагол представлен и в мужской, и в женской речи.

В конфликтном диалоге глагол имеет отрицательную модальность.

— *Раскомандовался тут!*

— *Что ты мной командуешь?!*

— *Ну все, хватит мной командовать!*

Адресантами такого рода агрессивных высказываний могут выступать, во-первых, муж или жена (адресатом при этом является супруг или супруга), во-вторых, дети подросткового или юношеского возраста, т. е. претендующие на самостоятельность. Адресат, соответственно, — родители или один из родителей. В тех случаях, когда адресантами являются взрослые, реально самостоятельные дети, а адресатами — родители, глагол *командовать* выражает иронически-толерантное отношение к адресату.

— *Любишь ты, мам, покомандовать....*

— *Тебя, пап, хлебом не корми, дай покомандовать...*

Оставляя бабушке внуков:

— *Ладно, мам, командуй тут...*

Сравнение как солдат в нашем материале представлено исключительно в женской речи. Данное сравнение может актуализировать различные значения.

Во-первых, ‘человек, поставленный в жесткие регламентированные условия’, ‘дисциплинированный человек’. В этом значении данное сравнение может соотноситься с адресантом или с любым членом семьи.

1. Женщина — о себе: *«Мужу к восьми на работу, и я вместе с ним, как солдат, каждый день в семь встаю...»*

2. Женщина — о муже: *«Он у меня, как солдат, праздник не праздник, выходной не выходной — в шесть утра на ногах».*

Во-вторых, ‘послушный, беспрекословно подчиняющийся человек’. С этим значением данное сравнение употребляется в женской речи, когда адресант говорит либо о себе, либо о ребенке.

1. О себе: *«Я как солдат, что ты сказал, то я и сделала».*

2. О ребенке: *«Нет, мой, как солдат, — в девять спать и никаких...»*

В-третьих, ‘человек занятой, выполняющий большую физичес-

кую нагрузку'. В этом значении сравнение употребляется только тогда, когда адресант говорит о себе: *«Я как солдат — с утра до вечера на посту — то у плиты, то у корыта...»*

В речи женщины милитарная лексика часто используется для обозначения самого адресанта или его близких как объекта агрессии со стороны других членов семьи.

1. Жена — мужу: *«Ах ты мой бедненький, весь насквозь **продырявленный** воспитанием»* (Г. Щербакова. «Справа оставался городок...»).

Слово **продырявленный** употреблено здесь как контекстуальный синоним слову *простреленный*.

2. Женщина — о дочери: *«А вот из нее **мишень** делать не дам. Мне надоели эти **пушки**, заряженные благими идеями последних трехсот лет...»* (Г. Щербакова. «Справа оставался городок...»).

3. Женщина — о жизни с мужем-алкоголиком:

— *Я просто не знаю, как мне жить. Я не уверена в завтрашнем дне... Я живу, как **партизан**, — перебежками.*

Марго не поняла, и это непонимание отразилось на ее лице.

— *Ну, **партизан** на открытой местности. Пробежит, упадет. Вот это и есть моя жизнь.*

— *Почему партизан? **Солдат под обстрелом.***

— *Ну неважно! Все равно **война*** (В. Токарева. «Ничего особенного»).

Милитарная лексика может быть использована в женской речи для характеристики кого-либо из членов семьи как источника агрессии или для характеристики действий, которые, с точки зрения адресанта, являются агрессивными.

1. Жена — мужу по поводу его излишней эмоциональности:

— *Ты у нас как **мина замедленного действия**. Не знаешь, где и когда **взорвется**. Мало ли что мне не нравится. Я же не ору по всякому поводу.*

2. Дочь — матери:

— *Ты же, как **танк**, наезжаешь. Ничего не слушаешь.*

3. *«Не падай, — это чеканила мама. Так в жизни не бывает, — повторял папа». «**Обстреливайте его, обстреливайте**», — смеялась Алена* (Г. Щербакова. «Справа оставался городок...»).

Милитарная лексика часто используется в семейном дискурсе для характеристики дома. Это, как правило, контекст с отрицательной модальностью. Метасообщение такого рода высказываний: «дом — вражеская территория». Для мужчины дом стано-

вится таковым, если он испытывает там физический дискомфорт (беспорядок, захламленность и т. п.).

1. — *Если мы сейчас от этого уйдем, — Гусев ткнул пальцем в мойку, — мы к этому и вернемся... Это же не дом! Тут же можно без вести пропасть!* (В. Токарева. «Лошади с крыльями»).

2. Муж — жене:

— Но лично я себя чувствую среди этого хлама **как на баррикадах**. Постоянное желание **залечь и отстреливаться...** (Л. Филатов. «Часы с кукушкой»).

В реальном дискурсе — муж, споткнувшись обо что-то в квартире: *«Ходишь тут у вас как по минному полю»*.

Для женщины дом становится вражеской территорией, если ей там плохо психологически.

1. Женщина — о совместной жизни со свекровью: *«Я и так живу, как в тылу врага, рот лишний раз боюсь открыть»*.

2. Диалог мужа и жены по поводу приезда нежданного и незваного гостя.

Муж: — *Ну бывают же обстоятельства... Надо быть добрее... В войну люди делились последней махоркой...*

Жена: — *При чем тут махорка? Я не хочу, чтобы мою квартиру превращали в окопы* (Л. Филатов. «Часы с кукушкой»).

Интересным представляется употребление исключительно в мужской речи лексики, обозначающей военачальников. Референтом подобных номинаций является жена адресанта. Употребление такого рода лексики мы наблюдали у различных информантов, но в одинаковой речевой ситуации — при попытке решить какую-либо семейную проблему.

1. — *Саш, вы в субботу-то приедете?*

— *Не знаю. За нас думает фюрер (жест в сторону жены).*

2. — *Пап, мы сегодня на дачу едем?*

— *Это как генералиссимус скажет...*

Подобные высказывания вовсе не означают, что мужчина действительно считает жену главой семьи. Как видим, это лексика с изначально отрицательной коннотацией, ассоциирующаяся с конкретными историческими личностями. Поскольку эти слова используются в неконфликтном дискурсе, можно говорить об их ироническом употреблении. Следовательно, таким образом мужчина подчеркивает, что данная семейная проблема малозначима для него.

Милитарная лексика изначально безоценочна. Однако в семейном дискурсе она употребляется, как правило, в контексте с нега-

тивной модальностью. Именно военная лексика в этом случае имплицитно выражает отрицательную оценку. Употребление милитарной лексики в семейном дискурсе — своеобразный сигнал того, что говорящий оценивает семейные отношения как асимметричные.

Как мы уже указывали, в нашем материале военная лексика шире представлена в речи женщин. Это, возможно, обусловлено и психологическими причинами: женщина острее чувствует дисбаланс в семейных отношениях и чаще стремится обозначить его вербально.

Однако, по нашим наблюдениям, здесь может играть роль и фактор лингвистический: мужчины в возрасте 25–45 лет предпочитают обозначать асимметричные семейные отношения при помощи арго (т. е. используя лексику криминального жаргона) — наезд, разборки, шестерка и т. п. Вероятно, это связано с тем, что представления о языковых способах выражения речевой агрессии у мужчин и женщин различны, но это уже тема для дальнейших исследований.

И. Т. Вепрева

Коммуникативные поражения на семейном фронте

Суть главного тезиса нашего доклада: реальному семейному общению присуще явление, которое получило в лингвистике название «коммуникативная неудача». Вслед за О. П. Ермаковой и Е. А. Земской коммуникативной неудачей мы будем называть полное или частичное непонимание высказывания партнером коммуникации [Ермакова, Земская 1993: 31]. Коммуникативные неудачи интересны для лингвиста тем, что они позволяют выявить те особенности непринужденного разговора, благодаря которым коммуникативные намерения говорящего не совпадают с прочтением их слушающим.

Наблюдения показывают, что коммуникативные неудачи постоянно сопутствуют общению людей друг с другом: как знакомых, так и незнакомых, при одинаковых и разных коммуникативно значимых свойствах партнеров.

Гипотетически можно предполагать, что близкие отношения партнеров коммуникации, к которым относятся прежде всего члены одной семьи, должны способствовать коммуникативным удачам, поскольку любой непринужденной речи, а речи близких людей особенно, свойственна конситуативность, опора на ситуацию общения в целом, из которой слушающий без труда извлекает нужную ему информацию, не присутствующую в самом тексте высказывания. В понятие «конситуативности» обычно включается и общность апперцепционной базы, т. е. «общность прошлого

опыта и одинаковое понимание того конкретного момента, когда происходит коммуникация» [Фрумкина 2001: 214].

Однако опыт семейной жизни заставляет каждого из нас усомниться в этой гипотезе. Семейное общение свидетельствует об обратном. Семейный диалог — постоянный дисбаланс между коммуникативными намерениями адресанта (иллокутивной целью высказывания) и реальной реакцией адресата (достигнутым перлокутивным эффектом) [Федосюк 1997: 86].

При первом приближении главной причиной семейных речевых конфликтов может быть названа высокая степень имплицитности семейных диалогов. При общении с близкими людьми многое не проговаривается вслух, имплицитруется в надежде, что собеседник понимает именно то, что его партнер по общению имеет в виду. Но близость общения, кроме возможности через стяжение многого в одно передать многослойный контекст ситуации, имеет и обратный эффект: зачастую в однослойном актуальном контексте ищется подтекст, опирающийся на общность прошлого опыта. Данный парадокс подкрепляется различием психологических особенностей мужского и женского коммуникативного поведения. Неправильная интерпретация речевых мотивов друг друга приводит к дисгармонизации семейного общения. Приведем примеры типичных семейных коммуникативных неудач:

— Неучет косвенного речевого подтекста:

(1) Поздно вечером неожиданно пришли гости. Жена пригласила гостей в квартиру. Гости принесли с собой бутылку вина и отдали ее хозяйке, которая пошла на кухню, чтобы приготовить закуску. Между хозяйкой и мужем на кухне происходит следующий диалог:

Жена (показывая бутылку мужу). — *Смотри, что они принесли...*

Муж (раздраженно). — *Ты что, с ума сошла? Чему ты радуешься? Как маленький ребенок себя ведешь.*

Жена (обиженно). — *Да я не радуюсь вовсе! Просто тебе показываю.*

Муж (со злостью). — *Я вообще не буду садиться за стол, сейчас уйду из дома... Я их не приглашал.*

Жена. — *Я их тоже не приглашала. Но неудобно же. Раз уж пришли. Надо угостить и принять гостей.*

На ухудшение коммуникативной обстановки работает прежде всего объективное различие полов. Коммуникативная неудача в

диалоге возникла при непонимании мужем косвенной женской реплики *«Смотри, что они принесли...»*. В данной коммуникативной ситуации женщина готова идти на компромисс, ей важно сохранить гостеприимное лицо семьи, хотя она тоже не рада приходу гостей. Ее реплика мужу — косвенная просьба быть хотя бы внешне гостеприимным — не встречает у мужчины речевой поддержки.

Мужчины хуже, чем женщины, понимают подтекст или намек, поэтому уклончивость как один из женских способов выражения своего намерения воспринимается с раздражением. Женское коммуникативное поведение отличается постоянным стремлением к установлению контакта, достижению единства и согласия [Таннен 1996: 21], что продемонстрировала женщина в 1-м диалоге. Для женщины типично косвенное выражение намерений как форма деликатного речевого поведения, что обычно вызывает мужское неприятие.

— Поиски подтекста в прямом диалоге:

(2) Диалог между супругами на даче:

Муж. — *Что ты все сама грядки поливаешь? Вон пусть племянница это делает. Она молодая и здоровая.*

Жена (раздраженно). — *Ага, значит, я старая и больная?*

Муж (в ответ тоже раздраженно). — *Ну, тебе все неладно, что ни скажи.*

Актуализация косвенных функций речевых реплик вместо прямых в семейных диалогах, на наш взгляд, объясняется мощностью общей апперцепционной базы: коммуникативные партнеры реагируют на прагматический компонент структуры высказывания активнее, чем на информативный, прошлый опыт оказывается сильнее актуальной ситуации.

Если обычной причиной коммуникативных неудач является неправильное понимание иллокутивной силы высказывания в силу конситуативности разговорной речи, то типичной причиной семейных речевых неурядиц становится нежелание адресата реагировать на высказывание в соответствии с замыслом говорящего. Коммуникативные конфликты порождены «сдвигом в сторону “ухудшения” понимания коммуникативных намерений говорящего» [Ермакова, Земская 1993: 62]. Нежелание объясняется коммуникативной усталостью, возникающей на фоне длительного общения людей разной половой принадлежности, накоплением отрицательного коммуникативного опыта. Вероятностное прогно-

зирование, опирающееся на опыт прошлых коммуникативных неудач, может, с одной стороны, предупредить эти неудачи, а с другой — смоделировать ситуацию в сторону ее ухудшения. Много здесь зависит от установки партнера по общению, от постоянной необходимости помнить о ролевой позиции пола.

Рассмотрим еще несколько семейных диалогов:

(3) Молодая семейная пара в гостях у школьного друга. Гости решили сфотографироваться все вместе. Диалог между молодыми супругами:

Муж. — *Давайте я вас сфотографирую.*

Жена. — *Нет, Денис. Давай нас Сережин брат сфотографирует всех вместе. Один же кадр остался.*

Муж. — *Нет, я не хочу. Я не люблю фотографироваться.*

Жена. — *Денис, ну давай все вместе.*

Муж (раздраженно). — *Анька! Как меня бесит, что ты постоянно ко мне цепляешься.*

Жена (обиженно). — *Я хотела, чтобы ты вместе с нами.*

Просьба женщины, выражающая желание объединения, воспринимается мужчиной как желание давить на него.

(4) Разговор между супругами (Миша — их сын):

Жена. — *На какой день гостей приглашать? На субботу тебя устроит?*

Муж. — *В субботу открытие соревнований в шахматном клубе. Миша будет участвовать.*

Жена. — *Ну давай позовем в воскресенье. Хотя я хотела в воскресенье в сад съездить, теперь придется отложить на целую неделю.*

Муж. — *Не надо. Зови в субботу.*

Жена. — *А ты не хочешь пойти на открытие?*

Муж (раздраженно). — *Ну а когда тогда в сад ехать? Я же сказал — зови на субботу, я же не против.*

Жена (с укором). — *Да ведь я хотела, чтобы как лучше. Чтобы тебе пойти на открытие.*

Муж. — *Да я и так схожу. Открытие — в десять утра, а гости придут ведь не раньше обеда?*

Жена (обиженно). — *Не раньше. Почему же ты мне раньше не сказал, что открытие утром?*

Муж (раздраженно). — *Ну почему я должен все объяснять? Мне надоела твои постоянные вопросы.*

Жена (обиженно). — *Я же хотела согласовать с тобой, чтоб тебе удобней было. И я же еще надоела с вопросами.*

В мужских решениях относительно того, что стоит сообщать женщине, а что не обязательно, отражается роль мужчины-лидера. Подробные расспросы квалифицируются как попытки контроля со стороны женщин и посягательство на мужскую свободу. С другой стороны, отказ поделиться с женщиной какой-нибудь информацией воспринимается ею как доказательство нежелания коммуникативной близости.

(5) Семейная пара обсуждает недавний поход на день рождения к матери жены:

Жена. — *Вова! Ты видел, какое у мамы устройство на кухне? Здорово придумано, чтоб труба не засорялась. Мама сказала, что это Виктор [брат жены] сам сделал... Вообще Виктор — молодец, хозяйственный. Давай на кухне так же сделаем, а?*

Муж. — *У нас же на кухне есть типа такого устройство.*

Жена. — *Но вечно же засоряется. То будет лучше. Позвони Виктору, он тебе объяснит, как сделать...*

Муж (раздраженно прерывает жену). — *Ничего мне не нужно объяснять! Ничего делать не буду! Поняла? Куда мне до Виктора! Он ведь не такой бездельник, как я.*

Жена (обиженно). — *Поняла. Ничего делать не будешь.*

Совет сделать что-то по-другому мужчина воспринимает как критику, как сомнение в его компетентности.

Интересны и типичны эмоционально окрашенные реплики, заканчивающие речевые конфликты. Тактика сорванного раздражения ответно выражается реакцией обиды, укора и осуждения. В диалогах часто присутствуют манипулятивные реакции, являющиеся скрытой формой императива (*Я вообще не буду садиться за стол, сейчас уйду из дома* — 1-й диалог). Манипулятивной репликой скрывается имплицитное неприятие непрошенных гостей.

Подобный ряд речевых сражений на семейном фронте может быть продолжен, так как он типичен. Именно поэтому эти конфликты заканчиваются тривиальными фразами: *«Мне надоели твои постоянные вопросы», «Почему ты всегда за всех говоришь», «Что ты постоянно ко мне цепляешься», «Ну все тебе не ладно, что ни скажи»* и т. д. Очевидно, что коммуникативные неудачи семейного общения имеют универсальные черты и покоятся на общих основах социальной и половой природы человека. Поэтому все советы семейных психологов базируются на одном принципе: знай природу речевого конфликта и разрушай сложившиеся негативные стереотипы в сторону «улучшения» смысла высказывания.

Комплимент, пусть даже неуместный, или гиперболизированная похвала редко воспринимается как неудача. На семейных фронтах тоже бывает перемирие.

Литература

Ермакова О. П., Земская Е. А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.

Таннен Д. Ты меня не понимаешь. М., 1996.

Федосюк М. Ю. Исследование средств речевого воздействия и теория жанров речи // Жанры речи. Саратов, 1997.

Фрумкина Р. М. Психолингвистика. М., 2001.

Государственный доклад «О положении детей в Свердловской области» по итогам 2004 года

Меры по повышению роли и ответственности семьи и родителей в воспитании, обучении и содержании несовершеннолетних

Проблема семейного неблагополучия, как источника социальной нестабильности, детской безнадзорности и беспризорности, социального сиротства и правонарушений, на протяжении последних лет находится в центре внимания Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и широкой общественности.

Важнейшей социальной задачей на уровне региона была определена разработка эффективных механизмов работы с семьей по профилактике социального неблагополучия и сопутствующих ему негативных социальных явлений (алкоголизма, наркомании, бродяжничества, сиротства при живых родителях), а также комплекса мер по формированию у населения осознанного отношения к своему репродуктивному поведению и ответственному выполнению родительских функций.

Принятие в 2002 году в Свердловской области Концепции реализации государственной семейной политики в Свердловской области на период до 2015 года (постановление Правительства Свердловской области от 04.12.2002 г. № 1393-ПП) (Собрание законодательства Свердловской области, 20023, № 12–2, ст. 1782), пересмотр стратегических направлений оказания государственной социальной поддержки семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, позволили добиться позитивных изменений показателей, характеризующих состояние уральской семьи, за последние пять лет.

Прежде всего в рамках единой государственной семейной политики основными направлениями деятельности субъектов системы профилактики детского и семейного неблагополучия были обозначены: укрепление и развитие семейного образа жизни; создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций; отход от работы по факту социального неблагополучия, ориентация на превентивные, профилактические и патронажные формы работы; активизация работы с семьей благополучной, здоровой, в том числе молодой, но испытывающей те или иные трудности в своей жизнедеятельности; внимание к психологическому климату семьи, помощь в формировании детско-родительских и супружеских отношений.

В центре внимания специалистов оказалось не спасение асоциальных семей, не желающих активизировать собственные возможности для решения жизненных проблем, а работа с благополучными, социально активными и мобильными семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации в силу разных причин (нарушения детско-родительских отношений; супружеские кризисы; конфликты и жесткое обращение в семье; психологическое, физическое, моральное насилие в семье; развод; утрата супруга; выход на пенсию; нежелательная беременность; беременность несовершеннолетних; трудности психологической адаптации взрослых и несовершеннолетних граждан к резко изменившимся жизненным обстоятельствам, новому месту жительства, работы, учебы; конфликтные ситуации и психологические кризисы; возвращение граждан из мест лишения свободы; рождение ребенка с проблемами в развитии; социально-психологическая неготовность к предстоящему вступлению в брак, рождению ребенка и его воспитанию и другие причины), а также молодыми людьми по подготовке их к вступлению в брак и «осознанному родительству», обучению новым социальным ролям, связанным с созданием семьи и рождением ребенка, формированию социально-приемлемых навыков решения супружеских и детско-родительских конфликтов и методов воспитания детей.

Особое внимание специалисты уделяют подготовке супружеских пар к беременности, профилактике рождения нежеланных детей, поскольку именно дети, рожденные от нежелательной беременности, входят в группу особого риска по психической патологии, вызванной как стрессогенными воздействиями вынашивания беременности и патологией родовой деятельности, так и психи-

ческой депривацией в результате сверххранного разрыва с матерью, и требуют интенсивных психолого-медико-педагогических реабилитационных мероприятий.

Также на протяжении последних лет Правительством Свердловской области уделялось серьезное внимание обеспечению условий функционирования на территории Свердловской области единой системы мониторинга положения семей и несовершеннолетних, позволяющей не только осуществлять своевременное выявление фактов семейного и детского неблагополучия, но и эффективно планировать систему мер государственной поддержки семьи и среднесрочно прогнозировать социальное самочувствие семьи и детей.

В целях обеспечения функционирования единой информационной системы мониторинга положения несовершеннолетних и проблем детства в 2003–2004 годах в рамках областной государственной целевой программы «Дети в Свердловской области» на 2003–2005 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 55-03 «Об областной государственной целевой программе «Дети в Свердловской области» на 2003–2005 годы (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 12 ст. 159), было приобретено 158 комплектов компьютерного оборудования для субъектов системы профилактики в муниципальных образованиях в Свердловской области на общую сумму 2800, 0 тысячи рублей.

Приоритет интересов детей в государственной социальной политике региона позволил к концу 2004 года добиться снижения остроты проблемы детской беспризорности и безнадзорности; уменьшения числа несовершеннолетних, совершивших преступления, и количества совершенных преступлений; уменьшения числа «отказных» детей и детей, самовольно покинувших семьи и учреждения государственного воспитания; снижения уровней младенческой смертности и смертности детей до 14 лет; увеличения числа оздоровленных и трудоустроенных детей.

Однако на протяжении последних лет серьезными проблемами, социального неблагополучия общества, являются отрицательная динамика случаев подростковой смертности от убийств и самоубийств, высокий уровень подростковой заболеваемости социально-значимыми болезнями (гонорея, сифилис, туберкулез), рост числа семей, находящихся в социально опасном положении, и увеличение количества случаев жестокого обращения с детьми.

В 2004 году по сравнению с аналогичным показателем 2003 года на 19,5 процента увеличилось число родителей, взятых на учет органами внутренних дел по фактам злостного уклонения от обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, и составило 3456 человек. В 2004 году 16232 родителя, не выполнявших свои обязанности по содержанию и воспитанию детей на должном уровне, были привлечены к административной ответственности, 941 родитель был лишен родительских прав, 81 родитель ограничен в своих родительских правах. Возбуждено 191 уголовное дело в отношении родителей за жестокое обращение с детьми, что на 112,2 процента больше аналогичного показателя 2003 года.

Результаты анализа положения уральской семьи свидетельствуют о необходимости дальнейшего поиска средств решения проблем современной семьи, и не только семьи группы риска, но и, самое главное, благополучной, в том числе молодой, семьи, несущей все тяготы современной жизни.

В целях реализации единой государственной семейной политики в интересах семьи и детей, повышения роли и ответственности семьи и родителей в воспитании, обучении и содержании несовершеннолетних на территории Свердловской области, необходимо:

- совершенствование нормативно-правовой базы федерального и регионального уровней, предусматривающей ужесточение мер воздействия на родителей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей;

- осуществление передачи систем органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних из муниципального на государственный уровень управления;

- активизация профилактической работы с семьями на ранних этапах их социального неблагополучия за счет максимально раннего межведомственного выявления фактов неблагополучия и расширения перечня оказываемых учреждениями системы профилактики социальных, образовательных, медицинских и реабилитационных услуг;

- развитие новых активных форм, методов и технологий поддержки семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- развитие новых форм семейного воспитания детей, лишившихся родительского попечения;

- реализация принципа дифференцированного и индивидуального подхода к оказанию помощи семье в соответствии с ее потребностями и особенностями.

Глава 10. Социальное обслуживание семьи и детей

В соответствии с Концепцией «Сбережение населения Свердловской области» на период до 2015 года, одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 433-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726), главным стратегическим направлением сбережения народонаселения Свердловской области является переориентация государственной социальной политики на семью, обеспечение прав и социальных гарантий семье, женщинам, детям и молодежи.

Основными задачами в реализации государственной семейной политики в Свердловской области определены:

- формирование идеологии поддержки и укрепления семьи как важнейшего базового института общества;

- поддержка благополучной семьи с социально положительным потенциалом и оказание всесторонней помощи молодой семье;

- содействие сплочению семьи, улучшению внутрисемейных, супружеских, детско-родительских отношений;

- развитие новых социальных технологий поддержки семьи;

- развитие сети учреждений социального обслуживания семьи и детей, расширение перечня оказываемых ими социальных услуг.

На 1 января 2005 года в Свердловской области функционировали 72 учреждения социального обслуживания семьи и детей, в том числе 26 центров социальной помощи семье и детям, 33 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, 4 социальных приюта для детей и подростков.

Анализ динамики количества учреждений социального обслуживания семьи и детей за последние годы свидетельствует о стабилизации с 2002 года количественных показателей (в 2002 году — 72 учреждения, 2003 году — 74 учреждения, 2004 году — 72 учреждения).

Вместе с тем на протяжении последних лет для системы учреждений социального обслуживания семьи и детей Свердловской области характерны процессы реорганизации и реструктуризации сети. С 2001 по 2004 годы количество приютов сократилось на 76, 5 процента (с 17 до 4 единиц), за счет их реорганизации в социаль-

но-реабилитационные центры для несовершеннолетних, количество которых увеличилось на 37,5 процента (с 24 до 33 единиц), и центры социальной помощи семье и детям, количество которых увеличилось на 36,8 процента (с 19 до 26 единиц).

Кроме того, с 2001 по 2004 год расширилась структура учреждений за счет открытия новых отделений, в том числе количество отделений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних увеличилось на 75 процентов (с 24 единиц в 2001 году до 42 единиц в 2004 году), количество отделений реабилитации детей-инвалидов — на 166,7 процента (с 12 единиц в 2001 году до 32 единиц в 2004 году).

В 2004 году в структуре учреждений социального обслуживания семьи открылось более 30 новых отделений, в том числе отделения планирования семьи и раннего вмешательства (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» города Нижний Тагил), срочного социального обслуживания (центр социальной помощи семье и детям Таборинского района), службы участкового социального работника (центр социальной помощи семье и детям города Первоуральска, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пышминского района), психолого-педагогической помощи (центр социальной помощи семье и детям Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Новая Ляля), реабилитации детей с ограниченными возможностями (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Красноуральска, центр социальной помощи семье и детям Ирбитского района, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Верхняя Салда).

В целях комплексного структурно-динамического психолого-медико-педагогического обследования клиента, разработки индивидуальной комплексной программы его реабилитации, проведения системной коррекционно-развивающей и реабилитационной работы, а также мониторинга результатов реализации индивидуальной программы реабилитации клиента в структуре учреждений открываются психолого-медико-педагогические консилиумы. В 2004 году консилиумы были открыты в структуре Областного центра социальной помощи семье и детям города Богдановича, центра социальной помощи семье и детям города Ирбита, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних города Ревды и Артинского района.

Открытие в структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей на протяжении 2002–2004 годов новых отделений позволило улучшить количественные и качественные показатели в соответствии со стратегическим направлением деятельности, определенным Концепцией развития содержания деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей на период до 2015 года и заключающемся в активизации работы с относительно благополучной семьей, выявлении ее особых потребностей и оказании широкого спектра качественных социальных услуг, с одновременным предоставлением льгот и гарантий социально уязвимым категориям населения.

Относительно благополучная семья в современных условиях требует пристального к себе внимания и оказания поддержки в трудных для нее жизненных ситуациях. Ее потенциал, способность к саморазвитию при своевременной поддержке со стороны государства позволят не только преодолеть трудную жизненную ситуацию, но и раскрыть ее возможности, с наименьшими потерями адаптировать к имеющимся условиям, удовлетворить смысловые потребности каждого члена семьи, в том числе и ребенка.

В настоящее время благополучная семья нуждается не только в улучшении жилищных условий, совершенствовании системы здравоохранения, развитии сети детских садов и яслей, финансовом стимулировании рождаемости, но и в квалифицированной помощи специалистов по вопросам обучения и воспитания детей, решения супружеских и детско-родительских конфликтов, подготовке молодых людей к браку. Проблемы невротизма, одиночества, социально-психологической депривации детей, эмоционального неприятия родителями своего ребенка, личностных и супружеских кризисов требуют своевременного вмешательства специалистов и оказания необходимой качественной помощи и поддержки, что позволит предотвратить эскалацию детского и семейного неблагополучия.

Опыт деятельности органов управления и учреждений социального обслуживания семьи и детей Свердловской области за последние годы Свердловской области совместно с Институтом социологии Российского государственного профессионально-педагогического университета провели организационно-подготовительную работу по реализации в 2005 году научно-исследовательской работы «Исследование и разработка методики мониторинга рынка социальных услуг индустриального города на примере му-

ниципального образования Город Первоуральск. Базовой площадкой для проведения научно-исследовательской работы был определен центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска.

В 2004 году учреждениями социального обслуживания семьи и детей было обслужено около 307,5 тысячи клиентов (что больше аналогичного показателя 2003 года на 114,4 тысячи клиентов, или 59,3 процента), в том числе около 170,5 тысячи несовершеннолетних детей (что больше аналогичного показателя 2003 года на 69,4 тысячи несовершеннолетних, или 68,7 процента) и более 113,2 тысячи семей (что больше аналогичного показателя 2003 года на 36,1 тысячи семей, или 46,7 процента). Стационарными отделениями учреждений обслужено 10624 несовершеннолетних (что больше аналогичного показателя 2003 года на 759 несовершеннолетних, или 7,7 процента), отделениями дневного пребывания обслужено 12507 несовершеннолетних (что больше аналогичного показателя 2003 года на 7648 несовершеннолетних, или 157,4 процента).

Анализ динамики числа обслуженных клиентов учреждениями социального обслуживания семьи и детей показывает увеличение с 2001 по 2004 год всех показателей, в том числе числа клиентов — на 218,7 тысячи, или 246,2 процента, числа несовершеннолетних — на 128,3 тысячи, или 304,3 процента, семей — на 83,9 тысячи, или 285,3 процента, числа несовершеннолетних, обслуженных стационарными отделениями, — на 3,8 тысячи, или 55,1 процента, числа несовершеннолетних, обслуженных отделениями дневного пребывания, — на 5,2 тысячи, или 71,2 процента.

В 2004 году специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей было оказано около 3745,6 тысячи социальных услуг (что больше аналогичного показателя 2003 года на 2319,3 тысячи услуг, или 162,6 процента), в том числе социально-педагогических — более 1089,2 тысячи услуг (что больше аналогичного показателя 2003 года на 951,2 тысячи услуг, или 199,7 процента), социально-психологических — 223,7 тысячи услуг (что больше аналогичного показателя 2003 года на 85,7 тысячи услуг, или 62,1 процента), социально-медицинских — более 676,7 тысячи услуг (что больше аналогичного показателя 2003 года на 213,0 тысячи услуг, или 45,9 процента), социально-правовых — более 97,7 тысячи услуг (что больше аналогичного показателя 2003 года на 39,5 тысячи услуг, или 67,8 процента), социально-бытовых — более

475,1 тысячи услуг (что больше аналогичного показателя 2003 года на 1283,8 тысячи услуг, или 670,8 процента), социально-экономических — более 227,8 тысячи услуг (что больше аналогичного показателя 2003 года на 131,1 тысячи услуг, или 135,6 процента).

Анализ динамики оказанных клиентам социальных услуг также свидетельствует об увеличении с 2001 по 2004 год показателей как общего количества услуг, так и по видам оказанных услуг. С 2001 по 2004 год общее количество оказанных клиентам услуг увеличилось на 2989,7 тысячи услуг, или 395,5 процента, в том числе социально-педагогических — на 890,1 тысячи услуг, или 447 процентов, социально-психологических — на 77,6 тысячи услуг, или 54,2 процента, социально-правовых — на 69,8 тысячи услуг, или 249,4 процента, социально-экономических — на 139,2 тысячи услуг, или 157,2 процента.

Одним из важных условий повышения качества оказываемых населению социальных услуг и общей эффективности реабилитационных мероприятий является стандартизация деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей. В условиях разграничения полномочий между уровнями государственной власти в сфере социальной поддержки населения, принятия соответствующих федеральных законов деятельность по разработке государственных стандартов социального обслуживания и осуществлению контроля за их исполнением отнесена к ведению субъектов Российской Федерации. Также к юрисдикции субъекта Российской Федерации отнесены полномочия определения перечня гарантированных социальных услуг, предоставляемых учреждениями государственной системы социальных служб, порядок и условия социального обслуживания. В связи с этим в 2004 году перед органами управления и учреждениями социального обслуживания семьи и детей Свердловской области была поставлена задача систематизации материала для разработки в 2005 году регионального компонента Государственного стандарта социального обслуживания населения, регламентирующего деятельность учреждений по оказанию социальных услуг населению.

Разработка, принятие и внедрение в Свердловской области в 2005 году регионального компонента Государственного стандарта социального обслуживания населения позволят решить такие задачи, как реализация социального заказа региона на качественные и разнообразные социальные услуги для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; регулирование отноше-

ний в сфере оказания социальных услуг между органами управления, учреждениями социального обслуживания и клиентами; определение требований к объему и качеству, порядку и условиям оказания социальных услуг клиентам; соблюдение права семьи и детей на получение качественных социальных услуг и своевременной квалифицированной социальной помощи на основе адресного подхода, учета индивидуальных потребностей и возможностей, личного выбора форм и методов получения услуг; преодоление дискретности реабилитационного процесса в случае смены места жительства семьи и детей, а также изолированности учреждений друг от друга, объединяя их посредством единства нормативно-правового поля в единое социально-реабилитационное пространство региона.

При активизации деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей по оказанию качественных социальных услуг клиентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, большое внимание руководителями и специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей традиционно уделяется соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, временно проживающих в стационарных отделениях. В результате проверки деятельности областных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей, проведенной в сентябре-декабре 2004 года Министерством социальной защиты населения Свердловской области совместно с территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной защиты населения, фактов нарушений прав несовершеннолетних не выявлено. Кроме того, отмечен высокий уровень работы специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по обеспечению условий содержания, обучения, воспитания, реабилитации и коррекции несовершеннолетних, временно проживающих в стационарных отделениях.

Все несовершеннолетние, временно проживающие в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и детей Свердловской области, находятся на полном государственном обеспечении, в соответствии с установленными нормами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для каждого выявленного и помещенного в стационарное отделение несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, специалистами учреждений разрабатываются индивидуаль-

ные программы реабилитации, включающие в обязательном порядке образовательный компонент.

В каждом муниципальном образовании между учреждениями социального обслуживания семьи и детей и образовательными учреждениями заключены договоры, в соответствии с которыми несовершеннолетние посещают в период пребывания в стационарном отделении, определенный индивидуальной программой реабилитации, образовательное учреждение. В случае невозможности посещения ребенком образовательного учреждения учителя обучают детей в индивидуальном порядке на базе учреждения социального обслуживания семьи и детей. Кроме того, на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей на высоком уровне организована внеклассная и кружковая работа с несовершеннолетними, о чем свидетельствует получение рядом учреждений лицензий на ведение образовательной деятельности по направлению «Дополнительное образование», награждение детей и руководителей кружков грамотами, дипломами и ценными подарками в рамках ежегодных областных фестивалей творчества несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства «Город мастеров», «Мы все можем!».

Во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей организовано медицинское обслуживание несовершеннолетних, временно проживающих в стационарных отделениях, по следующим направлениям: комплексное (клиническое, лабораторное) медицинское обслуживание вновь поступивших детей либо в условиях учреждения (при наличии приемного отделения), либо в условиях районных больниц (на основе договора о совместной деятельности); разработка индивидуальной программы медицинской реабилитации; проведение лечебно-оздоровительной работы; проведение профилактической работы; вакцинация; организация физкультурно-оздоровительной работы. Также одним из главных направлений деятельности медицинской службы учреждений является совершенствование системы охраны здоровья детей, формирование у несовершеннолетних мотивации к ведению здорового образа жизни. Оборудование учреждений современным физкультурно-оздоровительным, реабилитационным, коррекционно-развивающим оборудованием в рамках федеральных и областных государственных целевых программ позволяет осуществлять на высоком уровне физкультурно-оздоровительную и спортивную реабилитацию и существенно снижать показатели

заболеваемости несовершеннолетних, временно проживающих в стационарных отделениях, простудными заболеваниями. Так, показатели заболеваемости в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и детей Свердловской области в 2004 году по сравнению с аналогичными показателями 2003 года уменьшились на 5,6 процента.

В соответствии с Концепцией развития содержания деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей в Свердловской области до 2015 года на протяжении последних лет Министерство социальной защиты населения Свердловской области уделяет особое внимание развитию медицинского обслуживания несовершеннолетних в части развития физкультурно-оздоровительной работы и спортивной реабилитации. На базе учреждений работают спортивные секции и кружки, воспитанники социальных учреждений успешно выступают в соревнованиях международной программы «Специальная Олимпиада. Уральский вариант» и Областной Спартакиады несовершеннолетних группы социального риска «Город олимпийских надежд».

В 2004 году специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей был зафиксирован 51 факт жестокого обращения с детьми, поступившими в стационарные отделения, со стороны родителей (лиц, их заменяющих), в том числе 9 фактов (психологическое насилие) при поступлении детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ревды, 11 фактов при поступлении детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Режа, 5 фактов (в том числе один факт физического насилия) при поступлении детей в центр социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма, 4 факта при поступлении детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Асбеста, 3 факта при поступлении детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Белоярского района, 2 факта при поступлении детей в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних города Нижняя Салда, Талицкого и Пышминского района. По 34 выявленным фактам жестокого обращения с детьми со стороны родителей (лиц, их заменяющих) специалистами учреждений были подготовлены и переданы в правоохранительные органы необходимые материалы. По 34 фактам были возбуждены уголовные дела, из которых по 2 фактам, выявленным специалистами социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Бело-

ярского района, делопроизводство было прекращено за недоказанностью всех обстоятельств случившегося.

По фактам психологического насилия специалистами учреждений проводится комплексная работа с семьей несовершеннолетнего, включающая беседы, психологические тренинги, ролевые игры, консультации психологов и педагогов, а также системный патронаж семьи до момента полного решения проблемной ситуации. Все семьи, в которых зафиксированы случаи жестокого обращения с детьми, находятся на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

Указанные факты еще раз констатируют рост агрессии и жестокого отношения к детям со стороны родителей и доказывают необходимость активизации работы специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей и других субъектов системы профилактики по максимально раннему выявлению фактов насилия в семье по отношению к ребенку и поиску новых технологий, форм и методов работы с родителями, в том числе по обучению их социально приемлемым навыкам разрешения детско-родительских конфликтов и методам воспитания детей, коррекции и формированию позитивных родительских установок принятия ребенка.

В целях совершенствования деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Свердловской области, обобщения и мультиплицирования опыта передовых учреждений Министерство социальной защиты населения Свердловской области ежегодно подводит результаты деятельности учреждений и определяет лучшие учреждения. В соответствии с Положением о подведении итогов деятельности и определении рейтинга учреждений социального обслуживания семьи и детей Свердловской области в 2004 году лучшими учреждениями социального обслуживания семьи и детей были названы социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних городов Красноуфимска и Новоуральска, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Серебряное копытце» города Нижний Тагил.

В условиях перехода системы социального обслуживания семьи и детей Свердловской области на новый уровень развития, о чем свидетельствуют не только количественные, но и качественные показатели деятельности, в том числе смещение акцентов с мер экстренной помощи семье и ребенку, находящимся в трудной жизненной ситуации, на профилактику детского и семейного не-

благополучия; выполнение учреждениями координирующей функции в муниципальных образованиях в Свердловской области по решению проблем детского и семейного неблагополучия; увеличение в структуре общего числа обслуженных клиентов семей с положительным потенциалом; рост консультативных услуг специалистов в общей структуре оказанных клиентам социальных услуг; победы учреждений во всероссийских и международных конкурсах социальных проектов, решением коллегии Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 23 сентября 2004 года Областным центрам социальной помощи семье и детям городов Богдановича и Нижняя Тура, центрам социальной помощи семье и детям города Первоуральска и Артемовского района был присвоен статус окружных базовых центров, выполняющих организационно-методические функции в управленческих округах Свердловской области.

Деятельность окружных базовых центров в октябре — декабре 2004 года позволила проанализировать уровень созданных в учреждениях социального обслуживания семьи и детей материально-технических, кадровых, программно-методических, организационных и иных условий оказания клиентам качественных социальных услуг, сформировать «портфели заказов» от учреждений по вопросам организации методической помощи, начать работу по систематизации накопленного учреждениями опыта в сфере социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2004 году в связи с принятием Закона Российской Федерации от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607) в Свердловской области была начата работа по созданию государственной системы социальных служб и подготовке процесса передачи муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей на государственный уровень.

Министерством социальной защиты населения Свердловской области была проведена оценка состояния учреждений социального обслуживания семьи и детей, изучены материально-технические, финансовые, кадровые, нормативно-правовые и иные условия их деятельности, подготовлены предложения заместителю председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Спектору СИ. по оптимизации и повышению эффективности функционирования системы учреждений в регионе.

В рамках проведенной инвентаризации учреждений социального обслуживания семьи и детей Свердловской области совместно с администрациями муниципальных образований в свердловской области была продолжена начатая в 2003 году работа по приведению учреждений социального обслуживания семьи и детей в соответствие нормам СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». Для каждого учреждения была составлена программа приведения в соответствие новым санитарным требованиям с указанием имеющихся недостатков, мероприятий и сроков по их устранению. На 1 января 2005 года большинство учреждений полностью соответствовало новым санитарным требованиям к участку и зданию, внутренней отделке и оборудованию помещений, естественному и искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму в здании, санитарно-техническому оборудованию, организации режима дня, оборудованию пищеблока и технологии приготовления пищи, организации питания воспитанников, санитарному содержанию помещений и дезинфекционным мероприятиям, профилактике заболеваний и другим требованиям, о чем свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний, акты приемки, подписанные Федеральным государственным учреждением «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области».

Вместе с тем, в ряде учреждений существовали проблемы несоответствия имеющихся площадей нормативным требованиям СанПиН 2.4.1201-03, что не позволяет осуществить реконструкцию спальных помещений в спальные комнаты на 3–4 человека, разделение совмещенных санузлов в группах детей младшего возраста и оборудование комнат личной гигиены для девочек, выделение специального помещения для подготовки уроков и выполнения домашних заданий, выделение специально оборудованных поме-

щений под размещение библиотеки и спортивного зала, а также оборудовать кабинеты для работы узких специалистов — нарколога, логопеда, психотерапевта.

В целом поставленные перед органами управления и учреждениями социального обслуживания семьи и детей задачи по оптимизации сети; систематизации содержания деятельности; переориентации на работу с благополучными семьями; соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, временно проживающих в стационарных отделениях; расширению спектра, увеличению количества и повышению качества оказываемых клиентам социальных услуг в 2004 году выполнены на хорошем уровне.

Вместе с тем в 2004 году были выявлены проблемные моменты в деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей, требующие решения в предстоящий период и касающиеся, в первую очередь, изменения количественного состава оказываемых населению социальных услуг. Анализ количественных показателей оказанных в 2004 году социальных услуг свидетельствует о том, что 45,5 процента от общего количества оказанных клиентам услуг составляли социально-бытовые и социально-экономические услуги, т. е. так называемые «реактивные» услуги оказания материальной и бытовой помощи малообеспеченным семьям, семьям социального риска и асоциальным семьям, имеющим низкий уровень дохода; 18,1 процента от общего количества оказанных клиентам услуг составляли социально-медицинские услуги; и 36,4 процента от общего количества оказанных клиентам услуг составляли социально-педагогические, социально-психологические и социально-правовые услуги. Данные факты свидетельствуют о подмене учреждениями социального обслуживания семьи и детей деятельности учреждений системы здравоохранения и социально-бытового обслуживания, а также о выполнении функций исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по оказанию материальной поддержки малоимущих семей.

В предстоящий период деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей должна быть скорректирована, исходя из приоритетности активных способов помощи семьям, имеющим положительный потенциал, в результате чего количество социально-педагогических, социально-психологических и социально-правовых услуг должно составлять в общем составе ока-

занных клиентам социальных услуг не менее 60 процентов, социально-бытовых и социально-экономических не более 20 процентов, социально-медицинских не более 20 процентов. Именно данное соотношение видов услуг в общем составе оказанных населению социальных услуг позволит решить в 2005 году поставленные перед системой социального обслуживания задачи перехода к созданию государственной системы социальных служб.

В 2005 году Министерству социальной защиты населения Свердловской области и учреждениям социального обслуживания семьи и детей необходимо: привести региональную нормативно-правовую базу социального обслуживания населения в соответствие федеральному законодательству, в том числе: определить порядок и условия социального обслуживания граждан, проживающих на территории Свердловской области и находящихся в трудной жизненной ситуации; определить порядок финансирования деятельности государственной системы социального обслуживания населения в Свердловской области за счет средств областного бюджета; установить гарантированный перечень социальных услуг, предоставляемых учреждениями государственной системы социальных служб, в Свердловской области; определить порядок введения государственных стандартов социального обслуживания населения на территории Свердловской области; оптимизировать существующую систему учреждений социальной защиты и перевести их на финансирование из средств областного бюджета; определить меры социальной поддержки работников учреждений государственной системы социальных служб;

разработать и принять региональный компонент Государственного стандарта социального обслуживания населения, что позволит не только регламентировать деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей на региональном уровне, но и детализировать государственные стандарты, исходя из специфики Свердловской области как субъекта Российской Федерации, повысить качество и расширить спектр оказываемых населению социальных услуг;

привести в соответствие с региональным компонентом Государственного стандарта социального обслуживания населения нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности учреждений, что позволит обеспечивать соответствующий индивидуальным потребностям возможностям клиентов уровень социального обслуживания (гарантированный базовый и повышенный);

обеспечить расширение спектра оказываемых населению услуг за счет открытия в структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей новых отделений, внедрения новых активных форм, методов и технологий оказания помощи семье и детям;

обеспечить увеличение числа благополучных семей с положительным потенциалом и молодых семей в общей структуре обслуженных семей;

обеспечить максимально раннее выявление фактов семейного и детского неблагополучия совместно с другими субъектами системы профилактики и максимально раннее социальное вмешательство в кризисную семейную ситуацию;

активизировать деятельность по обеспечению права детей жить и воспитываться в семье, в том числе за счет оказания активной поддержки семье в решении ее проблем и возвращения ребенка в биологическую семью, а также развития альтернативных форм семейного жизнеустройства (семейно-воспитательных групп, приемных семей, «семей выходного дня»).

Сведения об авторах

- Абашева Марина Петровна** — доктор филологических наук. Пермский государственный педагогический университет (Пермь, Россия).
- Антошинцева Мария Александровна** — аспирант. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия).
- Балеевских Ольга Юрьевна** — магистрант. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).
- Бардиер Галина Леонидовна** — кандидат психологических наук. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия).
- Бетчер Татьяна Ильинична** — директор языкового лицея № 2 (Екатеринбург, Россия).
- Бочарова Наталья Александровна** — аспирант. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия).
- Брандт Галина Андреевна** — доктор философских наук. Гуманитарный университет (Екатеринбург, Россия).
- Вепрева Ирина Трофимовна** — доктор филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).
- Вершинин Сергей Евгеньевич** — доктор философских наук. Институт философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия).

- Воронцова Татьяна Ивановна** — кандидат филологических наук.
Удмуртский государственный университет (Ижевск, Россия)
- Гредновская Елена Васильевна** — преподаватель. Южно-Уральский государственный университет (Челябинск, Россия).
- Гудова Маргарита Юрьевна** — кандидат философских наук.
Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).
- Ефремов Валерий Алексеевич** — кандидат филологических наук.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия).
- Кислова Лариса Сергеевна** — кандидат филологических наук.
Тюменский государственный университет (Тюмень, Россия).
- Клочкова Юлия Владимировна** — преподаватель. Специализированный учебно-научный центр при Уральском государственном университете им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).
- Козочкина Татьяна Леонидовна** — кандидат философских наук.
Самарский государственный университет (Самара, Россия).
- Кривова Наталья Федоровна** — кандидат филологических наук.
Удмуртский государственный университет (Ижевск, Россия).
- Кропотов Сергей Леонидович** — доктор философских наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).
- Круглова Татьяна Анатольевна** — кандидат философских наук.
Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).
- Муравьева Марианна Георгиевна** — кандидат исторических наук.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия).
- Оляшек Барбара** — профессор Института русистики университета г. Лодзь (Лодзь, Польша).
- Ракипова Ирина Дильшатовна** — аспирант. Уральский государственный технический университет (Екатеринбург, Россия).
- Рябов Олег Вячеславович** — доктор философских наук. Ивановский государственный университет (Иваново, Россия).
- Селькова Ольга Николаевна** — директор кризисного центра помощи женщинам — жертвам насилия «Екатерина» (Екатеринбург, Россия).
- Созина Елена Константиновна** — доктор филологических наук.

Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).

Трубина Елена Германовна — доктор философских наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).

Ушакин Сергей Александрович — кандидат политических наук, PhD. Колумбийский университет (Нью-Йорк, США).

Федулова Анна Владимировна — кандидат социологических наук. Поморский государственный университет (Архангельск, Россия).

Шабурова Ольга Викторовна — кандидат философских наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия).

Черняева Наталья Анатольевна — кандидат философских наук. Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург, Россия).



Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках» была инициирована Министерством образования РФ, ИНО-центром (Информация. Наука. Образование) и Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США) и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Мак-Артуров (США) в 2000 г.

Целью Программы является расширение сферы научных исследований в области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фундаментальных и прикладных исследований, развитие уже существующих научных школ и содействие становлению новых научных коллективов в области общественных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимодействия российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ.

Центральным элементом Программы являются девять Межрегиональных институтов общественных наук (МИОН), действующих на базе Воронежского, Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгородского, Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государственных университетов. ИНО-центр (Информация. Наука. Образование) осуществляет координацию и комплексную поддержку деятельности Межрегиональных институтов общественных наук.

Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы на соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общественных и гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым на научные исследования и поддержку академической мобильности.

Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается созданию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессионального развития грантополучателей Программы: проводятся российские и международные конференции, семинары, круглые столы; организуются международные научно-исследовательские проекты и стажировки; большое внимание уделяется изданию и распространению результатов научно-исследовательских работ грантополучателей; создаются условия для участия грантополучателей в проектах других доноров и партнерских организаций.

Адрес: 107078, Москва, Почтамт, а/я 231

Электронная почта: info@ino-center.ru

Адрес в Интернете: www.ino-center.ru, www.iriss.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки, попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

АНО «ИНО-центр (Информация. Наука. Образование)» — российская благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию общественных и гуманитарных наук в России; развития творческой активности и научного потенциала российского общества.

Основными видами деятельности являются: поддержка и организация научных исследований в области политологии, социологии, отечественной истории, экономики, права; разработка и организация научно-образовательных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих ценностях; содействие внедрению современных технологий в исследовательскую работу и высшее образование в сфере гуманитарных и общественных наук; содействие институциональному развитию научных и образовательных институтов в России; поддержка развития межрегионального и международного научного сотрудничества.

Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа Ф. Кеннана, Джеймса Билдингтона и Фредерика Старра как подразделение Международного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося официальным памятником 28-му президенту США. Кеннан, Билдингтон и Старр относятся к числу ведущих американских исследователей российской жизни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя Джорджа Кеннана Старшего, известного американского журналиста и путешественника XIX в., который, благодаря своим стараниям и книгам о России, сыграл важную роль в развитии лучшего понимания американцами этой страны. Следуя традициям, институт способствует углублению и обогащению американского представления о России и других странах бывшего СССР. Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, он ценит свою независимость от мира политики и стремится распространять знания, не отдавая предпочтения какой-либо политической позиции и взглядам.

Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в 1911 г. в целях поддержки «развития и распространения знаний и понимания». Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в соответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его словам, должна «творить реальное и прочное добро в этом мире».

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги являются: образование, обеспечение международной безопасности и разоружения, международное развитие, укрепление демократии.

Программы и направления, составляющие ныне содержание работы Корпорации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической миссией, так и наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в ее работе.

В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную задачу продолжения содействия развитию мирового сообщества.

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Мак-Артуров (США) — частная благотворительная организация, основанная в 1978 г. Штаб-квартира Фонда находится в г. Чикаго США. С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в Москве и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в России и других независимых государствах, возникших на территории бывшего СССР.

Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся добиться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится способствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ; поддержанию мира между государствами и народами и внутри них самих; осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека; а также сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоровых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки исследований, разработок в сфере формирования политики, деятельности по распространению результатов просвещения и профессиональной подготовки, и практической деятельности.

Научное издание

**Семья:
между насилием и толерантностью**

Коллективная монография

Редактор *О. А. Виноградова*

Оформление переплета и макет *А. Л. Бондаренко*

Оператор компьютерной верстки *Л. А. Хухарева*

Ответственный за выпуск *Ф. А. Еремеев*

Подписано в печать 28.06.2005. Формат 84 × 108/32.
Уч.-изд. л. 25,0. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 996.

Издательство Уральского университета
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ»
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.